

ВЕРДИ
МАСТЕР
ИЗДАТЕЛЬСТВО



Харпер ЛИ

Убить
пересмешника...



Annotation

"Убить пересмешника" (1960 г.) - пронзительная история семьи, живущей в вымышленном маленьком городке на юге Америки, в штате Алабама.

Время действия - 30-е годы XX века, период Великой Депрессии. Рассказ ведется от лица восьмилетней девочки.

Главная героиня Джин Финч живет с отцом Аттикусом, адвокатом, и братом Джимом. У них с братом есть друг Дилл, и один враг на троих - сосед по прозвищу Страшила.

Мир глазами ребенка - сложный, противоречивый, неоднозначный, - проносится перед читателем. Все смешалось в этом мире: детские страхи и взрослые проблемы, жажда справедливости и горькая реальность, расовые проблемы американского юга и сложности отдельно взятой семьи.

В центре сюжета - судебный процесс над чернокожим парнем, его обвиняют в изнасиловании, которого он не совершал. Адвокатом выступает отец Джин Аттикус и борется изо всех сил, чтобы справедливость восторжествовала.

- [Харпер Ли](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)



Харпер Ли

УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА

*Юристы, наверно,
тоже когда-то были
детьми.*

Чарлз Лэм

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Незадолго до того, как моему брату Джиму исполнилось тринадцать, у него была сломана рука. Когда рука зажила и Джим перестал бояться, что не сможет играть в футбол, он её почти не стеснялся. Левая рука стала немного короче правой; когда Джим стоял или ходил, ладонь была повернута к боку ребром. Но ему это было всё равно — лишь бы не мешало бегать и гонять мяч.

Через несколько лет, когда всё это было уже дело прошлое, мы иной раз спорили о событиях, которые к этому привели. Я говорила: всё пошло от Юэлов, но Джим — а он на четыре года старше меня — уверял, что всё началось гораздо раньше. Началось с того лета, когда к нам приехал Дилл, сказал он — Дилл первый придумал выманить из дому Страшилу Рэдди.

Я сказала, если добираться до корня, так всё пошло от Эндрю Джексона. Если б генерал Джексон не прогнал индейцев племени Ручья вверх по ручью, Саймон Финч не приплыл бы на своей лодке вверх по Алабаме — и что бы тогда с нами было? Людям взрослым уже не пристало решать спор кулаками, и мы пошли и спросили Атикуса. Отец сказал, что мы оба правы.

Мы южане; насколько нам известно, ни один наш предок не сражался при Гастингсе^[1], и, признаться, кое-кто в нашей семье этого стыдился. Наша родословная начинается всего лишь с Саймона Финча, он был лекарь и завзятый охотник родом из Корнуэлла, ужасно благочестивый, а главное — ужасный скряга. Саймону не нравилось, что в Англии людям, которые называли себя методистами, сильно доставалось от их более свободомыслящих братьев; он тоже называл себя методистом, а потому пустился в дальний путь: через Атлантический океан в Филадельфию, оттуда в Ямайку, оттуда в Мобил и дальше в Сент-Стивенс. Памятуя, как сурово Джон Уэсли осуждал многоглаголание при купле-продаже, Саймон втихомолку нажил состояние на медицине, но при этом опасался, что не сможет устоять перед богопротивными соблазнами — начнёт, к примеру, рядиться в золото и прочую мишуру. И вот, позабыв наставление своего учителя о тех, кто владеет людьми как орудиями, он купил трёх рабов и с их помощью построил ферму на берегу Алабамы, миль на сорок выше Сент-Стивенса. В Сент-Стивенс он вернулся только однажды, нашёл себе там жену, и от них-то пошёл род Финчей, причём рождались всё больше дочери. Саймон дожил до глубокой старости и умер богачом.

Мужчины в нашей семье обычно так и оставались на ферме Саймона «Пристань Финча» и выращивали хлопок. Хоть «Пристань» и выглядела скромно среди окружавших её поистине королевских владений, но давала всё, что нужно для независимого существования; только лёд, муку да одежду и обувь привозили паромом из Мобила.

Распря между Севером и Югом, наверно, привела бы Саймона в бессильную ярость, ведь она отняла у его потомков всё, кроме земли; однако они остались земледельцами, и лишь в двадцатом веке семейная традиция нарушилась: мой отец Аттикус Финч поехал в Монтгомери изучать право, а его младший брат поехал в Бостон изучать медицину. На «Пристани Финча» осталась одна только их сестра Александра; она вышла замуж за тихоню, который целыми днями лежал в гамаке у реки и гадал, не попалась ли уже рыба на его удочки.

Закончив ученье, мой отец вернулся в Мейкомб и занялся адвокатской практикой. Мейкомб — это окружной центр милях в двадцати к востоку от «Пристани Финча». В здании суда у Аттикуса была контора, совсем пустая, если не считать вешалки для шляп, плевательницы, шахматной доски да новенького свода законов штата Алабама. Первые два клиента Аттикуса оказались последними, кого повесили в мейкомбской окружной тюрьме. Аттикус уговаривал их признать себя виновными в непредумышленном убийстве, тогда великодушный закон сохранит им жизнь; но они были Хейверфорды, а кто же в округе Мейкомб не знает, что все Хейверфорды упрямы как ослы. У этих двоих вышел спор с лучшим мейкомбским кузнецом из-за кобылы, которая забрела на чужой луг, и они отправили кузнеца на тот свет, да ещё имели неосторожность сделать это при трёх свидетелях, а потом уверяли, что так этому сукину сыну и надо, и воображали, будто это их вполне оправдывает. Они твердили, что в убийстве с заранее обдуманым намерением не виновны, и Аттикус ничем не мог им помочь, кроме как присутствовать при казни, после чего, должно быть, он и проникся отвращением к уголовным делам.

За первые пять лет жизни в Мейкомбе Аттикус не столько занимался адвокатской практикой, сколько практиковался в строгой экономии: все свои заработки он вложил в образование младшего брата. Джон Хейл Финч был на десять лет моложе моего отца и решил учиться на врача как раз в ту пору, когда хлопок так упал в цене, что его и выращивать не стоило; потом Аттикус поставил дядю Джека на ноги и вздохнул свободнее. Он любил Мейкомб, он был плоть от плоти округа Мейкомб, знал всех здешних жителей, и они его знали; а благодаря стараниям Саймона Финча Аттикус был если не в кровном родстве, так в свойстве чуть ли не со всеми

семействами города.

Мейкомб — город старей, когда я его узнала, он уже устал от долгой жизни. В дождь улицы раскисали, и под ногами хлюпала рыжая глина; тротуары заросли травой, здание суда на площади осело и покосилось. Почему-то в те времена было жарче, чем теперь: чёрным собакам приходилось плохо; на площади тень виргинских дубов не спасала от зноя, и костлявые мулы, впряжённые в тележки, яростно отмахивались хвостами от мух. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к девяти утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в три часа и всё равно к вечеру походили на сладкие булочки, покрытые глазурью из пудры и пота.

Люди в те годы двигались медленно. Разгуливали по площади, обходили одну лавку за другой, всё делали с расстановкой, не торопясь. В сутках были те же двадцать четыре часа, а казалось, что больше. Никто никуда не спешил, потому что идти было некуда, покупать нечего, денег ни гроша, и ничто не влекло за пределы округа Мейкомб. Но для некоторых это было время смутных надежд: незадолго перед тем округу Мейкомб объяснили, что ничего не надо страшиться, кроме страха^[2].

Наш дом стоял на главной улице жилой части города, нас было четверо — Аттикус, Джим, я и наша кухарка Кэлпурния. Мы с Джимом считали, что отец у нас неплохой: он с нами играл, читал нам вслух и всегда был вежливый и справедливый.

Кэлпурния была совсем другая. Вся из углов и костей, близорукая и косила; и рука у неё была широкая, как лопата, и очень тяжёлая. Кэлпурния вечно гнала меня из кухни и говорила, почему я веду себя не так хорошо, как Джим, а ведь она знала, что Джим старше; и она вечно звала меня домой, когда мне хотелось ещё погулять. Наши сражения были грандиозны и всегда кончались одинаково. Кэлпурния неизменно побеждала, больше потому, что Аттикус неизменно принимал её сторону. Она жила у нас с тех пор, как родился Джим, и, сколько себя помню, я всегда ощущала гнёт её власти.

Мама умерла, когда мне было два года, так что я не чувствовала утраты. Она была из города Монтгомери, урождённая Грэм; Аттикус познакомился с нею, когда его в первый раз выбрали в законодательное собрание штата. Он был тогда уже пожилой, на пятнадцать лет старше её. В первый год после их свадьбы родился Джим, после него через четыре года — я, а ещё через два года мама вдруг умерла от разрыва сердца. Говорили, что это у Грэмов в роду. Я по ней не скучала, но Джим, наверно, скучал. Он хорошо помнил маму и иногда посреди игры вдруг длинно вздыхал, уходил

за гараж и играл там один. Когда он бывал такой, я уж знала, лучше к нему не приставать.

Когда мне было около шести лет, а Джиму около десяти, нам летом разрешалось уходить от дома настолько, чтоб слышать, если Кэлпурния позовёт: к северу — до ворот миссис Генри Лафайет Дюбоз (через два дома от нас), к югу — за три дома, до Рэдли. У нас никогда не было искушения перейти эти границы. В доме Рэдли обитало неведомое страшилище, стоило упомянуть о нём — и мы целый день были тише воды, ниже травы; а уж миссис Дюбоз была суцая ведьма.

В то лето к нам приехал Дилл.

Как-то рано утром мы с Джимом вышли на задворки, и вдруг в огороде у нашей соседки, мисс Рейчел Хейверфорд, среди грядок с капустой что-то зашевелилось. Мы подошли к проволочной изгороди поглядеть, не щенок ли это, — у мисс Рейчел фокстерьер должен был ощениться, — а там сидел кто-то коротенький и смотрел на нас. Над капустой торчала одна макушка. Мы стояли и смотрели. Потом он сказал:

— Привет!

— Сам привет, — вежливо ответил Джим.

— Я Чарлз Бейкер Харрис, — сказал коротенький. — Я умею читать.

— Ну и что? — сказала я.

— Я думал, может, вам интересно, что я умею читать. Может, вам надо чего прочитать, так я могу...

— Тебе сколько? — спросил Джим. — Четыре с половиной?

— Скоро семь.

— Чего ж ты хвастаешь? — сказал Джим и показал на меня большим пальцем. — Вон Глазастик сроду умеет читать, а она у нас ещё и в школу не ходит. А ты больно маленький для семи лет.

— Я маленький, но я уже взрослый.

Джим отвёл волосы со лба, чтоб получше его разглядеть.

— Поди-ка сюда, Чарлз Бейкер Харрис. Господи, вот так имечко!

— Не смешней твоего. Тётя Рейчел говорит, тебя зовут Джереми Аттикус Финч.

Джим нахмурился.

— Я большой, мне моё имя подходит. А твоё длинней тебя самого. На целый фут.

— Меня все зовут просто Дилл. — И Дилл полез под проволоку.

— Лучше бы сверху перелез, — сказала я. — Ты откуда взялся?

Дилл взялся из Меридиана, штат Миссисипи, он приехал на лето к своей тёте мисс Рейчел и теперь всегда будет летом жить в Мейкомбе. Его

родные все мейкомбские, мать работает в Меридиане в фотографии, она послала карточку Дилла на конкурс красивого ребёнка и получила премию в пять долларов. Она отдала их Диллу, и он на эти деньги целых двадцать раз ходил в кино.

— У нас тут кино не показывают, только иногда в суде про Иисуса, — сказал Джим. — А ты видал что-нибудь хорошее?

Дилл видел кино «Дракула», это открытие заставило Джима поглядеть на него почти с уважением.

— Расскажи, — попросил он.

Дилл был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны пуговицами пристёгнуты к рубашке, волосы совсем белые и мягкие, как пух на утёнке; он был годом старше меня, но гораздо ниже ростом. Он стал рассказывать нам про Дракулу, и голубые глаза его то светлели, то темнели, вдруг он принимался хохотать во всё горло; на лоб ему падала прядь волос, и он всё время её теребил.

Когда Дилл разделался с Дракулой, Джим сказал — похоже, что кино поинтереснее книжки, а я спросила, где у Дилла отец.

— Ты про него ничего не говорил.

— У меня отца нет.

— Он умер?

— Нет...

— Как же так? Раз не умер, значит есть.

Дилл покраснел, а Джим велел мне замолчать — верный знак, что он изучил Дилла и решил принять его в компанию. После этого у нас на всё лето установился свой распорядок. Распорядок был такой: мы перестраивали свой древесный домик — гнездо, устроенное в развилине огромного платана у нас на задворках; ссорились, разыгрывали в лицах подряд все сочинения Оливера Оптика, Виктора Эплтона и Эдгара Раиса Бэрроуза. Тут Дилл оказался для нас просто кладом. Он играл все характерные роли, которые раньше приходилось играть мне: обезьяну в «Тарзане», мистера Крэбтри в «Братьях Роувер», мистера Деймона в «Томе Свифте». Понемногу мы убедились: Дилл, почти как волшебник Мерлин, — великий мастер на самые неожиданные выдумки, невероятные затеи и престранные фантазии.

К концу августа нам наскучило снова и снова разыгрывать одни и те же спектакли, и тут Дилл надумал выманить из дому Страшиллу Рэдди.

Дом Рэдди совсем околдовал Дилла. Сколько мы его ни предостерегали, сколько ему ни толковали, этот дом притягивал его, как луна — море, но притягивал только до фонарного столба на углу, на

безопасном расстоянии от ворот Рэдли. Тут Дилл застывал — обхватит рукой толстый столб, смотрит во все глаза и раздумывает.

Дом Рэдли стоял в том месте, где улица к югу от нас описывает крутую дугу. Если идти в ту сторону, кажется, вот-вот упрёшься в их крыльцо. Но тут тротуар поворачивает и огибает их участок. Дом был низкий, когда-то выбелен извёсткой, с большой верандой и зелёными ставнями, но давным-давно уже облез и стал таким же грязно-серым, как и весь двор. Прогнившая дранка свисала с крыши веранды, густая листва дубов не пропускала солнечных лучей. Поредевшие кольца забора, шатаясь, как пьяные, ограждали двор перед домом — «чистый» двор, который никогда не подметался и весь зарос сорной травой.

В этом доме обитал злой дух. Так все говорили, но мы с Джимом никогда его не видели. Говорили, он выходит по ночам, когда нет луны, и заглядывает в чужие окна. Если вдруг похолодает и у кого-нибудь в саду помёрзнут азалии, значит, это он на них дохнул. Все мелкие тайные преступления, какие только совершаются в Мейкомбе, — это его рук дело. Как-то на город одно за другим посыпались непонятные и устрашающие ночные происшествия: кур, кошек и собак находили поутру жестоко искалеченными; и хотя виновником оказался полоумный Эдди, который потом бросился в Заводь и утонул, все по-прежнему косились на дом Рэдли, словно не хотели отказываться от первоначальных подозрений. Ни один негр не решался ночью пройти мимо этого дома — непременно перейдёт на противоположный тротуар и начнёт насвистывать для храбрости. Площадка для игр при мейкомбской школе примыкала к задворкам Рэдли; возле курятника у Рэдли росли высоченные пекановые деревья, и спелые орехи сыпались с ветвей на школьный двор, но никто к ним не притрагивался: орехи Рэдли ядовитые! Бейсбольный мяч, залетевший к Рэдли, пропадал безвозвратно, о нём никто и не заикался.

Тайна окутала этот дом задолго до того, как родились мы с Джимом. Перед семейством Рэдли были открыты все двери в городе, но оно держалось очень замкнуто — грех в Мейкомбе непростительный. Рэдли не ходили в церковь, хотя в Мейкомбе это главное развлечение, а молились богу у себя дома; можно было пересчитать по пальцам случаи, когда миссис Рэдли днём выходила из дому, чтоб выпить чашку кофе с соседками, а на собраниях миссионерского общества её не видали ни разу. Мистер Рэдли каждое утро в половине двенадцатого отправлялся в город и уже через полчаса возвращался, иногда с пакетом в руках: с покупками из бакалейной лавки, догадывались соседи. Я так и не поняла, как старик Рэдли зарабатывал свой хлеб, Джим говорил, что он «скупает хлопок»^[3], но

мистер Рэдли с женой и двумя сыновьями жили в нашем городе с незапамятных времён.

По воскресеньям двери и ставни у Рэдли были закрыты — тоже наперекор мейкомбскому обычаю: у нас закрывают двери только в холода или если кто-нибудь болен. А по воскресеньям полагается делать визиты: женщины ходят в корсетах, мужчины — в пиджаках, дети — в башмаках. Но никто из соседей в воскресный день не поднялся бы на крыльцо к Рэдли. Двери у них были сплошные. Я как-то спросила Аттикуса, были ли у них когда-нибудь двери с москитной сеткой, и Аттикус сказал — да, но ещё до того, как я родилась.

Рассказывали, когда младший сын Рэдли был подростком, он свёл дружбу с Канингемами из Старого Сарэма — многолюдным загадочным племенем, обитавшим на севере нашего округа, и впервые за всю историю Мейкомба они сколотили что-то вроде шайки. Они не так уж много буянили, но и этого было довольно, чтобы о них судил и рядил весь город и три священника увещевали их с трёх церковных кафедр: они слонялись возле парикмахерской, по воскресеньям ездили автобусом в Эбботсвил кино; ходили на танцульки в известный всему округу игорный притон на берегу Алабамы — гостиницу «Капля росы и приют рыбака» и даже пробовали пить виски. Ни один человек в Мейкомбе не отважился сказать мистеру Рэдли, что его сын связался с дурной компанией.

Однажды вечером, разойдясь больше обычного, мальчишки прикатили на главную площадь задом наперёд на взятом у кого-то взаймы дрянном фордике, оказали сопротивление почтенному церковному старосте мистеру Коннеру, который пытался их задержать, заперли его во флигеле для присяжных во дворе суда. Весь город решил, что этого им спустить нельзя; мистер Коннер заявил, что узнал всех до одного в лицо и так этого не оставит, — и вот мальчишки предстали перед судом по обвинению в хулиганстве, нарушении общественной тишины и порядка, оскорблении действием и сквернословии в присутствии женщин. Судья спросил мистера Коннера, откуда это последнее обвинение, и мистер Коннер сказал — ребята ругались так громко, что их наверняка слышали все женщины во всём Мейкомбе. Судья решил отправить мальчишек в ремесленное училище штата, куда иной раз посылали подростков просто для того, чтобы у них был кусок хлеба и крыша над головой, это была не тюрьма, и это не считалось позором. Но мистер Рэдли думал иначе. Если судья отпустит Артура, мистер Рэдли уж позаботится, чтоб Артур больше не доставлял хлопот. Зная, что у мистера Рэдли слово не расходится с делом, судья охотно отдал ему сына.

Другие мальчишки поступили в ремесленное училище и получили лучшее среднее образование, какое только можно получить в пределах нашего штата; один из них даже окончил потом высшее техническое училище в Оберне. Двери дома Рэдли были закрыты наглухо и по воскресеньям и в будни, и целых пятнадцать лет никто больше ни разу не видал младшего сына мистера Рэдли.

А потом настал день, который смутно помнил и Джим, когда несколько человек видели Страшилу Рэдли, — и о нём заговорили. По словам Джима, Аттикус не любил говорить о Рэдли, и, когда Джим про них спрашивал, Аттикус отвечал одно: занимайся своими делами, а в дела Рэдли не суйся, они тебя не касаются, но после того случая, рассказывал Джим, Аттикус покачал головой и сказал: «Гм-гм».

Почти все сведения Джим получил от нашей соседки мисс Стивени Кроуфорд, завзятой сплетницы, она-то уж знала всё доподлинно. По её словам, Страшила сидел в гостиной, вырезал какие-то заметки из «Мейкомб трибюн» и наклеивал в альбом. В комнату вошёл мистер Рэдли-старший. Когда отец проходил мимо, Страшила ткнул его ножницами в ногу, потом вытащил ножницы, вытер кровь о штаны и вновь принялся за свои вырезки.

Миссис Рэдли выбежала на улицу и закричала, что Артур их всех сейчас убьёт, но, когда прибыл шериф, Страшила всё так же сидел в гостиной и вырезал что-то из газеты. Ему было тогда тридцать три года.

Мисс Стивени сказала — мистеру Рэдли предложили отправить Страшилу на время в Таскалузу, это будет ему полезно, но старик сказал — нет, ни один Рэдли в сумасшедшем доме не сидел и сидеть не будет. Страшила не помешанный, просто он иногда бывает раздражительным. Поддержать его под замком можно, а судить не за что, никакой он не преступник. Шериф не решился посадить Страшилу в тюрьму вместе с неграми, и его заперли в подвале здания суда.

Как Страшилу вновь перевели домой, Джим помнил очень смутно. Мисс Стивени Кроуфорд рассказывала — некоторые члены муниципалитета сказали мистеру Рэдли, что если он не заберёт Страшилу из подвала, тот от сырости зарастёт плесенью и помрёт. И потом, не может же Страшила весь век жить на средства округа.

Никто не знал, каким образом мистеру Рэдли удалось запугать Страшилу так, чтоб он не показывался на люди; Джим думал, что Страшила почти всё время сидит на цепи, прикованный к кровати. Но Аттикус сказал — нет, не в том дело, можно и другими способами превратить человека в привидение.

Помню, изредка мне случалось видеть, как миссис Рэдли открывает парадную дверь, подходит к перилам веранды и поливает свои канны. А вот мистера Рэдли, когда он шагал в город и обратно, мы с Джимом видели каждый день. Он был худой, жилистый, глаза какие-то блёклые, даже не поймёшь, какого они цвета. Торчат острые скулы, рот большой, верхняя губа тонкая, а нижняя толстая. Мисс Стивени Кроуфорд говорила, он уж до того прямой и правильный человек, что слушает одного только бога, и мы ей верили, потому что мистер Рэдли был прямой, как громоотвод.

С нами он не разговаривал. Когда он шёл мимо, мы опускали глаза и говорили: «Доброе утро, сэр», а он в ответ только покашливал. Его старший сын жил в Пенсаколе, на рождество он приезжал домой, он был один из немногих, кто на наших глазах входил в этот дом или выходил из него. Люди говорили, с того дня, как мистер Рэдли взял Артура из подвала, дом словно вымер.

А потом настал день, когда Аттикус сказал — если мы станем шуметь во дворе, он нам задаст, и велел Кэлпурнии, чтоб мы не смели пикнуть, пока его не будет дома: мистер Рэдли умирает.

Мистер Рэдли не торопился. Улицу по обе стороны от его дома перегородили деревянными козлами, тротуар посыпали соломой, все машины и повозки сворачивали в объезд. Доктор Рейнолдс всякий раз, приезжая к больному, оставлял свою машину возле нас и к дому Рэдли шёл пешком. Мы с Джимом целыми днями ходили по двору на цыпочках. Наконец козлы убрали, и мы с крыльца смотрели, как мистер Рэдли отправился мимо нашего дома в последний путь.

— Вот хоронят самого подлого человека на свете, — проворчала себе под нос Кэлпурния и задумчиво сплюнула.

Мы посмотрели на неё во все глаза: Кэлпурния не часто позволяла себе вслух судить о белых.

Все соседи думали — когда мистер Рэдли отправится на тот свет, Страшила выйдет на свет божий, но они ошибались: из Пенсаколы вернулся старший брат Страшилы и занял место отца. Разница была только в возрасте. Джим сказал — мистер Натан Рэдли тоже «скупает хлопок». Однако мистер Натан отвечал нам, когда мы с ним здоровались, и иногда он возвращался из города с журналом в руках.

Чем больше мы рассказывали Диллу про семейство Рэдли, тем больше ему хотелось знать, тем дольше он простаивал на углу в обнимку с фонарным столбом и тем дольше раздумывал.

— Интересно, что он там делает, — бормотал он. — Вот возьмёт сейчас и высунется из-за двери.

— Он по ночам выходит, когда темно, — сказал Джим. — Мисс Стивени Кроуфорд говорит, раз она проснулась среди ночи, а он смотрит на неё в окошко... смотрит, а сам похож на мертвеца, голова точь-в-точь как череп. Дилл, а ты его не слышал? Ты ночью не просыпался? Он ходит вот так, — и Джим зашаркал ногами по гравию. — Думаешь, почему мисс Рейчел так запирает на ночь все двери? Я сам утром сколько раз видал у нас на задворках его следы, а раз ночью слышим — он скребётся в окно у заднего крыльца, Аттикус вышел, а его уже нет.

— Вот бы поглядеть, какой он, — сказал Дилл.

Джим нарисовал довольно похожий портрет Страшилы: ростом Страшила, судя по следам, около шести с половиной футов; ест он сырых белок и всех кошек, какие только попадутся, вот почему руки у него всегда в крови — ведь кто ест животных сырыми, тому век не отмыть рук. У него длинный кривой шрам через всё лицо; зубы жёлтые, гнилые; он пучеглазый и слюнявый.

— Давайте выманим его из дому, — сказал Дилл. — Я хочу на него поглядеть.

Джим сказал:

— Что ж, если тебе жизнь надоела, поди и постучи к ним в парадную дверь, только и всего.

Наш первый налёт состоялся, только когда Дилл поспорил с Джимом на книжку «Серое привидение» против двух выпусков «Тома Свифта», что Джим не посмеет сунуться в ворота Рэдли. Джим был такой — если его раздражить, нипочём не отступит.

Джим думал три дня. Наверно, честь ему была дороже жизни, потому что Дилл его донял очень легко.

— Ты трусишь, — сказал он в первый же день.

— Не трушу, просто невежливо ломиться в чужой дом.

Назавтра Дилл сказал:

— Ты трусишь, тебе к ним во двор одной ногой и то не ступить.

Джим возразил, что он ведь сколько лет каждый день ходит в школу мимо Рэдли.

— Не ходишь, а бегом бегаешь, — сказала я.

Но на третий день Дилл добил его: он сказал Джиму, что в Меридиане люди похрабрее мейкомбских, он сроду не видал таких трусов, как в Мейкомбе.

Услыхав такие слова, Джим прошагал по улице до самого угла, прислонился к фонарному столбу и уставился на калитку, которая нелепо болталась на самодельной петле.

— Надеюсь, ты и сам понимаешь, Дилл Харрис, что он всех нас прикончит, — сказал Джим, когда мы подошли к нему. — Он выцарапает тебе глаза, и тогда не говори, что это я виноват. Помни, ты сам это затеял.

— А ты всё равно трусишь, — кротко сказал Дилл.

Джим попросил Дилла усвоить раз и навсегда, что ничего он не трусит.

— Просто я никак не придумаю, как бы его выманить, чтоб он нас не поймал.

И потом, Джим обязан помнить о своей младшей сестре.

Как только он это сказал, я поняла — он и вправду боится. Когда я один раз сказала, что ему слабо прыгнуть с крыши, он тоже вспомнил о своей младшей сестре, «Если я разобьюсь насмерть, что будет с тобой?» — спросил он тогда.

Прыгнул с крыши, но не разбился, и больше не вспоминал, что он в ответе за свою младшую сестру, пока не оказался перед воротами Рэдли.

— Что, слабо тебе? Хочешь на попятный? — сказал Дилл. — Тогда, конечно...

— Дилл, такие вещи надо делать подумавши, — сказал Джим. — Дай минуту подумать... это всё равно как заставить черепаху высунуть голову...

— А как ты её заставишь? — поинтересовался Дилл.

— Надо зажечь у неё под пузом спичку.

Я сказала — если Джим подожжёт дом Рэдли, я скажу Аттикусу.

Дилл сказал — поджигать черепаху гнусно.

— Ничего не гнусно, надо же её заставить, и ведь это не то что кинуть её в огонь, — проворчал Джим.

— А почём ты знаешь, что от спички ей не больно?

— Дурак, черепахи ничего не чувствуют, — сказал Джим.

— А ты что, сам был черепахой?

— Ну, знаешь, Дилл!... А теперь не мешай, дай подумать... Может, если мы начнём кидаться камнями...

Джим думал так долго, что Дилл, вздохнув, пошёл на уступки.

— Ладно, не слабо, ты только подойти к дому, дотронься рукой — и «Серое привидение» твоё.

Джим оживился:

— Дотронусь — и всё?

Дилл кивнул.

— Значит, всё? — повторил Джим. — Смотри, а то я дотронусь, а ты сразу станешь орать — не по правилам!

— Говорят тебе, это всё, — сказал Дилл. — Он, наверно, как увидит тебя во дворе, сразу выскочит, тут мы с Глазастиком накинемся на него, схватим и объясним, что мы ему ничего плохого не сделаем.

Мы перешли через улицу и остановились у ворот Рэдли.

— Ну, валяй, — сказал Дилл. — Мы с Глазастиком тут.

— Сейчас, — сказал Джим. — Не торопи меня.

Он зашагал вдоль забора до угла, потом обратно — видно, изучал несложную обстановку и решал, как лучше проникнуть во двор; при этом он хмурился и чесал в затылке.

Я смотрела, смотрела на него — и фыркнула.

Джим рывком распахнул калитку, кинулся к дому, хлопнул ладонью по стене и помчался обратно мимо нас, даже не обернулся поглядеть, что толку от его набега. Мы с Диллом мчались за ним по пятам. Благополучно добежали до нашей веранды и, пыхтя и еле переводя дух, оглянулись.

Старый дом стоял по-прежнему хмурый и унылый, но вдруг нам показалось, что в одном окне шевельнулась штора. Хлоп. Лёгкое, чуть заметное движение — и дом снова замер.

В начале сентября Дилл попрощался с нами и уехал к себе в Меридиан. Мы проводили его на пятичасовой автобус, и я ужасно скучала, но потом сообразила — через неделю мне в школу! Ещё ничего в жизни я не ждала с таким нетерпением. Зимой я часами просиживала в нашем домике на платане, глядя на школьный двор, подсматривала за школьниками в бинокль Джима, изучила все их игры, не спускала глаз с красной куртки Джима, когда ребята играли в жмурки или в салки, втайне делила все их радости и неудачи. И ужасно хотела быть с ними вместе.

В первый день Джим снизошёл до того, что сам отвёл меня в школу, обычно это делают родители, но Аттикус сказал — Джим с удовольствием покажет мне мой класс. Наверно, тут совершилась выгодная сделка: когда мы рысцой огибали угол дома Рэдли, я услышала необычный звук — в кармане у Джима позвякивали монетки. Перед школьным двором мы замедлили шаг, и Джим стал мне толковать, чтоб в школе я к нему не приставала, не просила разыграть главу «Тарзан и люди-муравьи», не докучала намёками на его личную жизнь и не ходила за ним хвостом в перемены. Моё место в первом классе, а место Джима — в пятом. Короче говоря, чтоб я не путалась у него под ногами.

— Что ж, нам с тобой больше нельзя играть вместе? — спросила я.

— Дома мы будем жить, как жили, — сказал Джим. — Но, понимаешь, в школе не то, что дома.

Так оно и оказалось. В первое же утро наша учительница мисс Кэролайн Фишер вызвала меня и перед всем классом отлупила линейкой по ладони, а потом поставила в угол до большой перемены.

Мисс Кэролайн была молодая — двадцать один, не больше. Волосы тёмно-рыжие, щёки розовые и тёмно-красный лак на ногтях. И лакированные туфельки на высоком каблуке, и красное платье в белую полоску. Она была очень похожа на мятную конфетку, и пахло от неё конфеткой. Она снимала верхнюю комнату у мисс Моды Эткинсон, напротив нас, и, когда мисс Моды нас с ней познакомила, Джим потом несколько дней ходил, как в тумане.

Она написала своё имя на доске печатными буквами и сказала:

— Тут написано, что меня зовут мисс Кэролайн Фишер. Я из Северной Алабамы, из округа Уинстон.

Класс зашептался: у жителей тех мест характер известный, наверно,

мисс Кэролайн такая же.^[4] В Северной Алабаме полным-полно водочных заводов, ткацких фабрик, сталелитейных компаний, республиканцев, профессоров и прочих людей без роду, без племени.

Для начала мисс Кэролайн стала читать нам вслух про кошек. Кошки вели друг с другом длинные беседы, ходили в нарядных платьицах и жили на кухне в тёплом домике под печкой. К тому времени, как миссис Кошка позвонила в аптеку и заказала пилюли из сушёных мышей в шоколаде, весь класс так и корчился от смеха. Мисс Кэролайн, видно, было невдомёк, что её ученики — мальчишки в рваных рубашках и девчонки в платьях из мешковины — все, кто, едва научившись ходить, уже собирают хлопок и задают корм свиньям, не очень восприимчивы к изящной словесности. Дочитав до конца, она сказала:

— Какая милая сказка, не правда ли, дети?

Потом подошла к доске, огромными печатными буквами выписала на ней весь алфавит и, обернувшись к классу, спросила:

— Кто знает, что это такое?

Знали все: большинство сидело в первом классе второй год.

Наверно, мисс Кэролайн выбрала меня потому, что знала, как меня зовут; когда я стала читать все буквы подряд, меж бровей у неё появилась чуть заметная морщинка; потом она заставила меня прочитать вслух полбукваря и биржевой бюллетень из «Мобил реджистер», убедилась, что я грамотная, и посмотрела на меня уже с лёгким отвращением. И велела мне сказать отцу, чтобы он меня больше не учил, это помешает мне читать как полагается.

— Но он меня ничему не учил, мисс Кэролайн, — удивилась я.

Она улыбнулась и покачала головой.

— Аттикусу некогда меня учить, — прибавила я. — Знаете, он вечером всегда такой усталый, он только сидит в гостиной и читает.

— Если не он, так кто же тебя учил? — сказала мисс Кэролайн совсем не сердито. — Кто-то ведь учил? Не с пелёнок же ты читаешь газеты.

— А Джим говорит — с пелёнок. Он читал одну книжку, и там я была не Финч, а Пинч. Джим говорит, меня по-настоящему зовут Джин Луиза Пинч, но, когда я родилась, меня подменили, а по-настоящему я...

— Не будем давать волю фантазии, деточка, — сказала она. — Итак, передай отцу, чтобы он больше тебя не учил. Учиться читать лучше по всем правилам. Скажешь ему, что теперь я возьмусь за тебя сама и постараюсь исправить зло...

— Как вы сказали, мэм?

— Твой отец не умеет учить. А теперь садись.

Я пробормотала, что прошу прощения, села на своё место и начала думать, в чём же моё преступление. Я никогда не училась читать нарочно, просто как-то так выходило, что я каждый день без спросу рылась в газетах. А может, я научилась читать за долгие часы в церкви? Не помню, было ли такое время, когда я не умела читать псалмы. Если разобраться, чтение пришло само собой, всё равно как сама собой я научилась, не глядя, застёгивать сзади комбинезон и не путаться в шнурках башмаков, а завязывать их бантом. Уж не знаю, когда именно строчки над движущимся пальцем Аттикуса стали делиться на слова, но, сколько себя помню, каждый вечер я смотрела на них и слушала последние новости, проекты новых законов, дневники Лоренцо Дау — всё, что читал Аттикус, когда я перед сном забиралась к нему на колени. Пока я не испугалась, что мне это запретят, я вовсе не любила читать. Дышать ведь не любишь, а попробуй не дышать...

Понимая, что мисс Кэролайн мною недовольна, я решила не искушать судьбу и до конца урока смотрела в окно, а потом настала перемена, и весь первый класс высыпал во двор.

Тут меня отыскал Джим, отвёл в сторону и спросил, как дела. Я рассказала.

— Если б можно, я бы ушла домой. Джим, эта тётка говорит, Аттикус учил меня читать, так пускай больше не учит...

— Не горюй, — стал утешать меня Джим. — Наша учительница говорит, мисс Кэролайн преподаёт по новому способу. Её этому выучили в колледже. Скоро во всех классах так будет. При этом способе по книжкам почти не учатся, вроде как с коровами: если хочешь узнать про корову, надо её подоить, ясно?

— Ага, но я не хочу изучать коров, я...

— Как так не хочешь? Про коров надо знать, в нашем округе на них половина хозяйства держится.

Я только и спросила, не спятил ли он.

— Вот дурёха, я просто объясняю тебе, что первоклашек теперь учат по новому способу. Называется — «десятичная система Дьюи».

Я никогда не подвергала сомнению истины, которые изрекал Джим, не усомнилась и теперь. «Десятичная система Дьюи» наполовину состояла в том, что мисс Кэролайн махала у нас перед носом карточками, на которых было выведено печатными буквами: КИТ, КОТ, ВОТ, ДОМ, ДЫМ. От нас, видимо, не требовалось никаких комментариев, и класс в молчании принимал эти импрессионистские откровения. Мне стало скучно, и я принялась писать письмо Диллу. На этом занятии меня поймала мисс

Кэролайн и опять велела сказать отцу, чтоб он перестал меня учить.

— И, кроме того, — сказала она, — в первом классе мы пишем только печатными буквами. А по-письменному будешь учиться в третьем классе.

Тут виновата была Кэлпурния. Наверно, иначе в ненастную погоду ей бы от меня житья не было. Она задавала мне урок: нацарапает на грифельной доске вверху все буквы по-письменному, положит рядом раскрытую библию и велит переписывать главу. Если я выводила буквы похоже, она давала мне в награду кусок хлеба с маслом, густо посыпанный сахаром. Учительница она была строгая, не часто бывала мною довольна, и я не часто получала награду.

— Все, кто ходит завтракать домой, поднимите руки, — сказала мисс Кэролайн, и я не успела додумать, как ещё меня обидела Кэлпурния.

Все городские ребята подняли руки, и мисс Кэролайн внимательно оглядела нас.

— Все, у кого завтрак с собой, достаньте его.

Неведомо откуда появились ведёрки из-под патоки, и на потолке заплясали серебряные зайчики. Мисс Кэролайн ходила между рядами парт, заглядывала в ведёрки и в бумажные пакеты и то одобрительно кивала, то слегка хмурилась. Возле парты Уолтера Канингема она остановилась.

— А где твой завтрак? — спросила она.

По лицу Уолтера Канингема каждый первоклассник сразу видел — у него глисты. А по его босым ногам сразу видно было, откуда это у него. Глисты бывают оттого, что ходишь босиком по хлеву и по грязи, где валяются свиньи. Будь у Уолтера башмаки, в первый день занятий он бы, конечно, их надел, а потом всё равно ходил бы в школу босой до самых холодов. Зато на нём была чистая рубашка и старательно залатанный комбинезон.

— Ты сегодня забыл взять с собой завтрак? — спросила мисс Кэролайн.

Уолтер смотрел прямо перед собой. На его тощей щеке дёргался мускул.

— Ты забыл сегодня завтрак? — опять спросила мисс Кэролайн.

У него опять дёрнулась щека.

— Угу, — пробормотал он наконец.

Мисс Кэролайн подошла к своему столу и достала кошелёк.

— Вот тебе двадцать пять центов, — сказала она. — Поди и купи себе поесть. Деньги отдашь мне завтра.

Уолтер помотал головой.

— Нет, мэм, спасибо, — тихо сказал он.

В голосе мисс Кэролайн послышалось нетерпение.

— Поди сюда, Уолтер, и возьми деньги.

Уолтер опять помотал головой.

Когда он замотал головой в третий раз, кто-то прошептал:

— Скажи ей, Глазастик!

Я оглянулась и увидела, что почти все городские ребята и все загородные смотрят на меня. Мы с мисс Кэролайн уже дважды беседовали, и они все уставились на меня в простодушной уверенности, что из столь близкого знакомства рождается взаимопонимание.

Так и быть, надо вступить за Уолтера. Я встала.

— Э-э... мисс Кэролайн...

— Что тебе, Джин Луиза?

— Мисс Кэролайн, он Канингем.

И я села на место.

— Что такое, Джин Луиза?

Мне казалось, я сказала очень ясно. Всем нам было ясно: Уолтер Канингем врёт почём зря. Никакого завтрака он не забывал, никакого завтрака у него и не было. Сегодня нет, и завтра не будет, и послезавтра. Он, наверно, в жизни своей не видал трёх четвертаков сразу.

Я сделала ещё одну попытку.

— Мисс Кэролайн, ведь Уолтер из Канингемов.

— Не понимаю, Джин Луиза. О чём ты говоришь?

— Это ничего, мэм, вы скоро всех в округе узнаете. Канингемы никогда ничего не возьмут бесплатно — ни у прихода, ни у муниципалитета. Они ни у кого ничего не берут, обходятся тем, что есть. У них мало что есть, но они обходятся.

В нравах племени Канингемов — вернее, одной его ветви — я начала разбираться минувшей зимой. Отец Уолтера приходил к Аттикусу за советом. Однажды вечером они долго и скучно толковали в гостиной про ущемление прав, а на прощанье мистер Канингем сказал:

— Уж не знаю, мистер Финч, когда я смогу с вами расплатиться.

— Пусть вас это не заботит, Уолтер, — сказал Аттикус.

Я спросила Джима, что такое ущемление, он объяснил — когда тебе прищемят хвост, и тогда я спросила Аттикуса, сможет ли мистер Канингем когда-нибудь нам заплатить.

— Деньгами не сможет, — сказал Аттикус, — но до конца года он со мной рассчитается. Вот увидишь.

И мы увидели. Как-то утром мы с Джимом нашли на задворках гору хвороста для растопки. Потом на заднем крыльце откуда-то взялся целый

мешок орехов. На рождество появилась корзинка остролиста. Весной мы нашли ещё мешок молодой репы, и тут Аттикус сказал, что мистер Канингем заплатил ему с лихвой.

— Почему это он платит репой? — спросила я.

— Потому, что иначе ему платить нечем. У него нет денег.

— А мы бедные, Аттикус?

Аттикус кивнул.

— Да, конечно.

Джим наморщил нос.

— Такие же бедные, как Канингемы?

— Ну, не совсем. Канингемы не горожане, а фермеры, по ним кризис ударил сильнее всего.

Аттикус сказал — в городе многие люди бедны потому, что бедны фермеры. Округ Мейкомб — фермерский; докторам, адвокатам, зубным врачам каждый грош трудно достаётся. Ущемление прав не единственная беда мистера Канингема. Та часть его земли, которой он имеет право распоряжаться, не спросясь совладельца, заложена и перезаложена, и жалкие гроши, которые он получает наличными, приходится отдавать в уплату процентов. Если бы мистер Канингем не говорил лишнего, его взяли бы на общественные работы, но, если он бросит свою землю, она пропадёт, а он предпочитает голодать, но сохранить её и притом голосовать, за кого хочет. Мистер Канингем — из породы непреклонных, сказал Аттикус. У Канингемов нет денег заплатить юристу, вот они и платят, чем могут.

— А знаете, доктор Рейнолдс тоже так работает, — сказал Аттикус. — Когда родится ребёнок, он берёт с родителей меру картофеля. Мисс Глазастик, если вы одарите меня своим вниманием, я вам объясню, что значит ущемление прав. Джим иногда очень точно определяет, что к чему.

Если бы я могла объяснять так же просто и понятно, как Аттикус, я бы избежала кое-каких неприятностей и уберегла учительницу от горького разочарования, но я не умела и поэтому сказала:

— Мисс Кэролайн, вы Уолтера только зря срамите. У него дома нет четвертака, чтоб вам вернуть, а хворост вам ни к чему.

Мисс Кэролайн стала как вкопанная, потом схватила меня за шиворот и потащила к своему столу.

— Джин Луиза, ты мне надоела, — сказала она. — Ты во всех отношениях плохо начинаешь, моя милая. Протяни руку.

Я думала, она сейчас плюнет мне на ладонь — в Мейкомбе только для этого и протягивают руку, это освящённый веками обычай, так скрепляют у нас всякий уговор. Не совсем понимая, о чём же это мы с ней уговорились,

я оглянулась на ребят, но весь класс в таком же недоумении смотрел на меня. Мисс Кэролайн взяла со стола линейку, раз пять или шесть легонько хлопнула меня по руке, а потом велела стать в угол. Тут только до ребят дошло, что мисс Кэролайн меня отлупила, и все покатались со смеху.

Мисс Кэролайн пригрозила, что им тоже достанется, и первый класс опять захохотал, отрезвило его только появление мисс Блаунт. Коренная жительница Мейкомба, пока ещё не посвящённая в тайны «десятичной системы Дьюи», мисс Блаунт стала на пороге — руки в боки — и заявила:

— Если тут в классе ещё кто-нибудь пикнет, всех взгрею, так и знайте! Мисс Кэролайн, из-за этого крика и шума шестой класс не может сосредоточиться на пирамидах.

В углу я стояла недолго. К счастью для мисс Кэролайн, зазвенел звонок, и все пошли завтракать. Я выходила последней и видела — мисс Кэролайн тяжело опустилась на стул и уронила голову на руки. Если б она обошлась со мной получше, я бы её пожалела. Она была такая хорошенькая.

3

Я немного отвела душу — налетела во дворе на Уолтера Канингема и давай тыкать его в землю носом, но тут подошёл Джим и велел его отпустить.

— Связалась с маленьким.

— Никакой он не маленький, — сказала я. — Из-за него я плохо начала.

— Брось, Глазастик. За что ты его?

— У него не было завтрака, — сказала я и объяснила, как мне попало из-за Уолтера питания.

Уолтер поднялся на ноги и молча слушал. Он слегка сжал кулаки, будто ждал — вот-вот мы оба на него накинемся. Я затопала было на него, чтоб он убирался, но Джим придержал меня за плечо. Внимательно оглядел Уолтера, потом спросил:

— Твой папа — мистер Уолтер Канингем из Старого Сарэма?

Уолтер кивнул.

Он был такой чахлый и тощий, будто отродясь не ел досыта, глаза голубые, как у Дилла Харриса, и слезятся, веки красные, а в лице ни кровинки, только кончик носа красный и мокрый. Он беспокойно теребил лямки комбинезона, дёргал крючки.

Джим вдруг весело улыбнулся ему.

— Пойдём к нам завтракать, Уолтер, — сказал он. — Мы будем очень рады.

Уолтер просиял, но сразу опять насупился.

Джим сказал:

— Наш отец с твоим отцом друзья. А Глазастик — она просто шалая. Больше она тебя не тронет.

— Это ещё как сказать, — возмутилась я. Чего ради Джим даёт обещания, не спросясь меня? Но ведь драгоценное время уходит. — Ладно, Уолтер, я тебя лупить не буду. А ты фасоль любишь? Наша Кэл здорово стряпает.

Уолтер стоял столбом и кусал губы. Мы с Джимом уже махнули на него рукой и почти дошли до Рэдди, и тут он заорал вдогонку:

— Эй, я с вами!

Когда Уолтер нас догнал, Джим завёл с ним светский разговор.

— Тут живёт злой дух, — сказал он, показывая на дом Рэдди. —

Слышал про него?

— Как не слышать, — ответил Уолтер. — В первый год в школе я чуть не помер — наелся орехов. Говорят, он их нарочно отравит да и кидает через забор.

Сейчас, когда мы шли втроём, Джим вроде совсем не боялся Страшилы Рэдди. Даже расхвастался.

— Один раз я подошёл к самому дому, — сказал он Уолтеру.

— Некоторые подойдут один раз к самому дому, а потом мимо и то бегом бегают, — сказала я облакам в небе.

— Кто это бегают, мисс Придира?

— Ты бегаешь, когда один.

Пока мы дошли до нашего крыльца, Уолтер и думать забыл, что он Канингом. Джим побежал на кухню и сказал Кэлпурнии, чтоб поставила лишнюю тарелку: у нас гость. Аттикус поздоровался с Уолтером и завёл разговор про урожай, а мы с Джимом ничего в этом не понимали.

— Я ведь почему сижу в первом классе, мистер Финч, мне каждую весну надо помогать отцу собирать хлопок, но теперь у нас ещё один подрост, тоже может работать на плантации.

— Вы за него заплатили меру картофеля? — спросила я.

Аттикус поглядел на меня и покачал головой.

Уолтер стал накладывать себе еду, и всё время, к нашему с Джимом удивлению, они с Аттикусом разговаривали, как равные. Аттикус толковал что-то про фермерское хозяйство, и вдруг Уолтер прервал его и спросил, нет ли у нас в доме патоки. Аттикус позвал Кэлпурнию, и она принесла кувшин с патокой. Она стояла и ждала, пока Уолтер нальёт себе. Уолтер стал лить патоку на овощное рагу и на мясо. Он бы, наверно, и в стакан с молоком налил, но тут я спросила, что это он делает.

Он быстро отставил кувшин, даже серебряная подставка звякнула, и зажал руки в коленях. И понурился.

Аттикус посмотрел на меня и опять покачал головой.

— Так ведь он весь свой завтрак утопил в патоке, — сказала я. — Он всё залил...

Тут-то Кэлпурния потребовала меня на кухню.

Кэлпурния была в бешенстве, а в бешенстве она всегда начинала говорить неправильно. В спокойном состоянии она разговаривала ничуть не хуже самых грамотных людей в Мейкомбе. Аттикус говорил — Кэлпурния образованнее почти всех цветных.

Она поглядела на меня, скосив глаза, и морщинки между бровей стали заметнее.

— Может, кто ест и не так, как мы, а всё одно за столом над ними не насмешничай, — яростно зашептала она. — Этот малый — твой гость, захочет — пускай хоть скатерть жуёт, а ты знай помалкивай. Поняла?

— Да он не гость, Кэл, он просто Канингем...

— Не мели языком! Какое твоё дело, кто он есть! Пришёл в дом — значит гость, и нечего нос задирать, смотри ты, какая важная выискалась! Родные твои, может, и получше Канингемов, да только ты их срамишь! Не умеешь вести себя за столом — ешь в кухне!

Увесистым шлепком Кэлпурния подтолкнула меня к дверям столовой. Я забрала свою тарелку и доела завтрак в кухне — хорошо, хоть не пришлось после такого унижения сидеть вместе со всеми. Кэлпурнии я сказала — ладно же, пускай только отвернётся, вот пойду и брошусь в Заводь, тогда пожалеет. И потом, она уже меня сегодня втравила в беду, это всё она виновата, зачем учила меня писать.

— А ну-ка помолчи! — сказала Кэлпурния.

Джим и Уолтер ушли в школу, не дождавшись меня, — стоило задержаться и потом нестись одной во весь дух мимо дома Рэдли, лишь бы открыть Аттикусу глаза на злодеяния Кэлпурнии.

— И вообще она любит Джима больше меня, — сказала я под конец и предложила Аттикусу сейчас же её прогнать.

— А ты не замечаешь, что Джим доставляет ей вдвое меньше хлопот? — сурово сказал Аттикус. — Я не намерен расставаться с Кэлпурнией ни сейчас, ни потом. Мы без Кэл дня прожить не можем, ты об этом когда-нибудь думала? Так вот, подумай, как она о тебе заботится, и изволь её слушаться. Поняла?

Я вернулась в школу и сидела и ненавидела Кэлпурнию, как вдруг мои мрачные мысли прервал отчаянный крик. Я подняла голову. Посреди класса стояла мисс Кэролайн, её всю перекосило от ужаса. За перемену она, видно, немного пришла в себя и взялась учить нас дальше.

— Живая! Живая! — визжала она.

Все мальчишки разом кинулись ей на выручку. Господи, подумала я, мыши испугалась! Чарли Литл, по прозвищу Коротышка, человек на редкость снисходительный ко всякой живой твари, спросил:

— Куда она побежала, мисс Кэролайн? Говорите скорей! Закрой-ка дверь, — велел он мальчишке, сидевшему за ним, — сейчас мы её изловим. Скорей, мэм, скажите, куда она побежала?

Мисс Кэролайн показала трясущимся пальцем не на пол и не на свой стол, а на какого-то незнакомого мне верзилу. Коротышка нахмурился, но спросил мягко:

— Это вы про него, мэм? Ясно, он живой. Он вас напугал, что ли?

— Я прохожу, а у него по волосам ползёт... прямо по волосам ползёт... — еле выговорила мисс Кэролайн.

Коротышка расплылся до ушей.

— Ничего страшного, мэм. Эка невидаль — вошка! Садитесь спокойно за свой стол и поучите нас ещё малость.

Коротышка тоже, как многие мейкомбские жители, не знал, когда ему в следующий раз случится поест, зато он был прирождённый джентльмен. Он взял мисс Кэролайн под локоть и отвёл к учительскому столу.

— Вы не беспокойтесь, мэм, — сказал он. — Вошек бояться нечего. Сейчас я вам принесу воды попить.

Хозяина вошки весь этот переполох нимало не встревожил. Он почесал голову, нащупал непрошеную гостью; и двумя пальцами извлёк её на свет божий.

Мисс Кэролайн не сводила с него расширенных от ужаса глаз. Коротышка принёс ей воды в бумажном стаканчике, она с благодарностью выпила, и к ней, наконец, вернулся дар речи.

— Как тебя зовут, дружок? — кротко спросила она.

Верзила захлопал глазами.

— Кого, меня?

Мисс Кэролайн кивнула.

— Баррис Юэл.

Мисс Кэролайн заглянула в список.

— У меня тут числится Юэл, а имени нет. Как пишется твоё имя?

— Не знаю. Дома меня зовут Баррис — и всё.

— Ну хорошо, Баррис, — сказала мисс Кэролайн. — Я думаю, мы тебя на сегодня освободим от занятий. Поди домой и вымой голову.

Она достала из ящика стола толстую книгу, перелистала и с минуту читала про себя.

— Хорошее домашнее средство от... Баррис, поди домой и вымой голову дегтярным мылом. А потом протри кожу керосином.

— Для чего это?

— Чтобы избавиться от... от вшей. Понимаешь ли, Баррис, от тебя могут заразиться другие дети, ты ведь этого не хочешь, правда?

Баррис встал. Первый раз в жизни я видела, чтоб человек был такой грязный. Шея тёмно-серая, руки шелушатся, под ногтями траур. Умыта у него была только самая серединка лица, величиной в ладонь. Раньше его никто не замечал — наверно, потому, что всё утро класс развлекали мы с мисс Кэролайн.

— И, пожалуйста, Баррис, — прибавила мисс Кэролайн, — прежде чем прийти завтра в школу, обязательно прими ванну.

Верзила захохотал.

— Думаете, вы меня прогнали, хозяйка? Я сам уйду. На нынешний год я уже отучился.

Мисс Кэролайн посмотрела на него с недоумением.

— Что ты хочешь сказать?

Он не ответил, только презрительно фыркнул.

— Он из Юэлов, мэм, — объяснил кто-то из самых старших ребят, и я подумала — она всё равно не поймёт, не поняла же, когда я сказала про Канингеймов. Но мисс Кэролайн слушала внимательно. — У нас полная школа Юэлов. Они каждый год приходят в первый день, а потом бросают. В первый день это их инспекторша заставляет, потому что грозитя шерифом, а дальше она ничего не может. Она думает, в список их записала, в первый день в школу загнала — ну и по закону всё в порядке. А вы потом круглый год отмечайте — мол, на уроках не был, и всё...

— Но что же смотрят их родители? — удивилась мисс Кэролайн.

— Мать у них померла, — был ответ, — а отцу наплевать.

Баррису Юэлу этот разговор явно польстил.

— Я в первый класс третий год хожу, — гордо сказал он. — Коли изловчусь, так на тот год во второй переведут.

— Пожалуйста, садись, Баррис, — сказала мисс Кэролайн.

Вот тут она дала маху. До сих пор Юэл всё терпел, а теперь разозлился.

— Как бы не так!

Коротышка встал.

— Отпустите его, мэм, — посоветовал он. — Он подлый парень, просто подлый. Ещё заварит кашу, а у нас тут есть маленькие.

Коротышку самого-то было от земли не видать, но, когда Баррис Юэл обернулся к нему, он быстро сунул руку в карман.

— Ну, ну, полегче, — предостерёг он, — а то ты у меня сдохнешь — не охнешь. Топай отсюда.

Баррис, кажется, испугался мальчонки вдвое меньше себя, и мисс Кэролайн воспользовалась его минутной растерянностью.

— Иди домой, Баррис, — сказала она. — Не то тебе придётся иметь дело с директором. Так или иначе, я должна буду ему обо всём доложить.

Юэл фыркнул и неторопливо, нога за ногу, двинулся к выходу.

— И докладывай, чёрт с тобой! Нашлась училка сопливая, видали мы таких. Думает, она меня выгнала. Это я сам ушёл, так и запомни! Захотел

— и ушёл.

Он выждал ещё минуту, уверился, что она плачет, и только тогда, лениво шаркая ногами, вышел.

Мы все сгрудились вокруг учительского стола и, кто как мог, утешали мисс Кэролайн — подлый этот Юэл... не по-честному... таких и учить нечего... это не по-мейкомбски, мисс Кэролайн, наши так не поступают... да вы не горюйте, мэмм... мисс Кэролайн, может, вы нам ещё почитаете? Вот про кошек было очень даже интересно...

Мисс Кэролайн улыбнулась, громко высморкалась, сказала: «Спасибо, мои милые, теперь садитесь по местам», раскрыла книгу и повергла весь первый класс в недоумение длиннейшим рассказом про жабу, которая почему-то жила в доме.

Когда мне в четвёртый раз за этот день пришлось миновать дом Рэдди (и уже второй раз — галопом), настроение у меня было самое мрачное, под стать этому дому. Если весь школьный год будет так же насыщен бурными переживаниями, как первый день, это, пожалуй, даже занятно, но если при этом целых девять месяцев нельзя будет ни читать, ни писать, так уж лучше я удеру.

Под вечер мой план был готов, когда мы побежали встречать Аттикуса, я даже не старалась перегнать Джима. Мы всегда встречали Аттикуса после работы и бежали к нему, как только он показывался из-за угла почты. Аттикус, видно, забыл, что днём я впала в немилость, и забросал меня вопросами про школу. Я отвечала нехотя, и он не стал настаивать.

Кэлпурния, видно, поняла, что у меня был тяжёлый день, и позволила мне смотреть, как она собирает к ужину.

— Закрой глаза и открой рот, — сказала она.

Она не часто баловала нас хрустящими хлебцами, вечно говорила — некогда, но сегодня мы оба ушли в школу, и у неё-то день был лёгкий. Она знала, как я люблю хрустящие хлебцы.

— Соскучилась я, — сказала она. — В доме стало так пусто, пришлось часа в два включить радио.

— А почему? Мы с Джимом всё равно дома не сидим, вот только если дождь...

— Ну да, — сказала Кэлпурния, — но если кликнуть, кто-нибудь да прибежит. Я полдня только и делаю, что вас кличу. Что ж, — прибавила она, поднимаясь с табурета, — пожалуй, я как раз успею подсушить хлебцы. А теперь беги, не мешай мне накрывать на стол.

Она наклонилась и поцеловала меня. Что это на неё нашло, — подумала я на бегу. Видно, сама знает, что виновата, и хочет мириться.

Всегда ко мне придиралась, а теперь поняла наконец, что это несправедливо, пожалела, а прямо сказать не хочет, потому что упрямая. За этот день я устала от незаслуженных обид.

После ужина Аттикус сел в кресло, взял газету и позвал:

— Будем читать, Глазастик?

Этого я уже не могла вытерпеть и ушла на веранду. Аттикус вышел следом.

— Что случилось, Глазастик?

Я сказала — мне нездоровится и, если он не против, я в школу больше не пойду.

Аттикус сел на качели, закинул ногу на ногу и сунул руку в кармашек для часов; он всегда уверял, что так ему лучше думается. Он молча, сочувственно ждал, и я решила укрепить свои позиции.

— Ты ведь не учился в школе — и ничего, ну и я не буду. Ты меня сам учи, вот как дедушка учил вас с дядей Джеком.

— Не могу, — сказал Аттикус. — Мне надо зарабатывать на хлеб. И потом, если ты не станешь ходить в школу, меня посадят в тюрьму. Так что прими сегодня магнезию, а завтра пойдёшь учиться.

— Да нет, я здорова.

— Так я и думал. А что же случилось?

Слово за слово я рассказала ему про все мои злоключения.

— ...и она говорит, ты меня учил неправильно, и нам никогда-никогда больше нельзя читать. Пожалуйста, больше не посылай меня в школу, ну пожалуйста!

Аттикус поднялся и пошёл в другой конец веранды. Он долго и старательно изучал там ветку глицинии, потом вернулся ко мне.

— Прежде попробуй выучиться одному нехитрому фокусу, Глазастик, — сказал он. — Тогда тебе куда легче будет ладить с самыми разными людьми. Нельзя по-настоящему понять человека, пока не станешь на его точку зрения...

— Это как?

— Надо влезть в его шкуру и походить в ней.

Ещё Аттикус сказал — я сегодня многому научилась, и мисс Кэролайн тоже кое-чему научилась. Например, не предлагать Канингемам подаяния; но если бы Уолтер и я влезли в её шкуру, мы бы поняли, что это она не в обиду, а по ошибке. Не может же она в один день привыкнуть ко всем мейкомбским обычаям, и не надо её винить, если она чего-то не знает.

— Провалиться мне! — сказала я. — Вот я не знала, что ей не нравится, когда читают, а она меня винила... Слушай, Аттикус, мне совсем

ни к чему ходить в школу! — вдруг догадалась я. — Я же тебе сказала про Барриса Юэла! Он приходит только в первый день. Инспекторша записывает его в список — и по закону всё в порядке...

— Это не годится, Глазастик, — сказал Аттикус. — Иногда, в особых случаях, закон можно обойти. В твоём случае закон неумолим. Так что придётся тебе ходить в школу.

— А почему Юэлу можно, а мне нельзя?

— Ну, слушай.

И Аттикус сказал — Юэлы всегда были позором для Мейкомба, уже целых три поколения. Сколько он помнит, ни один Юэл дня не жил честным трудом. Вот на рождество, когда будем прибираться после праздника, он возьмёт меня с собой и покажет, где и как они живут. Они живут не как люди, а как животные.

— Будь у них хоть на грош желания учиться, они всегда могли бы ходить в школу, — сказал Аттикус. — Можно, конечно, и силой их заставить, но это глупо — силой тащить таких людей, как Юэлы, туда, куда им не хочется...

— Так ведь если я завтра не пойду в школу, ты меня тоже силой потащишь.

— Довольно об этом, — сухо сказал Аттикус. — Ты такой же человек, как все, мисс Глазастик Финч. И веди себя, как положено по закону.

Он сказал — Юэлы не такие, как все, у них свои нравы. При некоторых обстоятельствах обыкновенные люди благоразумно предоставляют им кое-какие преимущества, попросту говоря — смотрят сквозь пальцы на некоторые их поступки. К примеру, позволяют Юэлам не ходить в школу. Или ещё — Бобу Юэлу, отцу Барриса, разрешают стрелять дичь и расставлять силки даже не в охотничий сезон.

— Но это очень плохо, Аттикус! — сказала я.

В округе Мейкомб охота в неположенное время преследуется по закону, и все жители тоже не прощают виновникам.

— Да, конечно, это незаконно, — сказал мой отец, — и что это плохо — тоже верно. Но когда человек всё пособие пропивает, его дети очень горько плачут от голода. Я не знаю у нас в округе такого землевладельца, который пожалел бы для этих детей зайца, даже если их отец и поймает его незаконно.

— А всё-таки мистер Юэл нехорошо делает...

— Конечно, нехорошо, но он никогда не исправится. Разве от этого ты станешь осуждать и его детей?

— Нет, сэр, — пробормотала я. Потом сделала последнюю попытку:

— Но если я буду ходить в школу, мы никогда больше не сможем читать...

— Это тебя сильно огорчает?

— Да, сэр.

Аттикус как-то по особенному поглядел на меня, и я насторожилась.

— Ты знаешь, что такое компромисс? — спросил он.

— Это когда обходят закон?

— Нет, когда уступают друг другу и таким образом приходят к соглашению. К примеру, если ты согласишься учиться в школе, мы с тобой будем каждый вечер читать, как прежде. Договорились?

— Да, сэр!

— Можно обойтись и без обычных формальностей, — сказал Аттикус, увидав, что я собираюсь плюнуть ему на ладонь.

Когда я уже отворила дверь, он сказал вдогонку:

— Кстати, Глазастик, в школе лучше не упоминай о нашем с тобой уговоре.

— А почему?

— Боюсь, что наша деятельность не встретит одобрения высших авторитетов.

— Это как?

Мы с Джимом давно привыкли, что отец говорит языком завещаний и кодексов, и, если не понимали какого-нибудь выражения, всегда имели право перебить его и спросить, что это значит по-человечески.

— Я никогда не ходил в школу, — сказал Аттикус, — но боюсь, если мисс Кэролайн услышит, что мы с тобой каждый вечер читаем, она напустится уже на меня, а этого мне совсем не хочется.

Весь этот вечер мы с Джимом хохотали до упаду, потому что Аттикус с невозмутимым видом читал нам длинный рассказ про человека, который неизвестно почему взобрался на флагшток и не хотел слезать, и после этого Джим решил всю субботу просидеть в нашем домике на платане. Он забрался туда после завтрака и не слезал до захода солнца, не слез бы и на ночь, но Аттикус перерезал коммуникации и прервал снабжение. Весь день я лазила на платан и бегала обратно в дом по поручениям Джима, таскала ему книжки, еду, питьё, а когда несла на ночь одеяло, Аттикус сказал — если не обращать на Джима внимания, он слезет. И Аттикус был прав.

В школе дела мои и дальше шли не лучше, чем в первый день. В благих, но напрасных стараниях обучить меня «групповому действию» штат Алабама извёл целые мили бумаги и вагоны карандашей, а грандиозный план никак не претворялся в жизнь. К концу моего первого учебного года то, что Джим называл «десятичной системой Дьюи», распространилось уже на всю школу, так что мне не пришлось сравнить её с другими методами преподавания. Но было и ещё с чем сравнивать: Аттикус и дядя Джек когда-то учились дома, а знали всё на свете — во всяком случае, чего не знал один, то знал другой. И ведь отца столько лет подряд выбирали в законодательное собрание штата и каждый раз единогласно, а он понятия не имел о хитроумных приёмах, без которых, как полагали мои учителя, нельзя воспитать хорошего гражданина. Джима учили наполовину по «десятичной системе», а наполовину по самой обыкновенной — просто заставляли ломать голову над трудными задачками, и он как будто неплохо действовал что в группе, что в одиночку; но по Джиму судить нельзя: ещё не родился на свете человек, который придумал бы, как удержать его от чтения. Ну, а я знала только то, что вычитала из журнала «Тайм» и из всякой печатной страницы, какая дома попадалась мне под руку, а в классе еле-еле тянула лямку, в которую нас впрягла новая педагогическая система, принятая округом Мейкомб, и всё время мне казалось, что меня обкрадывают. Как и почему, я не понимала, но всё-таки зачем это нужно, чтобы я двенадцать лет подряд помирала со скуки?

Весь этот год уроки у меня кончались на полчаса раньше, чем у Джима, — он учился до трёх часов, — и я одна мчалась во весь дух мимо дома Рэдли и останавливалась только на нашей веранде, где мне уже ничто не грозило. Но однажды я на бегу заметила нечто такое, что задохнулась от неожиданности, огляделась по сторонам и повернула назад.

На самом краю участка Рэдли росли два виргинских дуба; корни их выползали на дорогу, она была вся неровная, горбатая. И вдруг в стволе одного дуба что-то блеснуло.

Из ямки, откуда выпал сучок, мне подмигивал, сверкая на солнце, комочек серебряной фольги. Я поднялась на цыпочки, ещё раз торопливо оглянулась и вытащила два пакетика жевательной резинки без верхней бумажной обёртки.

Я чуть было не сунула их сразу в рот, да вспомнила, где я. Побежала домой и уже на веранде осмотрела мою добычу. По виду жвачка была совсем свежая. Понюхала — пахнет вкусно. Я лизнула жвачку и подождала немножко. Осталась жива — и сунула всю её в рот; это была «двойная мятная».

Пришёл из школы Джим и сразу спросил, что это я жую и где столько взяла. Я сказала — нашла.

— Что найдёшь, есть нельзя.

— Так ведь я не на земле нашла, а на дереве.

Джим недоверчиво хмыкнул.

— Нет, правда, — сказала я. — Вон на том дубе, который поближе к школе.

— Выплюнь сейчас же!

Я выплюнула. Всё равно в жвачке почти уже не осталось никакого вкуса.

— Я полдня её жую и ещё не умерла, меня даже не тошнит.

Джим топнул ногой.

— Ты что, не знаешь, что те деревья даже трогать нельзя? Помрёшь!

— Ты ведь тогда тронул стену!

— Это другое дело! Иди полощи горло сейчас же! Слышишь?

— Не хочу, тогда весь вкус во рту пройдёт.

— Не станешь полоскать — скажу Кэлпурнии.

Пришлось послушаться Джима — с Кэлпурнией связываться не хотелось. Почему-то с тех пор, как я пошла в школу, наши отношения совсем изменились: Кэлпурния уже не тиранила меня, не придиралась и не мешалась в мои дела, а только потихоньку на меня ворчала. А я иной раз шла на большие жертвы, лишь бы её не сердить.

Близилось лето; мы с Джимом никак не могли его дождаться. Это была наша любимая пора: летом ночуешь на раскладушке на задней веранде, затянутой сеткой от moskitov, или даже пробуешь спать в домике на платане; летом столько вкусного в саду, и всё вокруг под жарким солнцем горит тысячами ярких красок; а главное, лето — это Дилл.

В последний день учёнья нас отпустили из школы пораньше, и мы с Джимом шли домой вместе.

— Может, завтра приедет Дилл, — сказала я.

— Наверно, послезавтра, — сказал Джим. — У них в штате Миссисипи распускают на день позже.

Когда мы подошли к виргинским дубам на участке Рэдди, я показала пальцем, на то дупло от сучка, сто раз я говорила Джиму, может, он,

наконец, поверит, что тут-то я и нашла жевательную резинку, — и вдруг опять увидела блестящую серебрушку.

— Вижу! Глазастик! Вижу!...

Джим огляделся по сторонам, схватил аккуратный блестящий пакетик и сунул в карман. Мы побежали домой и на веранде стали разглядывать находку. В несколько слоёв фольги от жевательной резинки была старательно завернута маленькая коробочка. В таких бывают венчальные кольца — бархатная, красная, с крохотной защёлкой. Джим открыл её. Внутри, одна на другой, лежали две начищенные до блеска монетки, в пенни каждая. Джим оглядел их со всех сторон.

— Индейская голова, — сказал он. — Смотри, Глазастик, одна — тысяча девятьсот шестого года, а одна — тысяча девятисотого. Старинные!

— Тысяча девятисотого, — эхом повторила я. — Слушай, Джим...

— Погоди, дай подумать.

— Джим, по-твоему, это чей-нибудь тайник?

— Нет. Тут, кроме нас, никто и не ходит, только если кто-нибудь из больших...

— У больших тайников не бывает. Джим, ты думаешь, нам можно оставить их себе?

— Сам не знаю, Глазастик. Ведь неизвестно, кому их отдавать. Тут никто не ходит, я точно знаю... Сесил делает крюк через весь город.

Сесил Джейкобс жил в дальнем конце нашей улицы, в доме за почтой, и каждый день топал лишнюю милю, лишь бы не проходить мимо Рэдли и миссис Генри Лафайет Дюбоз. Миссис Дюбоз жила через два дома от нас; все соседи в нашем квартале сходились на том, что свет не знал другой такой мерзкой старухи. Джим ни за что не пошёл бы мимо её дома один, без Аттикуса.

— Как же нам быть, Джим?

Находку полагается хранить — вдруг отыщется хозяин, и только если не отыщется совсем, тогда она твоя. Сорвать иной раз камелию в саду мисс Моды Эткинсон, или в жаркий день глотнуть парного молока от её коровы, или полакомиться чужим виноградом у нас вовсе не считалось нечестным, но деньги — дело другое.

— Знаешь что, — сказал Джим, — мы их сохраним до осени и тогда спросим всех ребят. Наверно, это кто-нибудь из загородных спрятал, а сегодня спешил после школы на автобус — и позабыл про них. Хозяин у них есть, уж это точно. Видишь, как он их начистил? Он их бережёт.

— Ну ладно, а жвачку он зачем прятал? Она ведь долго лежать не может.

— Не знаю, Глазастик. А только эти монетки, наверно, кто-то не зря прятал, они со значением...

— Это как?

— Понимаешь, на них индейская голова... в общем они от индейцев. Они заколдованные, понимаешь, и приносят счастье. И не то что на обед вдруг будет жареная курица, а настоящее — чтоб долго жить, или, там, быть всегда здоровым, или не провалиться на контрольной — в общем вроде этого... и кому-то они очень нужны. Я их пока спрячу к себе в сундучок.

Но прежде чем пойти к себе, Джим ещё долго глядел на дом Рэдли. Видно, опять думал.

Через два дня приехал Дилл, гордый и торжествующий: он сам ехал поездом от Меридиана до станции Мейкомб (эта станция только так называется, а на самом деле она находится в округе Эббот), и там его встретила мисс Рейчел в единственном такси нашего города; и он обедал в вагоне-ресторане и видел двух сиамских близнецов, они сошли с поезда в Бэй Сент-Луис; как мы на него ни кричали, он клялся, что всё это чистая правда. Вместо ужасных голубых штанов, пристёгнутых пуговицами к рубашке, он теперь носил настоящие шорты и кожаный пояс; он совсем не вырос, но стал как-то плотнее; и он сказал, что видел своего отца. Его отец выше нашего, и у него остроконечная чёрная борода, и он президент железнодорожной компании Луисвил-Нэшвил.

— Я немножко помогал машинисту, — сказал Дилл и зевнул.

— Так тебе и поверили, — сказал Джим. — Молчи уж лучше. Во что будем играть?

— В Тома, Сэма и Дика, — сказал Дилл. — Идём в палисадник.

Дилл хотел играть в братьев Роувер, потому что там все три роли благородные. Ему явно надоело играть в наших представлениях характерные роли.

— Они мне надоели, — сказала я.

Мне надоела роль Тома Роувера, он посреди кино вдруг теряет память, и больше про него ничего не сказано, только в самом конце его находят где-то на Аляске.

— Придумай что-нибудь новое, Джим, — сказала я.

— Надоело мне придумывать.

Каникулы только начались, а нам уже всё надоело. Что же это у нас будет за лето?

Мы поплелись в палисадник, Дилл выглянул на улицу и уставился на мрачный дом Рэдли.

— Я... чую... смерть, — сказал он.

Я прикрикнула на него, но он стоял на своём:

— Правда, чую.

— Это как? Кто-то умирает, а ты его можешь издали унюхать?

— Нет, не так: я понюхаю — и знаю, умрёт этот человек или нет. Меня одна старушка научила. — Дилл вытянул шею и понюхал меня. — Джин... Луиза... Финч, — сказал он с расстановкой, — ты умрёшь через три дня.

— Замолчи, а то я тебя так отлуплю, век будешь помнить. Вот как дам...

— Хватит тебе, — заворчал Джим. — Можно подумать, что ты веришь в жар-пар.

— А то, может, ты не веришь, — сказала я.

— Что это за жар-пар? — спросил Дилл.

— Знаешь, как бывает: идёшь вечером по дороге, кругом никого нет, и вдруг попадаешь в жаркое место, — стал объяснять Джим. — Жар-пар — это если человек умер, а на небо ему не попасть, он и шатается по пустым дорогам, где никого нет, и, если на него налетишь, после смерти сам будешь такой, будешь шататься по ночам и высасывать дух из живых людей...

— А как же его обойти?

— Никак не обойдёшь, — сказал Джим. — Иногда он возьмёт да и загородит всю дорогу. Но если непременно надо пройти, ты только скажи: «Жив, не помер, свет души, пропусти, не задуши». Тогда он не обернётся вокруг тебя и...

— Не верь ему, Дилл, — сказала я. — Кэлпурния говорит, это всё просто негритянские сказки.

Джим грозно посмотрел на меня, но сказал только:

— Так что ж, будем мы сегодня играть или нет?

— Давайте кататься в колесе, — предложила я.

Джим вздохнул.

— Ты же знаешь, мне в него уже не влезть.

— Будешь толкать.

Я сбегала за дом, вытащила из-под заднего крыльца старую автопокрышку и прикатила в палисадник.

— Чур, я первая, — сказала я.

Дилл сказал — лучше он будет первый, ведь он только приехал.

Джим рассудил нас: я буду первая, а Дилл покатается подольше, и я свернулась клубком внутри покрышки.

До последней минуты я не догадывалась, что Джим разозлился, как

это я заспорила с ним про жар-пар, и только и ждал случая мне отплатить. Он толкнул колесо изо всей силы, и оно понеслось по тротуару. Земля, небо, дома в бешеном круговороте слились у меня перед глазами, в ушах шумело, я задыхалась. Высвободить руки и затормозить я не могла, они у меня были прижаты коленками к груди. Оставалась одна надежда — может, Джим обгонит меня или колесо зайдёт о какой-нибудь выступ на тротуаре. Я слышала — Джим с криком мчится вдогонку.

Колесо наскочило на кучу щебня, свернуло вбок, перекатилось через дорогу, с размаху стукнулось обо что-то, и я вылетела на мостовую, как пробка из бутылки. Меня тошнило, голова кружилась; лёжа на асфальте, я затрясла головой, хлопнула ладонями по ушам, чтоб всё стихло и стало на место, и услышала крик Джима:

— Беги, Глазастик! Скорей!

Я подняла голову — передо мной было крыльцо Рэдди. Я так и застыла.

— Вставай скорей! — вопил Джим. — Чего ты там застряла?

Уж не знаю, как я встала, ноги подкашивались.

— Захвати колесо! — орал Джим. — Тащи его сюда. Ошалела ты, что ли?

Наконец я вышла из оцепенения и побежала к ним, хоть у меня и дрожали коленки.

— А колесо?! — закричал Джим.

— Сам бери! — крикнула я в ответ.

Джим сразу замолчал.

— Поди да возьми, оно прямо за воротами. В тот раз ты даже стену тронул, помнишь?

Джим с яростью посмотрел на меня, но вывернуться не мог, побежал по тротуару, замешкался в воротах, потом ринулся во двор и вернулся с колесом.

— Видала? — Он смотрел презрительно и торжествующе. — Раз-два — и готово. Ей-богу, Глазастик, ты иногда ведёшь себя, как самая настоящая девчонка, даже противно.

Он кое-чего не знал, но я решила — не скажу.

В дверях появилась Кэлпурния и закричала:

— Лимонад пить! Идите скорей в тень, пока не изжарились живьём!

Летом так было заведено: когда солнце поднимется высоко — пить лимонад. Кэлпурния вынесла на веранду кувшин и три стакана и пошла заниматься своими делами. Я не особенно огорчалась, что Джим на меня злится. Выпьет лимонаду — и подobreет.

Джим проглотил залпом второй стакан и хлопнул себя по животу.

— Придумал! — объявил он. — Играем в новую игру, такой ещё не бывало!

— Во что? — спросил Дилл.

— В Страшилу Рэдли.

Иногда я видела Джима насквозь: он придумал это, чтоб доказать мне, что он никаких Рэдли не боится, он храбрый герой, а я трусиха.

— В Страшилу Рэдли? Это как? — спросил Дилл.

Джим сказал:

— Глазастик будет миссис Рэдли...

— Это мы ещё посмотрим, — начала я. — Во-первых...

— Ты чего? — сказал Дилл. — До сих пор боишься?

— А может, он выйдет ночью, когда мы все спим... — сказала я.

Джим присвистнул.

— Откуда ему знать, во что мы играем? И вообще его там, наверно, уже нет. Он умер сто лет назад, и они его запихали в каминную трубу.

— Давай с тобой играть, а Глазастик, если боится, пускай смотрит, — сказал Джиму Дилл.

Я прекрасно знала, что Страшила Рэдли сидит у себя дома, но доказать не могла, приходилось держать язык за зубами, а то опять скажут, я верю в жар-пар, а я среди бела дня про него и не думаю.

Джим распределил роли: я — миссис Рэдли, моё дело выходить и подметать крыльцо. Дилл — старик Рэдли, он ходит взад-вперёд по тротуару, а когда Джим с ним заговорит, он в ответ только кашляет. Джим, конечно, сам Страшила: он прячется под парадным крыльцом и время от времени визжит и воет.

Лето шло своим чередом, и наша игра тоже. Мы её отделявали и шлифовали, придумывали всё новые диалоги и сюжетные повороты и, наконец, сочинили настоящую пьеску, которую разыгрывали каждый день на новый лад.

Дилл получался злодеем из злодеев: он всегда вживался в любую характерную роль и в решающие минуты, если надо, даже становился выше ростом. Он не уступал самым худшим своим героям, а это были отпетые разбойники и варвары. Я без особой охоты исполняла все женские роли. На мой взгляд, это представление было куда скучнее Тарзана, и всё лето меня не оставляла тревога, хоть Джим и уверял, что Страшила Рэдли давно умер и ничего со мной не случится, ведь целый день и он и Кэлпурния под боком, а ночью и Аттикус дома.

Джим родился героем.

Обрывки сплетен и слухов, издавна повторявшихся в нашем квартале, мы связали в настоящую драму: миссис Рэдли когда-то была красавицей, но потом вышла замуж за мистера Рэдли и потеряла все свои деньги. Она потеряла также почти все зубы, волосы и указательный палец правой руки (это присочинил Дилл: однажды ночью, когда Страшиле не удалось поймать на обед ни одной белки и кошки, он отгрыз у матери палец); целыми днями она сидит в гостиной и плачет, а Страшила строгаёт ножом столы и стулья, и когда-нибудь в доме совсем не останется мебели, одни только стружки.

Потом мы все трое изображали мальчишек, попавшихся в хулиганстве; я для разнообразия играла роль судьи; Дилл уводил Джима, заталкивал его под крыльцо и тыкал в него шваброй. По ходу дела Джим вновь появлялся уже в роли шерифа, толпы горожан или мисс Стивени Кроуфорд, которая могла порассказать про семейство Рэдли больше всех в Мейкомбе.

Когда наступал черёд коронного номера Страшилы, Джим прокрадывался в дом, улучив минуту, тайком от Кэлпурнии хватал из ящика швейной машины ножницы, возвращался на веранду, садился на качели и начинал резать газету. Дилл шёл мимо и кашлял в сторону Джима, и Джим делал вид, что вонзает ножницы ему в бедро. С того места, где стояла я, всё это вполне можно было принять за чистую монету.

Каждый день, когда мистер Натан Рэдли проходил мимо, направляясь по обыкновению в центр города, мы замолкали на полуслове и не двигались, пока он не скрывался из виду. Что бы он с нами сделал, если б заподозрил?... Стоило появиться любому из соседей, и мы прерывали игру, но один раз я увидела — стоит напротив мисс Моды Эткинсон с садовыми ножницами в руках и, позабыв про недостриженную живую изгородь, смотрит на нас во все глаза.

Однажды мы уж очень увлеклись, разыгрывая главу двадцать пятую тома второго нашего романа «Одно семейство», и не заметили, как вернулся к завтраку Аттикус — он стоял на тротуаре, похлопывал себя по колену свёрнутым в трубку журналом и смотрел на нас. Солнце поднялось высоко, был уже полдень.

— Что это у вас за игра? — спросил Аттикус.

— Ничего, — сказал Джим.

По его уклончивому ответу я догадалась, что наша игра — секрет, и не стала вмешиваться.

— А для чего тебе ножницы? И почему ты рвёшь газету? Если это сегодняшняя, я тебя выдеру.

— Ничего.

— Что «ничего»?

— Ничего, сэр.

— Дай сюда ножницы, — сказал Аттикус. — Это не игрушка. Всё это, случаем, не имеет отношения к Рэдли?

— Нет, сэр, — сказал Джим и покраснел.

— Надеюсь, что так, — коротко сказал Аттикус и ушёл в дом.

— Джи-им...

— Молчи! Он пошёл в гостиную, там всё слышно.

Когда мы очутились в безопасности на задворках, Дилл спросил Джима — разве нам больше нельзя играть в Страшилу?

— Не знаю, Аттикус не сказал, что нельзя...

— Джим, — сказала я, — по-моему, Аттикус всё равно всё знает.

— Нет, не знает. А то бы он так и сказал.

Я вовсе не была в этом уверена, но Джим сказал — вся беда в том, что я девчонка, девчонки вечно воображают невесть что, поэтому их все терпеть не могут, и, если хочешь быть настоящей девчонкой, можешь убираться и играть с кем-нибудь другим.

— Ладно, — сказала я. — Можешь играть в Страшилу. Увидишь, что будет.

Что нас застал Аттикус — это была уже вторая причина, почему мне расхотелось играть. Первая появилась в тот день, когда я вкатилась в колесе во двор к Рэдли. Я трясла головой, меня мучило, от воплей Джима звенело в ушах, и всё-таки я расслышала тогда ещё один звук, совсем тихий, с тротуара его слышно не было. В доме кто-то смеялся.

Я так и знала, что дойму Джима, в конце концов ему это надоело, и, к моему великому облегчению, мы забросили игру в Страшиллу. Правда, Джим уверял, что Аттикус вовсе её не запрещал, стало быть, можно продолжать; а если бы Аттикус и запретил, есть выход: возьмём и назовём всех по-другому, и тогда нам никто ничего не сможет сказать.

Дилл очень обрадовался такому плану действий. Вообще Дилл чересчур воображал, как будто мало было одного Джима. Ещё в начале лета он сказал — выходи за меня замуж, но очень скоро про это забыл. Как будто участок застолбил, и я его собственность — сказал, что всю жизнь будет любить одну меня, а потом и внимания не обращает. Я его два раза поколотила, но это не помогло, он только больше подружился с Джимом. Они с утра до вечера торчали в домике на платане, что-то затевали и выдумывали и звали меня, только когда им нужен был третий. Но от самых сумасбродных затей я и без того на время отошла, хоть меня и могли за это обозвать девчонкой, и почти все оставшиеся летние вечера просиживала на крыльце мисс Моды Эткинсон. Нам с Джимом всегда позволяли бегать по двору мисс Моды при одном условии — держаться подальше от её азалий, но отношения у нас с ней были какие-то неопределённые. Пока Джим с Диллом не начали меня сторониться, она для меня была просто соседка и соседка, только, пожалуй, добрее других.

По молчаливому уговору с мисс Моды мы имели право играть у неё на лужайке, есть виноград (только не обрывать ветки с подпор) и пускаться в экспедиции по всему участку за домом — условия самые великодушные, и мы даже редко с нею заговаривали, боялись нечаянно нарушить хрупкое равновесие этих отношений; но Джим и Дилл повели себя так, что я поневоле сблизилась с мисс Моды.

Мисс Моды терпеть не могла свой дом: время, проведённое в четырёх стенах, она считала загубленным. Она была вдова и при этом женщина-хамелеон: когда копалась в саду, надевала старую соломенную шляпу и мужской комбинезон, а в пять часов вечера, после ванны, усаживалась на веранде, точно королева нашей улицы, — нарядная, красивая и величественная. Она любила всё, что растёт на земле, даже сорную траву. Но было одно исключение. Стоило ей обнаружить у себя во дворе хоть один подорожник, и начиналась новая битва на Марне: мисс Моды устремлялась на врага с жестянкой и поливала его корни какой-то ядовитой

жидкостью — мы непременно отравимся насмерть, если не будем держаться подальше, — говорила она.

— А разве нельзя его просто выдернуть? — спросила я один раз, когда у меня на глазах разыгралось целое сражение с жалким росточком дюйма в три.

— Выдернуть, детка? Ты говоришь, выдернуть? — Мисс Моды подняла обмякший побег и провела по нему большим пальцем снизу вверх. Из него посыпались крохотные зёрнышки. — Да один такой побег может загубить целый огород. Смотри. Осенью семена подсохнут, и ветер разнесёт их по всей округе!

Лицо у мисс Моды стало такое, словно речь шла по меньшей мере о чуме египетской.

Не в пример прочим жителям Мейкомба, мисс Моды всегда говорила живо и решительно. Каждого из нас она называла полным именем; когда она улыбалась, во рту у неё возле глазных зубов сверкали два крохотных золотых выступа. Один раз я стала восхищаться ими и сказала — может, когда вырасту, у меня тоже будут такие.

— Смотри! — сказала мисс Моды и, щёлкнув языком, показала мне, как вынимается её вставная челюсть, чем окончательно скрепила нашу дружбу.

Доброта мисс Моды распространялась и на Джима и Дилла в редкие минуты, когда они не были заняты своими таинственными делами; мы пожинали плоды талантов мисс Моды, прежде нам неизвестных. Никто во всём нашем квартале не умел печь такие вкусные пироги. С тех пор как между нами установились отношения полного доверия, она всякий раз, кроме большого пирога, пекла ещё три маленьких и потом кричала через улицу:

— Джим Финч, Глазастик Финч, Чарлз Бейкер Харрис, подите сюда!

Мы тотчас являлись на зов и всегда бывали вознаграждены.

Летом сумерки длинные и тихие. Чаще всего мы с мисс Моды молча сидели вдвоём у неё на крыльце и смотрели, как заходит солнце и небо становится жёлтое, потом розовое, и ласточки летают совсем низко и скрываются за крышей школы.

— Мисс Моды, — сказала я раз в такой вечер, — как вы думаете, Страшила Рэдди ещё жив?

— Его зовут Артур, и он жив, — сказала мисс Моды, медленно покачиваясь в большом дубовом кресле-качалке. — Чувствуешь, как сегодня пахнет моя мимоза? Прямо как в раю.

— Угу. А откуда вы знаете?

— Что именно, детка?

— Что Стр... мистер Артур ещё жив?

— Какой мрачный вопрос! Впрочем, это, наверно, потому, что предмет мрачный. Я знаю, что он жив, Джин Луиза, потому что я пока не видела, чтобы его вынесли из его дома.

— А может, он умер и его запихнули в каминную трубу.

— С чего ты взяла?

— Джим говорил.

— Гм-гм... Он с каждым днём становится всё больше похож на Джека Финча.

Нашего дядю Джека Финча, брата Аттикуса, мисс Моды знала с детства. Почти ровесники, они вместе росли на «Пристани Финча». Отец мисс Моды, доктор Фрэнк Бьюфорд, был давний сосед Финчей. По профессии врач, по призванию садовод и огородник, он без памяти любил копать в земле и потому остался бедняком. А дядя Джек этой своей страсти воли не давал, цветы растил только на подоконнике у себя в Нэшвиле и потому остался богатым. Каждый год на рождество дядя Джек приезжал к нам в гости и каждый год во всё горло орал через улицу мисс Моды, чтобы она выходила за него замуж. А мисс Моды орала в ответ:

— Кричи громче, Джек Финч, чтоб на почте слышали, а то мне тебя не слышать!

Нам с Джимом казалось, что это странный способ делать предложение, но дядя Джек вообще был со странностями. Он говорил — это он старается разозлить мисс Моды, сорок лет старается и всё никак не разозлит, и мисс Моды нипочём бы за него не вышла, она только всегда его дразнит, и от её насмешек одна защита — нападать, и всё это нам казалось ясно и понятно.

— Артур Рэдли просто сидит у себя дома, только и всего, — объяснила мне мисс Моды. — Если бы тебе не хотелось выходить на улицу, ты тоже сидела бы дома, верно?

— Ага, но мне всё равно захотелось бы на улицу. А ему почему не хочется?

Мисс Моды прищурилась.

— Ты всю эту историю знаешь не хуже меня.

— Но я всё равно не знаю, почему так. Мне никто не говорил.

Мисс Моды языком поправила вставную челюсть.

— Ты ведь знаешь, старик Рэдли был из баптистов, которые омывают ноги...

— Так ведь вы тоже из них?

— Я не такая твердокаменная, Глазастик. Я просто баптистка.

— А просто баптисты не моют ноги?

— Моют. У себя дома в ванне.

— А молитесь вы не так, как мы...

Наверно, мисс Моды решила, что проще объяснить приметы баптизма, чем символ веры.

— Баптисты, которые омывают ноги, всякое удовольствие считают за грех, — объяснила она. — Знаешь, один раз в субботу приехали они из лесу в город и давай кричать мне через забор, что я со своими цветами пойду прямо в ад.

— И цветы пойдут в ад?

— Да, мэм. Цветы будут гореть вместе со мной. Эти ногомойщики полагают, что я слишком много времени провожу под божьим небом и слишком мало сижу в четырёх стенах над словом божьим.

Я вдруг увидела, как мисс Моды жарится в аду (а он у каждого протестанта свой), и сразу засомневалась, правду ли говорят в проповедях. Конечно, язык у мисс Моды злой, и она не так усердно занимается добрыми делами, как мисс Стивени Кроуфорд. Но только круглый дурак может доверять мисс Стивени, а мисс Моды человек надёжный, это мы с Джимом знаем наверняка. Она никогда на нас не ябедничает, не лицемерит с нами, не суёт нос в наши дела. Она нам друг. Понять невозможно, почему такой разумный человек может быть осуждён на вечные муки!

— Это несправедливо, мисс Моды. Вы самая хорошая женщина на свете.

Мисс Моды широко улыбнулась.

— Благодарю вас, мэм, — сказала она. — Дело в том, что ногомойщики всякую женщину считают сосудом греха. Они, видишь ли, понимают библию слишком буквально.

— И мистер Артур для того сидит дома, чтоб не видеть женщин?

— Понятия не имею.

— По-моему, это очень глупо. Если уж мистеру Артуру так хочется в рай, он бы хоть на крыльцо выходил. Аттикус говорит, бог велит любить людей, как себя...

Мисс Моды перестала раскачиваться в качалке.

— Ты ещё слишком мала и не поймёшь, — сказала она сурово, — но бывают люди, в руках у которых библия опаснее, чем... чем бутылка виски в руках твоего отца.

— Аттикус не пьёт виски! — возмутилась я. — Он сроду капли в рот не брал... Ой, нет! Он сказал, что один раз попробовал виски и ему не

понравилось.

Мисс Моды рассмеялась.

— Я не то хотела сказать. Я говорю: если бы Аттикус Финч даже напился пьяным, он всё равно не будет таким злым и грубым, как иные люди в самом лучшем своём виде. Просто есть такие люди, они... они чересчур много думают о том свете и потому никак не научатся жить на этом. Погляди на нашу улицу и увидишь, что из этого получается.

— По-вашему, это правда — всё, что говорят про Стра... про мистера Артура?

— Что именно?

Я рассказала.

— Это на три четверти негритянские сказки, а на четверть выдумки мисс Кроуфорд, — хмуро сказала мисс Моды. — Стивени Кроуфорд однажды даже рассказала мне, будто проснулась она среди ночи, а он смотрит на неё в окно. А я спросила: что же ты сделала, Стивени, подвинулась и дала ему место? Тогда она на время прикусила язык.

Ещё бы не прикусить! Мисс Моды кого угодно заставит замолчать.

— Нет, деточка, это дом печали, — продолжала она. — Артура Рэдди я помню мальчиком. Что бы про него ни говорили, а со мною он всегда был вежлив. Так вежлив, как только умел.

— Вы думаете, он сумасшедший?

Мисс Моды покачала головой.

— Может, и нет, а должен бы за это время сойти с ума. Мы ведь не знаем толком, что делается с людьми. Что делается в чужом доме за закрытыми дверями, какие тайны...

— Аттикус со мной и с Джимом всегда одинаково обращается что дома, что во дворе!

Я чувствовала, мой долг — вступить за отца.

— О господи, девочка, да разве я о твоём отце! Я просто старалась объяснить, что к чему. Но уж раз о нём зашла речь, я тебе вот что скажу: Аттикус Финч всегда один и тот же, что у себя дома, что на улице... Я пекла торт, хочешь взять кусок с собой?

Я очень даже хотела.

Назавтра я проснулась и увидела Джима с Диллом на задворках, они о чём-то оживлённо разговаривали. Я вышла к ним, а они опять своё — иди отсюда.

— Не пойду. Двор не твой, Джим Финч, двор и мой тоже. Я тоже имею право тут играть.

Дилл с Джимом наскоро посоветались.

— Если останешься, будешь делать всё, как мы велим, — предупредил меня Дилл.

— Ты чего задаёшься? Какой командир нашёлся!

— Поклянись, что будешь делать, как велим, а то мы тебе ничего не скажем, — продолжал Дилл.

— Больно ты стал важный! Ладно уж, рассказывайте.

— Мы хотим передать Страшиле записку, — глазом не моргнув, заявил Джим.

— Это как же?

Я старалась подавить невольный ужас. Мисс Моды хорошо говорить, она старая, и ей уютно сидеть у себя на крылечке. А мы — дело другое.

Джим собирался насадить записку на удочку и сунуть сквозь ставни в окно Рэдди. Если кто-нибудь пойдёт по улице, Дилл зазвонит в колокольчик.

Дилл поднял руку — в ладони у него был зажат серебряный обеденный колокольчик моей матери.

— Я подойду с той стороны, — говорил Джим. — Мы вчера с улицы видели, там один ставень болтается. Я хоть на подоконник записку положу.

— Джим...

— Нет уж, мисс Придира, сама ввязалась, так нечего теперь на попятный!

— Да ладно, только я не хочу сторожить... Джим, знаешь, в тот раз кто-то...

— Нет, будешь сторожить. Ты обойдёшь дом с тылу, а Дилл будет смотреть за улицей, если кто пойдёт, он зазвонит. Поняла?

— Ладно уж. А что вы ему написали?

Дилл сказал:

— Мы его просим очень вежливо, пускай он иногда выходит из дому и рассказывает нам, что он там делает, и пускай он нас не боится, мы ему купим мороженого.

— Вы просто спятили, он всех нас убьёт!

Дилл сказал:

— Это я придумал. По-моему, если он выйдет и посидит с нами немножко, ему станет веселее.

— А почём ты знаешь, что ему дома скучно?

— Попробовала бы ты сидеть сто лет взаперти и питаться одними кошками! Спорим, у него борода выросла вот до этих пор.

— Как у твоего папы?

— У моего папы нет бороды, он... — Дилл запнулся, словно

припоминая.

— Ага, попался! — сказала я. — Раньше ты говорил — у твоего папы чёрная борода...

— А он её летом сбрил, если хочешь знать! Могу показать тебе письмо. И ещё он мне прислал два доллара...

— Ну да, рассказывай! Может, он тебе ещё прислал кавалерийский мундир и саблю? Врунишка ты и больше никто!

Отродясь я не слыхала, чтоб кто-нибудь так врал, как Дилл Харрис. Среди всего прочего он семнадцать раз летал на почтовом самолёте, и побывал в Новой Шотландии, и видел живого слона, и его дедушка был сам бригадный генерал Джо Уилер, и он оставил Диллу в наследство свою шпагу.

— Молчите вы, — сказал Джим. Он слазил под крыльцо и вытащил жёлтое бамбуковое удилице. — Пожалуй, этим я достану с тротуара до окна.

— Если кто такой храбрый, что может пойти и дотронуться до стены, так и удочка ни к чему, — сказала я. — Пошёл бы да постучал в парадное, только и всего.

— Это... другое... дело... — раздельно сказал Джим. — Сколько раз тебе повторять?

Дилл достал из кармана листок бумаги и подал Джиму. И мы осторожно двинулись к дому Рэдли. Дилл остановился у фонаря, а мы с Джимом завернули за угол. Я прошла вперёд и заглянула за следующий угол.

— Всё спокойно, — сказала я. — Никого не видеть.

Джим обернулся к Диллу, тот кивнул.

Джим привязал записку к удилицу и протянул его через палисадник к окну. Он тянулся изо всех сил, но удилице оказалось коротковато, не хватало нескольких дюймов. Он всё тыкал удилицем в сторону окна, наконец мне надоело смотреть издали, и я подошла к нему.

— Никак не закину записку, — пробормотал Джим. — В окно-то попадаю, а она там не отцепляется. Иди на улицу, Глазастик.

Я вернулась на свой пост и стала глядеть за угол на пустынную дорогу. Время от времени я оглядывалась на Джима, он терпеливо старался закинуть записку на подоконник. Она слетала наземь, и Джим снова тыкал удилицем в окно, и под конец я подумала, если Страшила Рэдли её и получит, так прочитать не сможет. Я опять поглядела вдоль улицы, и вдруг зазвонил колокольчик.

Я круто обернулась — вот сейчас на меня кинется Страшила Рэдли с

оскаленными клыками... но это был не Страшила, а Дилл, он тряс колокольчиком перед самым носом Аттикуса. У Джима сделалось такое лицо, прямо смотреть жалко, и я уж ему не сказала «Говорила я тебе...» Нога за ногу он поплёлся по тротуару, волоча за собой удилице.

— Перестань звонить, — сказал Аттикус.

Дилл зажал язычок колокольчика, стало тихо-тихо, я даже подумала, лучше бы он опять зазвонил. Аттикус сдвинул шляпу на затылок и подбоченился.

— Джим, — сказал он, — ты что здесь делаешь?

— Ничего, сэр.

— Не виляй. Говори.

— Я... мы только хотели кое-что передать мистеру Рэдли.

— Что передать?

— Письмо.

— Покажи.

Джим протянул ему грязный клочок бумаги. Аттикус с трудом стал разбирать написанное.

— Зачем вам, чтобы мистер Рэдли вышел из дому?

— Мы думали, ему с нами будет весело... — начал Дилл, но Аттикус только взглянул на него, и он прикусил язык.

— Сын, — сказал Аттикус Джиму, — слушай, что я тебе скажу, повторять я не намерен: перестань мучить этого человека. И вы оба тоже.

Как живёт мистер Рэдли — его дело, сказал Аттикус. Захочет он выйти на улицу — выйдет. Хочет сидеть дома — имеет на это право, и нечего всяким надоедам (а это ещё очень мягкое название для таких, как мы) совать нос в его дела. Кому из нас понравится, если вечером перед сном Аттикус без стука вломится к нам в комнату? А ведь, в сущности, так мы поступаем с мистером Рэдли. Нам кажется, что мистер Рэдли ведёт себя странно, а ему самому это вовсе не кажется странным. Далее, не приходило ли нам в голову, что, когда хочешь что-нибудь сказать человеку, вежливее постучать в парадную дверь, а не лезть в окно? И последнее: пока нас не пригласят в дом Рэдли, мы будем держаться от него подальше и не будем играть в дурацкую игру, за которой Аттикус однажды нас застал, и поднимать на смех кого бы то ни было на нашей улице и вообще в нашем городе...

— Во все мы его не поднимали на смех, — сказал Джим. — Мы просто...

— Ах, значит, этим вы и занимались?

— Чем? Поднимали на смех?

— Нет, — сказал Аттикус. — Просто разыгрывали историю его жизни на глазах у всех соседей.

Джим, кажется, даже возмутился.

— Не говорил я, что мы разыгрываем его жизнь! Не говорил!

Аттикус коротко усмехнулся:

— Вот сейчас и сказал. И чтоб больше вы все трое этими глупостями не занимались.

Джим посмотрел на отца, разинув рот.

— Ты ведь, кажется, хочешь быть юристом? — Аттикус как-то подозрительно поджал губы, словно они у него расплывались.

Джим решил, что выкручиваться бесполезно, и промолчал. Аттикус ушёл в дом за какими-то бумагами, которые он с утра забыл захватить с собой, и тогда только Джим сообразил, что попался на старую-престарую юридическую уловку. Он стоял на почтительном расстоянии от крыльца и дожидался, чтобы Аттикус вышел из дому и опять направился в город. И когда Аттикус отошёл так далеко, что уже не мог услышать, Джим заорал ему вслед:

— Хотел быть юристом, а теперь ещё подумаю!

— Хорошо, — сказал Аттикус, когда Джим спросил, можно ли нам посидеть с Диллом у пруда мисс Рейчел, ведь завтра Дилл уезжает. — Попрощайся с ним за меня, на будущий год летом мы его ждём.

Мы перепрыгнули через низенькую ограду между нашей подъездной дорожкой и двором мисс Рейчел. Джим крикнул перепелом, из темноты отозвался Дилл.

— До чего тихо, ни ветерка, — сказал Джим. — Смотрите.

Он показал на восток. За садом мисс Моды вставала большущая луна.

— Даже вроде от неё жарко, — сказал Джим.

— Что на ней сегодня, крест? — спросил Дилл, не поднимая головы. Он мастерил из бечёвки и обрывка газеты папиросу.

— Нет, просто женщина. Не зажигай эту штуку, Дилл, будет вонь на весь город.

Когда в Мейкомбе смотришь на луну, видно, что там женщина. Она сидит перед зеркалом и расчёсывает волосы.

— Без тебя нам будет скучно, — сказала я Диллу. — Может, пойдём караулить мистера Эйвери?

Мистер Эйвери снимал комнату напротив миссис Генри Лафайет Дюбоз. По воскресеньям он с блюдом в руках собирал в церкви пожертвования; кроме этого, он каждый вечер до девяти часов сидел на крыльце и чихал. Однажды вечером нам посчастливилось увидеть одно представление — наверно, оно было единственное, сколько мы потом ни караулили, оно не повторилось. Мы спускались с крыльца мисс Рейчел, как вдруг Дилл остановил нас:

— Ух, поглядите!

И показал через улицу. Сперва мы только и увидели заросшую глицинией веранду, а потом оказалось — из листвы бьёт струя, описывает дугу и, наверно, за добрых десять футов оттуда падает на землю, в круг жёлтого света от уличного фонаря. Джим сказал — мистер Эйвери не попадает в яблочко, Дилл сказал — он, наверно, выпивает по бочке в день, они заспорили, кто попадёт дальше и ловчее, а я в этом состязании не участвовала, потому что не отличалась талантами в этой области, и опять почувствовала себя отверженной.

Дилл потянулся, зевнул и сказал что-то чересчур небрежно:

— Придумал. Пошли гулять.

Так я ему и поверила! В Мейкомбе никто не ходит гулять просто так, без цели.

— А куда, Дилл?

Дилл мотнул головой в южном направлении.

— Ладно, — сказал Джим.

Я запротестовала было, но он сказал самым сладким голоском:

— А ты с нами не ходи, ангелочек, тебя никто не просит.

— И тебя не просят. Забыл, как...

Но Джим не любил вспоминать прежние неудачи: из всего, что сказал тогда Аттикус, он, видно, только и усвоил, как ловко юристы умеют докапываться до сути.

— А мы ничего такого и не делаем, Глазастик, мы только дойдём до фонаря и обратно.

Мы молча брели по тротуару и прислушивались к скрипу качелей на соседских верандах, к тихим по-вечернему голосам взрослых на улице. Время от времени до нас доносился смех мисс Стивени Кроуфорд.

— Ну? — сказал Дилл.

— Ладно, — сказал Джим. — Шла бы ты домой, Глазастик.

— А вы что будете делать?

Они только собирались заглянуть в окно с оторванным ставнем — вдруг увидят Страшилу Рэдли? — а я, если не хочу идти с ними, могу сейчас же отправляться домой и держать свой длинный язык за зубами, вот и всё.

— А почему это вам взбрело дожидаться нынешнего вечера?

Потому что вечером их никто не увидит, потому что Аттикус в это время по уши уйдёт в книжку, и если настанет конец света, он и то не заметит, и если Страшила Рэдли их убьёт, так у них пропадут не каникулы, а ученье, и потому что в тёмном доме легче что-нибудь разглядеть тёмным вечером, а не среди бела дня, понятно мне это?

— Джим, ну, пожалуйста...

— В последний раз тебе говорю, Глазастик, не трепи языком или убирайся домой. Ей-богу, ты становишься самой настоящей девчонкой!

После этого у меня уже не оставалось выбора, и я пошла с ними. Мы решили подлезть под проволочную изгородь на задворках Рэдли, там не так опасно, что нас увидят. За изгородью с той стороны был большой сад и узкий деревянный сарайчик.

Джим приподнял нижнюю проволоку и махнул Диллу: пролезай. Я полезла следом и подержала проволоку, пока пролезал Джим. Он еле протиснулся.

— Только без шума, — прошептал он. — Да смотрите не наткнитесь на капусту, а то будет такой треск — мертвецы проснутся.

После таких наставлений я ползла, как черепаха. Потом увидела при свете луны, что Джим уже далеко и машет нам, и двинулась быстрее. Мы доползли до калитки, ведущей из сада в огород. Джим тронул её. Калитка заскрипела.

— Плюньте на неё, — зашептал Дилл.

— Завёл ты нас, Джим, — пробормотала я. — Как мы потом выберемся?

— Тс-с... Плюй на петли, Глазастик.

Мы плевали, пока не пересохло во рту, потом Джим осторожно отворил калитку. Мы были на задворках.

С тыла дом Рэдди выглядел ещё неприветливей, чем с фасада: во всю стену тянулась ветхая, полуразвалившаяся веранда, на неё выходили две двери, между ними два тёмных окна. С одного края крышу веранды подпирали не столб, а неотёсанное бревно. В углу стояла приземистая печурка; над нею висела вешалка для шляп, призрачно поблёскивало зеркало, и в нём отражался лунный свет.

Джим тихо охнул и замер на одной ноге, не решаясь ступить второй.

— Чего ты?

— Куры... — шепнул он еле слышно.

Да, со всех сторон нас ждали невидимые препятствия. Дилл впереди тоже на что-то наткнулся и выдохнул: «О, господи!» Мы проползли за угол дома, к окну с болтающимся ставнем. Заглянуть в окно Джим не мог — не хватало нескольких дюймов росту.

— Сейчас я тебя подсажу, — прошептал он Диллу. — Нет, погоди.

Он взял меня за руку, мы сделали из рук седло и подняли Дилла. Он ухватился за подоконник.

— Скорей, — прошептал Джим, — долго мы тебя не удержим.

Дилл стукнул меня по плечу, и мы опустили его на землю.

— Что видел?

— Ничего. Шторы. Но где-то там светится огонёк.

— Пошли отсюда, — зашептал Джим. — Поворачиваем назад. Ш-ш, — зашипел он, когда я хотела возразить.

— Попробуем с той стороны, — сказал Дилл.

— Не надо, — взмолилась я.

Дилл приостановился и пропустил Джима вперёд. Джим хотел подняться на заднюю веранду, у него под ногой скрипнула ступенька. Он замер, потом осторожно передвинулся. Ступенька молчала. Через две

следующие он занёс ногу на веранду и чуть не потерял равновесие. Но всё-таки не упал и осторожно опустился на колени. Подполз к окну, поднял голову и заглянул внутрь.

И тут я увидела тень. Тень человека в шляпе. Сперва я подумала — это дерево, но ветра не было, а стволы ходить не умеют. Веранда была залита лунным светом, и тень, чёткая, будто вырезанная ножницами, направлялась к Джиму.

После меня её увидел Дилл. Он закрыл лицо руками.

Потом тень упала на Джима, и он увидел её. Он прикрыл голову руками и замер.

Тень остановилась в двух шагах от Джима. Подняла руку, потом опустила. Потом повернулась, опять прошла по Джиму, по веранде и скрылась за домом так же неслышно, как появилась.

Джим спрыгнул с веранды и кинулся к нам. Распахнул калитку, протолкнул в неё нас с Диллом и погнал между грядками скрипящей листвьями капусты. На полдороге я споткнулась, и тут грянул выстрел.

Дилл и Джим растянулись на земле рядом со мной. Джим дышал, как загнанная лошадь.

— Через школьный двор... скорей, Глазастик!

Он придержал нижнюю проволоку, мы с Диллом перекатились на ту сторону и уже почти добежали до густой тени одинокого дуба на школьном дворе, хватились, а Джима с нами нет! Побежали назад, а Джим застрял в проволоке и старается вылезть из штанов. Наконец высвободился и в одних трусах побежал к дубу.

Но вот мы и за дубом. И тут мы совсем оцепенели, один только Джим не потерял способности соображать:

— Надо скорее домой, а то нас хватятся.

Мы бежим по школьному двору, проползаем под изгородью на Олений луг, что за нашим домом, потом через вторую изгородь — к нам на задворки, на крыльцо, и тут Джим наконец-то дал нам передохнуть. Отдышавшись, мы с самым невинным видом проходим в палисадник. Выглядываем на улицу и видим — у ворот Рэдли собрались соседи.

— Пойдём туда, — сказал Джим. — А то они удивятся, где мы.

У своей калитки стоял мистер Натан Рэдли с дробовиком в руках. Перед ним на тротуаре — Аттикус, мисс Моды и мисс Стивени Кроуфорд, в двух шагах от них мисс Рейчел и мистер Эйвери. Нас никто не заметил.

Мы тихонько подошли к мисс Моды, она оглянулась.

— А вы все где были? Разве вы ничего не слышали?

— Что случилось? — спросил Джим.

— В огород к мистеру Рэдли забрался негр, и мистер Рэдли в него стрелял.

— О-о! И попал?

— Нет, — сказала мисс Стивени, — он стрелял в воздух. Напугал негра так, что он весь побелел. Говорит, если кто увидит белого негра, так это тот самый и есть. Говорит, у него второй ствол заряжён, и если в огороде ещё что-нибудь шелохнётся, он будет бить прямо в цель, будь то собака, негр или... Джим Фи-инч!

— Что, мэм?

Тут заговорил Аттикус:

— Где твои штаны?

— Штаны, сэр?

— Да, штаны.

Что тут было говорить. Джим стоял перед всеми в одних трусах. Я тяжело вздохнула.

— Э-э... мистер Финч!

В ярком свете уличного фонаря я видела — Дилл готовится соврать: глаза у него расширились, пухлая ангельская рожица стала ещё круглее.

— Что скажешь, Дилл? — спросил Аттикус.

— Я... я их у него выиграл, — туманно объяснил Дилл.

— Как так выиграл?

Дилл почесал в затылке, провёл рукой по лбу.

— Мы там у пруда играли в раздевальный покер.

Мы с Джимом облегчённо вздохнули. Соседям, видно, тоже всё стало понятно, они так и застыли. Только что это за покер такой?

Мы так и не успели это узнать, мисс Рейчел вдруг завопила, как пожарная сирена:

— О господи, Дилл Харрис! Играть у моего пруда в азартные игры? Вот я тебе покажу раздевальный покер!

Аттикус спас Дилла от немедленного увечья.

— Одну минуту, мисс Рейчел, — сказал он. — Я никогда раньше не слышал, чтобы они занимались чем-либо подобным. Вы что же, играли в карты?

Джим очертя голову кинулся спасать положение:

— Нет, сэр, просто в спички.

Не всякий сумеет так найтись, как мой брат! Спички — штука опасная, но карты — верная погибель.

— Джим и Глазастик, — сказал Аттикус, — чтоб я больше не слышал ни о каком покере. Джим, поди с Диллом и возьми свои штаны обратно.

Разберитесь между собой сами.

— Не бойся, Дилл, — сказал Джим, когда мы побежали прочь, — ничего она с тобой не сделает, Аттикус её заговорит. А ты быстро сообразил, молодец. Слушай... слышишь?

Мы приостановились и услышали голос Аттикуса:

— ...ничего серьёзного... все они проходят через это, мисс Рейчел...

Дилл успокоился, но нам с Джимом покоя не было. Откуда Джиму утром взять штаны?

— Я тебе дам какие-нибудь свои, — предложил Дилл, когда мы дошли до дома мисс Рейчел.

Джим сказал — спасибо, в твои мне не влезть. Мы попрощались, и Дилл ушёл в дом. Потом, видно, вспомнил, что мы с ним помолвлены, выбежал опять и тут же при Джиме наскоро меня поцеловал.

— Пиши мне, ладно? — заорал он нам вдогонку.

Не останься Джим без штанов, мы бы всё равно плохо спали в эту ночь. Я свернулась на своей раскладушке на задней веранде, и каждый ночной шорох казался мне оглушительным: зашуршит гравий у кого-то под ногами — это рыщет Страшила Рэдди, подгоняемый жаждой мести; засмеётся где-то в темноте прохожий-негр — это гонится за нами Страшила; ночные мотыльки бьются о сетку — это Страшила в бешенстве рвёт проволочную изгородь; платаны надвигались на нас, живые, злобные. Долго я томилась между сном и явью, потом услышала шёпот Джима:

— Трёхглазка, ты спишь?

— Ты что, спятил?

— Тс-с... У Аттикуса уже темно.

В слабом свете заходящей луны я увидела — Джим спустил ноги с кровати.

— Я пошёл за штанами, — сказал он.

Я так и села.

— Не смей! Не пущу!

Джим торопливо натягивал рубашку.

— Надо.

— Только попробуй — и я разбужу Аттикуса.

— Только попробуй — и я тебя убью.

Я вцепилась в него и заставила сесть рядом со мной. Надо как-нибудь его отговорить.

— Мистер Натан утром их найдёт. Он знает, что это ты потерял. Конечно, будет плохо, когда он их принесёт Аттикусу... ну и всё, и ничего тут не сделаешь. Ложись.

— Это я всё и сам знаю, — сказал Джим. — Потому и иду.

Меня даже затошнило. Вернуться туда одному... Как это сказала мисс Стивени: у мистера Натана второй ствол заряжён, и если в огороде шелохнётся негр, собака или... Джим это понимал не хуже меня. Я чуть с ума не сошла от страха.

— Не надо, Джим, не ходи! Ну, выдерет Аттикус — это больно, но пройдёт. А там тебя застрелят. Джим, ну пожалуйста!...

Джим терпеливо вздохнул.

— Понимаешь, Глазастик, — тихо сказал он, — сколько я себя помню, Аттикус меня ни разу не ударил. И мне неохота пробовать.

А ведь и правда. Аттикус только грозил нам чуть не каждый день.

— Значит, он ни разу тебя ни на чём таком не поймал.

— Может быть, по... мне неохота пробовать, Глазастик. Зря мы туда сегодня полезли.

Вот с этого часа, наверно, мы с Джимом и начали отдаляться друг от друга. Случалось, он и раньше ставил меня в тупик, но ненадолго. А этого я понять не могла.

— Ну, пожалуйста, не ходи! — упрашивала я. — Знаешь, как там будет страшно одному...

— Да замолчи ты!

— Ну, выдерет... Ведь это не то, что он никогда больше не будет с тобой разговаривать или... Я его разбужу, Джим, честное слово, я...

Джим сгрёб меня за ворот пижамы и чуть не задушил.

— Тогда я пойду с тобой... — еле выговорила я.

— Нет, не пойдёшь, ты только наделаешь шуму.

Ну что с ним делать! Я отодвинула щеколду и держала дверь, пока он тихонько спускался с заднего крыльца. Было, наверно, часа два. Луна уже заходила, и перепутанные на земле тени становились неясными, расплывчатыми. Белый хвостик рубашки Джима то подскакивал, то нырял в темноте, точно маленький призрак, бегущий от наступающего утра. Я вся обливалась потом, но подул ветерок, и стало прохладно.

Наверно, он пошёл в обход, по Оленьему лугу и через школьный двор, по крайней мере он двинулся в ту сторону. Это дальше, и волноваться ещё рано. Я ждала — вот сейчас настанет время волноваться, вот грохнет дробовик мистера Рэдли. Потом как будто скрипнула изгородь. Но это только почудилось.

Потом послышался кашель Аттикуса. Я затаила дыхание. Иной раз, вставая среди ночи, мы видели — он ещё читает. Он говорил, что часто просыпается по ночам, заходит поглядеть на нас, а потом читает, пока опять

не заснёт. Я ждала — вот сейчас он зажжёт лампу, и вглядывалась, не просочится ли в коридор струйка света. Но было по-прежнему темно, и я перевела дух.

Ночные мошки и мотыльки угомонились, но чуть подует ветерок — и по крыше барабанят платановые шишки, а где-то вдалеке лают собаки, и от этого в темноте совсем уж тоскливо и одиноко.

Вот и Джим возвращается. Белая рубашка перескочила через ограду и становится всё больше. Вот он поднялся по ступеням, задвинул щеколду, сел на кровать. Не говоря ни слова, показал найденные штаны. Потом лёг, и некоторое время я слышала, как трясётся его раскладушка. Скоро он затих. Больше я его не слышала.

Целую неделю Джим был мрачный и молчаливый. Я попробовала влезть в его шкуру и походить в ней, как посоветовал мне тогда Аттикус: если бы мне пришлось в два часа ночи пойти одной во двор к Рэдли, на завтра бы меня хоронили. Поэтому я оставила Джима в покое и старалась ему не надоедать.

Начались занятия в школе. Второй класс оказался не лучше первого, даже хуже: у нас перед носом опять махали карточками и не позволяли ни читать, ни писать. По взрывам хохота за стеной можно было судить, как подвигается дело в классе у мисс Кэролайн; впрочем, там осталась целая команда вечных второгодников, и они помогали наводить порядок. Одно хорошо, теперь у меня было столько же уроков, сколько у Джима, и обычно в три часа мы шли домой вместе.

Один раз возвращаемся мы через школьный двор домой, и вдруг Джим заявляет:

— Я тебе кое-что ещё не рассказал.

За последние несколько дней он мне и двух слов кряду не сказал, надо было его подбодрять.

— Про что это? — спросила я.

— Про ту ночь.

— Ты мне про ту ночь вообще ничего не говорил.

Джим отмахнулся, как от комара. Помолчал немного, потом сказал:

— Я тогда вернулся за штанами... когда я из них вылез, они совсем запутались в проволоке, я никак не мог их отцепить. А когда вернулся... — Джим шумно перевёл дух. — Когда вернулся, они висели на изгороди, сложенные... как будто ждали меня.

— Висели и ждали...

— И ещё... — Джим говорил очень ровным голосом, без всякого выражения. — Вот придём домой, я тебе покажу. Они были защиты. Не как женщины зашивают, а как я бы сам зашил. Вкривь и вкось. Как будто...

— ...как будто кто знал, что ты за ними придёшь.

Джим вздрогнул.

— Как будто кто прочитал мои мысли... и знал, что я буду делать. Ведь никто не может заранее сказать, что я буду делать, для этого надо знать меня самого, правда, Глазастик?

Он говорил очень жалобно. Я решила его успокоить:

— Этого никто не может сказать заранее, только свои, домашние. Даже я и то иногда не знаю, что ты будешь делать.

Мы шли мимо нашего дерева. В дупле от выпавшего сучка лежал клубок бечёвки.

— Не трогай, Джим, — сказала я. — Это чей-то тайник.

— Не похоже, Глазастик.

— Нет, похоже. Кто-нибудь вроде Уолтера Канингема приходит сюда в большую перемену и прячет разные вещи, а мы их у него отнимаем. Знаешь, давай не будем ничего трогать и подождём два дня. Если никто не возьмёт, тогда возьмём мы, ладно?

— Ладно, может, ты и права, — сказал Джим. — Может, какой-нибудь малыш прячет тут свои вещи от больших. Ты заметила, в каникулы тут ничего не бывает.

— Ага, — сказала я, — но летом мы тут и не ходим.

Мы пошли домой. На другое утро бечёвка была на том же месте. На третий день Джим взял её и сунул в карман. С тех пор всё, что появлялось в дупле, мы считали своим.

Во втором классе можно было помереть со скуки, но Джим уверял, что с каждым годом будет лучше — у него сперва было так же, только в шестом классе узнаёшь что-то стоящее. Шестой класс ему, видно, с самого начала понравился: он пережил короткий египетский период — старался делаться плоским, как доска, одну руку выставлял торчком перед собой, другую заводил за спину и на ходу ставил одну ступню перед другой, а я смотрела на всё это разинув рот. Он уверял, будто все древние египтяне так ходили; я сказала — тогда непонятно, как они ухитрялись ещё что-то делать, но Джим сказал — они сделали куда больше американцев, они изобрели туалетную бумагу и вечное бальзамирование, и что бы с нами было, если б не они? Аттикус сказал мне — отбрось прилагательные, и тогда всё выйдет правильно.

В Южной Алабаме времена года не очень определённые: лето постепенно переходит в осень, а за осенью иногда вовсе не бывает зимы — сразу наступают весенние дни, и за ними опять лето. Та осень была долгая и тёплая, даже почти не приходилось надевать куртку. Как-то в погожий октябрьский день мы с Джимом быстро шагали знакомой дорогой, и опять пришлось остановиться перед нашим дуплом. На этот раз в нём виднелось что-то белое.

Джим предоставил мне хозяйничать, и я вытаскала находку. Это были две куколки, вырезанные из куска мыла. Одна изображала мальчика, на другой было что-то вроде платья.

Я даже не успела вспомнить, что колдовство бывает только в сказках, взвизгнула и отшвырнула фигурки.

Джим мигом их поднял.

— Ты что, в уме? — прикрикнул он и стал стирать с куколок рыжую пыль. — Смотри, какие хорошие. Я таких никогда не видал.

И он протянул мне фигурки. Это были точь-в-точь двое детей. Мальчик — в коротких штанах, клок волос падает до самых бровей. Я поглядела на Джима. Прядь каштановых волос свисала от пробора вниз. Прежде я её не замечала.

Джим перевёл взгляд с куклы-девочки на меня. У куклы была чёлка. У меня тоже.

— Это мы, — сказал Джим.

— По-твоему, кто их сделал?

— Кто из наших знакомых вырезывает?

— Мистер Эйвери.

— Он совсем не то делает. Я говорю... кто умеет вырезать фигурки?

Мистер Эйвери изводил по полену в неделю: он выстругивал из полена зубочистку и потом жевал её.

— И ещё кавалер мисс Стивени Кроуфорд, — подсказала я.

— Верно, он умеет, но ведь он живёт за городом. Ему на нас и смотреть-то некогда.

— А может, он сидит на веранде и смотрит не на мисс Стивени, а на нас с тобой. Я бы на его месте на неё не смотрела.

Джим уставился на меня не мигая, и, наконец, я спросила, что это он, но он ответил только — ничего, Глазастик. Дома он спрятал кукол к себе в сундучок.

Не прошло и двух недель, как мы нашли целый пакетик жевательной резинки и наслаждались ею вовсю: Джим как-то совсем забыл, что вокруг Рэдди всё ядовитое.

Ещё через неделю в дупле оказалась потускневшая медаль. Джим отнёс её Аттикусу, и Аттикус сказал — это медаль за грамотность; ещё до нашего рожденья в школах округа Мейкомб бывали состязания — кто лучше всех пишет, и победителю давали медаль. Аттикус сказал — наверно, кто-то её потерял, мы не спрашивали соседей? Я хотела объяснить, где мы её нашли, но Джим меня лягнул. Потом спросил — а не помнит ли Аттикус, кто получал такие медали? Аттикус не помнил.

Но лучше всех была находка через четыре дня: карманные часы на цепочке и с алюминиевым ножичком; они не шли.

— Джим, по-твоему, это такое белое золото?

— Не знаю. Покажем Аттикусу.

Аттикус сказал — если бы часы были новые, они вместе с ножиком и цепочкой стоили бы, наверно, долларов десять.

— Ты поменялся с кем-нибудь в школе? — спросил он.

— Нет, нет, сэр! — Джим вытащил из кармана дедушкины часы. Аттикус давал их ему поносить раз в неделю, только осторожно, и в эти дни Джим ходил как стеклянный. — Аттикус, если ты не против, я лучше возьму эти. Может, я их починю.

Когда Джим привык к дедушкиным часам, ему наскучило весь день над ними дрожать и уже незачем было каждую минуту смотреть, который час.

Он очень ловко разобрал и опять собрал часы, только одна пружинка и два крохотных колёсика не влезли обратно, но часы всё равно не шли.

— Уф! — вздохнул он. — Ничего не выходит. Слушай, Глазастик...

— А?

— Может, надо написать письмо тому, кто нам всё это оставляет?

— Вот это хорошо, Джим, мы скажем спасибо... чего ты?

Джим заткнул уши и замотал головой.

— Не понимаю, ничего не понимаю... Сам не знаю, Глазастик... — Джим покосился в сторону гостиной. — Может, сказать Аттикусу... Нет, не стоит.

— Давай я скажу.

— Нет, не надо. Послушай, Глазастик...

— Ну чего?

Весь вечер у него язык чесался что-то мне сказать: то вдруг повернётся ко мне с блестящими глазами, то опять передумает. Передумал и на этот раз:

— Да нет, ничего.

— Давай писать письмо. — Я сунула ему под нос бумагу и карандаш.

— Ладно. «Дорогой мистер...»

— А почём ты знаешь, что это мужчина? Спорим, это мисс Моды... Я давно знаю, что это она.

— Э-э, мисс Моды не жуёт жвачку! — Джим ухмыльнулся. — Ох, она иногда здорово разговаривает. Один раз я хотел угостить её жвачкой, а она говорит: нет, спасибо, жвачка приклеивается к нёбу, и тогда становишься бессло-вес-ной! Красиво звучит, правда?

— Ага, она иногда очень красиво говорит. Хотя верно, откуда ей было взять часы и цепочку.

«Дорогой сэр, — стал сочинять Джим. — Мы вам очень признательны

за ча... за всё, что вы нам положили в дупло. Искренне преданный вам Джереми Аттикус Финч».

— Если ты так подпишешься, он не поймёт, что это ты.

Джим стёр своё имя и подписал просто: Джим Финч. Ниже подписалась я: Джин Луиза Финч (Глазастик). Джим вложил письмо в конверт.

На другое утро, когда мы шли в школу, он побежал вперёд и остановился у нашего дерева. Он стоял ко мне лицом, глядел на дупло, и я увидела — он весь побелел.

— Глазастик!!

Я подбежала.

Кто-то замазал наше дупло цементом.

— Не плачь, Глазастик, ну, не надо... ну, не плачь, не надо, слышишь... — повторял он мне всю дорогу до школы.

Когда мы пришли домой завтракать, Джим в два счёта всё проглотил, выбежал на веранду и остановился на верхней ступеньке. Я вышла за ним.

— Ещё не проходил... — сказал он.

На другой день Джим опять стал сторожить — и не напрасно.

— Здравствуйте, мистер Натан, — сказал он.

— Здравствуйте, Джим и Джин Луиза, — на ходу ответил мистер

Рэдли.

— Мистер Рэдли... — сказал Джим.

Мистер Рэдли обернулся.

— Мистер Рэдли... э-э... это вы замазали цементом дырку в том дереве?

— Да. Я её запломбировал.

— А зачем, сэр?

— Дерево умирает. Когда деревья больны, их лечат цементом. Пора тебе это знать, Джим.

Весь день Джим больше про это не говорил. Когда мы проходили мимо нашего дерева, он задумчиво похлопал ладонью по цементу и потом тоже всё о чём-то думал. Видно, настроение у него становилось час от часу хуже, и я держалась подальше.

Вечером мы, как всегда, пошли встречать Аттикуса с работы. Уже у нашего крыльца Джим оказал:

— Аттикус, посмотри, пожалуйста, вон на то дерево.

— Которое?

— На участке Рэдли, вон то, поближе к школе.

— Вижу, а что?

— Оно умирает?

— Нет, почему же? Смотри, листья все зелёные, густые, нигде не желтеют...

— И это дерево не больное?

— Оно такое же здоровое, как ты, Джим. А в чём дело?

— Мистер Рэдли сказал, оно умирает.

— Ну, может быть. Уж наверно мистер Рэдли знает свои деревья лучше, чем мы с тобой.

Аттикус ушёл в дом, а мы остались на веранде. Джим прислонился к столбу и стал тереться о него плечом.

— Джим, у тебя спина чешется? — спросила я как можно вежливее. Он не ответил. Я сказала: — Пойдём домой?

— После приду.

Он стоял на веранде, пока совсем не стемнело, и я его ждала. Когда мы вошли в дом, я увидела — он недавно плакал, на лице, где положено, были грязные разводы, но почему-то я ничего не слышала.

По причинам, непостижимым для самых дальновидных пророков округа Мейкомб, в тот год после осени настала зима. Две недели стояли такие холода, каких, сказал Аттикус, не бывало с 1885 года. Мистер Эйвери сказал — на Розеттском камне записано: когда дети не слушаются родителей, курят и дерутся, тогда погода портится; на нас с Джимом лежала тяжкая вина — мы сбили природу с толку и этим доставили неприятности всем соседям и напортили сами себе.

В ту зиму умерла старая миссис Рэдли, но её смерть прошла как-то незаметно, ведь соседи видели миссис Рэдли, кажется, только когда она поливала свои канны. Мы с Джимом решили, что это Страшила наконец до неё добрался, но Аттикус ходил в дом Рэдли и потом, к нашему разочарованию, сказал: нет, она умерла естественной смертью.

— Спроси его, — зашептал мне Джим.

— Ты спроси, ты старше.

— Вот поэтому ты и спрашивай.

— Аттикус, — сказала я, — ты видел мистера Артура?

Аттикус строго посмотрел на меня поверх газеты.

— Нет, не видел.

Джим не дал мне спрашивать дальше. Он сказал — Аттикус всё ещё не забыл нашего похода на Страшилу, так что лучше давай про это помолчим. И ещё Джиму казалось, Аттикус подозревает, что в тот вечер летом дело было не только в раздевальном покере. Джим сказал, у него нет никаких оснований так думать, просто он нюхом чувствует.

Наутро я проснулась, поглядела в окно и чуть не умерла от страха. Я так завизжала, что из ванной прибежал Аттикус с намыленной щекой.

— Конец света! Аттикус, что делать?!

Я потащила его к окну.

— Это не конец света, — сказал Аттикус. — Это идёт снег.

Джим спросил, долго ли так будет. Он тоже никогда не видал снега, но знал, какой он бывает. Аттикус сказал — он знает про снег не больше Джима.

— Но думаю, если он будет такой мокрый, как сейчас, он превратится в дождь.

Когда мы завтракали, зазвонил телефон, и Аттикус вышел из-за стола. Потом вернулся и сказал:

— Звонила Юла Мэй. Цитирую: «Поскольку в округе Мейкомб снега не было с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года, в школе сегодня занятий не будет».

Юла Мэй была главная телефонистка нашего города. Она всегда передавала разные важные новости, приглашения на свадьбы, возвещала о пожаре и в отсутствие доктора Рейнолдса советовала, как подать первую помощь.

Когда Аттикус, наконец, велел нам успокоиться и смотреть не в окна, а в свои тарелки, Джим спросил:

— А как лепить снеговика?

— Понятия не имею, — сказал Аттикус. — Мне жаль вас огорчать, но, боюсь, снега не хватит даже на порядочный снежный ком.

Вошла Кэлпурния и сказала — вроде не тает. Мы выбежали во двор, он был покрыт тонким слоем мокрого снега.

— Не надо по нему ходить, — сказал Джим, — от этого он пропадает.

Я оглянулась. Там, где мы прошли, оставались талые следы. Джим сказал — надо подождать, пусть снегу нападает побольше, мы его весь соберём и слепим снеговика. Я подставила язык под пушистые хлопья. Они обжигали.

— Джим, снег горячий!

— Нет, просто он такой холодный, что даже жжётся. Не ешь его, Глазастик, не трать зря. Пускай падает.

— А я хочу по нему походить.

— Ага, придумал! Пойдём походим у мисс Моды.

И Джим запрыгал по двору. Я старалась попадать след в след. На тротуаре напротив дома мисс Моды к нам подошёл мистер Эйвери. Лицо у него было розовое, из-под ремня выпирал толстый живот.

— Вот видите, что вы наделали? — сказал он. — В Мейкомбе снега не было с незапамятных времён. Погода меняется, а всё из-за непослушных детей.

Я подумала — может, мистер Эйвери знает, как мы летом ждали, чтоб он повторил своё представление? Что ж, если снег послан нам в наказание, пожалуй, стоит грешить. Откуда мистер Эйвери берёт свои метеорологические сведения, я не задумывалась: конечно же, прямо с Розеттского камня.

— Джим Финч, а Джим Финч!

— Джим, тебя мисс Моды зовёт.

— Держитесь оба посреди двора! У веранды снегом засыпало левкой, смотрите не наступите на них!

— Не наступим! — отозвался Джим. — А красиво, правда, мисс Модии?

— Да провались она, эта красота! Если ночью будет мороз, пропали мои азалии!

На старой, с широченными полями соломенной шляпе мисс Модии поблёскивали снежинки. Она наклонилась над какими-то кустиками и окутывала их пустыми мешками. Джим спросил, для чего это.

— Чтоб они не озябли, — сказала мисс Модии.

— Как цветы могут озябнуть? У них же нет кровообращения?

— Этого я не могу тебе объяснить, Джим Финч. Я знаю одно: если ночью будет мороз, цветы замёрзнут, вот я их и укрываю. Понятно?

— Да, мэм. Мисс Модии...

— Да, сэр?

— Можно мы с Глазастиком одолжим у вас снега?

— О господи, да берите весь! Там под крыльцом есть старая корзинка из-под персиков, наберите в неё и тащите. — Тут мисс Модии прищурилась. — Джим Финч, а что ты собираешься делать с моим снегом?

— Вот увидите, — сказал Джим, и мы перетащили со двора мисс Модии столько снега, сколько могли. Это была очень мокрая и слякотная работа.

— А дальше что, Джим? — спросила я.

— Вот увидишь, — сказал он. — Бери корзинку и тащи с заднего двора в палисадник весь снег, сколько соберёшь. Да смотри зря не топчи, ступай только по своим следам.

— У нас будет маленький снеговичонок?

— Нет, настоящий большой снеговик. Ну, давай принимайся, дела много.

Джим побежал на задворки, достал мотыгу и начал быстро-быстро рыть землю за поленницей, а всех червей откидывал в сторону. Потом сбегал в дом, принёс бельевую корзину, насыпал в неё доверху земли и поволол в палисадник.

Когда мы натащили туда пять корзин земли и две корзины снегу, Джим сказал — можно начинать.

— Что-то грязь получается, — сказала я.

— Это сейчас грязь, а после будет хорошо, — ответил Джим.

Он стал лепить из земли ком, а на нём второй, всё больше и больше, и получилось туловище.

— Джим, разве бывают снеговики-негры? — спросила я.

— Потом он не будет чёрный, — буркнул Джим.

Он принёс из-за дома персиковых прутьев, сплёл их по нескольку штук и согнул, получились кости, их надо было облепить глиной.

— Это мисс Стивени Кроуфорд, — сказала я. — Сама толстая, а ручки тоненькие.

— Сейчас сделаю потолще. — Джим облил грязевика водой и прибавил ещё земли. Поглядел, подумал и слепил толстый живот, выпирающий ниже пояса. Потом поглядел на меня, глаза у него блестели. — Мистер Эйвери ведь похож на снеговика, верно?

Потом он набрал в горсть снега и налепил сверху. Мне он позволил лепить снег только на спину, а всё, что будет на виду, делал сам. Понемногу мистер Эйвери побелел.

Джим воткнул ему сучки на место глаз, носа, рта и пуговиц, и мистер Эйвери стал сердитый. Для полноты картины в руки ему дали полено. Джим отступил на шаг и оглядел своё творение.

— Прямо как живой! — сказала я. — До чего здорово, Джим!

— Правда, неплохо? — смущённо сказал Джим.

Мы не могли дождаться Аттикуса к обеду, а позвонили в суд, что у нас для него сюрприз. Он пришёл и, видно, удивился, что мы всю землю из-за дома перетащили в палисадник, но сказал — мы отлично поработали!

— Я не совсем понимал, из чего ты его вылепишь, — сказал он, — но впредь я могу за тебя не волноваться, сын, ты всегда что-нибудь да придумаешь.

У Джима даже уши покраснели от такой похвалы, но Аттикус отступил на шаг, и он насторожился. Аттикус разглядывал снеговика. Весело улыбнулся, потом засмеялся.

— Не знаю, что из тебя выйдет, сын, — инженер, адвокат или художник-портретист. Но сейчас тебя, пожалуй, можно судить за публичное оскорбление. Придётся этого малого замаскировать.

И Аттикус предложил Джиму поубавить брюшко снеговика, дать ему в руки вместо полена метлу и повязать фартук.

Джим объяснил, что тогда опять будет не снеговик, а грязевик.

— Ну, сделай по-другому, но что-то сделать надо, — сказал Аттикус. — Ты не имеешь права лепить карикатуры на соседей.

— Это не карикатура, — сказал Джим. — Он на самом деле такой.

— Мистер Эйвери может с тобой не согласиться.

— Придумал! — сказал Джим.

Он побежал через улицу, скрылся за домом мисс Моды и вернулся гордый и довольный. Нахлобучил на снеговика её широкополую соломенную шляпу, а в согнутую руку сунул садовые ножницы. Аттикус

сказал — вот и прекрасно.

Из дому вышла мисс Моды и остановилась на крыльце. Поглядела через улицу. И вдруг усмехнулась.

— Джим Финч, ах ты, чертёнок! — крикнула она. — Подайте сюда мою шляпу, сэр!

Джим поглядел на Аттикуса, Аттикус покачал головой.

— Она это не серьёзно, — сказал он. — Просто она поражена твоими... талантами.

Аттикус перешёл улицу, и они с мисс Моды оживлённо заговорили о чём-то, размахивая руками; до меня донеслось только:

— ...выставить во дворе самого настоящего мофродита! Хорошо же ты их воспитываешь, Аттикус!

Днём снег перестал, похолодало, и к ночи сбылись худшие предсказания мистера Эйвери. Кэлпурния, не переставая, топила все печи, а мы всё равно мёрзли. Вечером Аттикус сказал — плохо наше дело, — и спросил Кэлпурнию, может, ей лучше остаться у нас ночевать. Кэлпурния обвела взглядом большие окна и высокие потолки и сказала — у неё дома, наверно, теплее. И Аттикус отвёз её в автомобиле.

Перед сном Аттикус подбросил угля в печку у меня в комнате. Он сказал — сейчас шестнадцать градусов, он за всю жизнь не запомнит такого холода, а наш снеговик совсем заледенел.

Мне показалось, прошло совсем мало времени, и вдруг кто-то трясёт меня за плечо. Я проснулась и увидела поверх одеяла пальто Аттикуса.

— Разве уже утро?

— Вставай, малышка.

Аттикус протянул мне мой купальный халат и пальто.

— Сперва надень халат, — сказал он.

Рядом с Аттикусом стоял Джим, весь встрёпанный, его качало. Одной рукой он придерживал ворот, другую сунул в карман. Он был весь какой-то толстый.

— Быстрее, дружок, — сказал Аттикус. — Вот твои носки и башмаки.

Я ничего не поняла, но обулась.

— Уже утро?

— Нет ещё, второй час. Ну-ка, побыстрее.

Наконец до меня дошло: что-то не так.

— А что случилось?

Но теперь ему уже незачем было объяснять. Как птицы знают, что пора укрыться от дождя, так я знала, когда на нашу улицу приходила беда. Я услышала какое-то шелковистое шуршанье, шорохи, приглушённую суету,

и мне стало страшно.

— У кого это?

— У мисс Моды, дружок, — сказал Аттикус.

С веранды мы увидели, что у мисс Моды из окон столовой рвётся пламя. И словно затем, чтоб мы скорей поверили своим глазам, взвыла над городом пожарная сирена — всё тоньше, визгливее, и никак не умолкала.

— Всё сгорит? — жалобно спросил Джим.

— Наверно, — сказал Аттикус. — Теперь вот что. Подите оба к дому Рэдди и стойте там. И не вертитесь под ногами, слышите? Видите, с какой стороны ветер?

— О-о! — сказал Джим. — Аттикус, может, надо уже вытаскивать мебель?

— Пока ещё рано. Делай, что я велю. Ну, бегите! Смотри за сестрой, Джим, слышишь? Не отпускай её ни на шаг.

И Аттикус подтолкнул нас к воротам Рэдди. Мы стояли и смотрели — нашу улицу всё тесней заполняли люди и автомобили, а тем временем огонь молча пожирал дом мисс Моды.

— Ну что они так долго, что они так долго... — бормотал Джим.

Но мы понимали, в чём дело. Старая машина не заводилась на морозе, и целая толпа катила её по улице, просто подталкивая руками. А когда шланг прикрутили к водоразборной колонке, он лопнул, струя брызнула вверх и окатила мостовую.

— Ой, Джим!...

Джим обнял меня за плечи.

— Тише, Глазастик. Подожди волноваться. Я тебе тогда скажу.

Жители Мейкомба, более или менее раздетые, через двор выносили мебель мисс Моды на улицу. Аттикус тащил тяжёлую дубовую качалку, и я подумала, какой он умный, спас ту самую вещь, которую мисс Моды любит больше всего.

По временам слышались крики. Потом в окне мансарды появился мистер Эйвери. Он выкинул под окно тюфяк и бросал на него разные вещи, пока все не закричали:

— Спускайтесь, Дик! Лестница горит! Уходите оттуда, мистер Эйвери!

Мистер Эйвери стал вылезать в окно.

— Застрял... — выдохнул Джим. — Ох, Глазастик...

Мистер Эйвери не мог двинуться ни взад, ни вперёд. Я уткнулась Джиму под мышку и зажмурилась. Потом Джим крикнул:

— Он выбрался, Глазастик! Он живой!

Я подняла голову. Мистер Эйвери был уже на балконе. Перекинул ноги

через перила, стал съезжать по столбу вниз, но не удержался и с воплем свалился в кусты мисс Моды.

Тут я заметила, что люди пятятся от дома мисс Моды всё ближе к нам. Никто уже не таскал мебель. Огонь охватил верхний этаж и дошёл до самой крыши, чернели оконные рамы, а внутри всё так и светилось оранжевым.

— Джим, правда, там всё рыжее, как тыква?...

— Смотри, Глазастик!

От нашего дома и от дома мисс Рейчел повалил дым, будто поднялся туман от реки, и к ним уже тянули шланги. Позади нас завопила сирена, из-за угла выкатилась пожарная машина из Эбботсвила и остановилась напротив нашего дома.

— Книжка... — сказала я.

— Какая книжка? — спросил Джим.

— Про Тома Свифта — она не моя, а Дилла...

— Подожди волноваться, Глазастик, — сказал Джим. И показал пальцем: — Гляди-ка!

Среди соседей, сунув руки в карманы пальто, стоял Аттикус. Вид у него был такой, будто он смотрит футбол. Рядом стояла мисс Моды.

— Видишь, он пока не волнуется, — сказал Джим.

— А почему он не на крыше?

— Он слишком старый, он ломает себе шею.

— Может, скажем ему, что надо вытаскивать вещи?

— Нечего к нему приставать, он сам знает, когда вытаскивать, — сказал Джим.

Эбботсвилские пожарные начали поливать водой наш дом; какой-то человек стоял на крыше и показывал, куда первым делом лить. Наш Самый Настоящий Мофродит почернел и развалился, соломенная шляпа мисс Моды так и осталась лежать на куче грязи. Садовых ножниц не было видно. Между домами мисс Моды, мисс Рейчел и нашим было так жарко, что все давно скинули пальто и купальные халаты, работали в пижамах или в ночных рубашках, заправленных в штаны. А я всё стояла на одном месте и совсем закоченела. Джим обнял меня за плечи и старался согреть, но это не помогало. Я высвободилась и обхватила себя обеими руками. Начала приплясывать, и ноги понемногу согрелись.

Прикатила ещё одна пожарная машина и остановилась перед домом мисс Стивени Кроуфорд. Колонка была только одна, не к чему прикрутить второй шланг, и пожарные стали поливать дом мисс Стивени из огнетушителей.

Железная крыша мисс Моды преградила путь огню. Дом с грохотом

рухнул; пламя брызнуло во все стороны: на соседних крышах люди накиннулись с одеялами на летящие искры и головешки.

Только когда рассвело, все начали понемногу расходиться. Мейкомбскую пожарную машину покатали обратно. Эбботсвилская уехала сама, третья осталась. Днём мы узнали — она приехала из Клерк Ферри, за шестьдесят миль.

Мы с Джимом тихонько перешли улицу. Мисс Моды стояла и смотрела на чёрную яму, которая дымилась посреди её двора, и Аттикус покачал головой — значит, говорить с ней не надо. Он повёл нас домой, а сам держался за наши плечи, потому что мостовая была очень скользкая. Он сказал — мисс Моды пока поживёт у мисс Стивени. Потом спросил:

— Кто хочет горячего какао?

Пока он разводил в кухне огонь, меня трясло от холода.

Мы принялись за какао, и тут Аттикус посмотрел на меня с удивлением, а потом глаза у него стали строгие.

— Я, кажется, велел вам с Джимом стоять на месте и никуда не соваться, — сказал он.

— А мы не совались. Мы стояли...

— Тогда чьё же это одеяло?

— Одеяло?!

— Да, мэм, одеяло. Это не наше.

Я оглядела себя. Оказывается, на плечах у меня коричневое шерстяное одеяло, и я завернулась в него, как индианка.

— Аттикус, я ничего не знаю... я...

И я обернулась к Джиму. Но Джим удивился ещё больше меня. Он сказал — кто его знает, откуда взялось это одеяло, мы всё делали, как велел Аттикус, стояли у ворот Рэдди, под ногами ни у кого не вертелись, даже с места не сходили... тут Джим запнулся.

— Мистер Натан был на пожаре! — торопливо заговорил он. — Я видел, я видел, он тащил тот матрац... Аттикус, честное слово...

— Ничего, сын, — медленно усмехнулся Аттикус. — Видно, так ли, эдак ли, а весь Мейкомб вышел сегодня на улицу. По-моему, у нас в кладовой есть обёрточная бумага, Джим. Достань её, и мы...

— Нет, нет, сэр!

Джим, кажется, сошёл с ума. Он начал выбалтывать подряд все наши секреты, он совсем не остерегался ни за себя, ни за меня, выложил всё, как было, — и про дупло, и про штаны...

— ...мистер Натан замазал дупло цементом. Аттикус, это он нарочно, чтобы мы больше ничего не находили... Аттикус, может, он и

сумасшедший, только, честное слово, он нам ни разу ничего плохого не сделал, он тогда ночью мог отрезать мне голову напрочь, а он сидел и чинил мои штаны... он нам никогда ничего плохого не сделал!

— Тише, тише, сын.

Аттикус сказал это очень ласково, и я приободрилась. Он явно не понял ни слова из всего, что наболтал Джим, потому что сказал только:

— Ты прав. Оставим и это и одеяло при себе. Может быть, когда-нибудь Глазастик сможет сказать ему спасибо за то, что он не дал ей замёрзнуть.

— Кому спасибо? — спросила я.

— Страшиле Рэдди. Ты так усердно смотрела на пожар, что и не заметила, как он закутал тебя своим одеялом.

Всё во мне перевернулось, меня чуть не стошнило. Джим поднял одеяло и стал подкрадываться ко мне.

— Он потихоньку вышел из дому... из-за угла... и подошёл вот так, тихо-тихо!

— Не увлекайся этим представлением, Джереми, — сухо сказал Аттикус.

Джим насупился.

— Да я и не собираюсь... — Но я видела, озорная искорка у него в глазах погасла: пришлось отказаться от новой выдумки. — Эх, — сказал он мне, — если б ты оглянулась, ты бы его увидела!

В полдень нас разбудила Кэлпурния. Аттикус сказал — нечего нам сегодня ходить в школу, всё равно ничему не научимся, раз ночь не спали. А Кэлпурния сказала — надо хоть немного прибраться во дворе.

Шляпа мисс Моды просвечивала сквозь ледяную корку, точно муха в янтаре, а садовые ножницы пришлось выкапывать из кучи замёрзшей глины. Мисс Моды мы нашли у неё на задворках, она стояла и смотрела на помёрзшие, обугленные азалии.

— Мы принесли ваши вещи, мисс Моды, — сказал Джим. — Нам так жалко...

Мисс Моды обернулась, и по её лицу скользнула тень прежней улыбки.

— Я всегда хотела, чтоб дом у меня был поменьше, Джим Финч. Зато сад будет больше. Подумай, теперь у меня будет больше места для азалий!

— Вы разве совсем не огорчены, мисс Моды? — удивилась я. Аттикус говорил, у неё, кроме этого дома, и нет ничего.

— Огорчена? Что ты, детка, да я этот старый хлев терпеть не могла. Сама сколько раз хотела его поджечь, да только тогда меня посадили бы в сумасшедший дом.

— Но...

— Не беспокойся обо мне, Джин Луиза Финч. Есть на свете вещи, которых ты ещё не понимаешь. Вот теперь я построю себе маленький домик, пущу парочку постояльцев и... ей-богу, у меня будет лучший сад во всём штате! Вот увидите, я утру нос этим Биллингрейсам!

Мы с Джимом переглянулись.

— Как это случилось, мисс Моды? — спросил он.

— Не знаю, Джим. Наверно, на кухне загорелась сажа в трубе. Я там поздно топила, чтоб не помёрзли мои комнатные цветы. А к тебе, говорят, ночью приходил неожиданный гость, мисс Джин Луиза?

— Откуда вы знаете?

— Аттикус сказал мне сегодня, когда шёл на работу. По правде говоря, мне жаль, что я не стояла там с вами. У меня бы уж хватило ума оглянуться.

Я слушала мисс Моды и только диву давалась. Почти всё у неё сгорело, её любимый сад выглядел, как после побоища, а ей всё равно были интересны наши с Джимом дела!

Она, видно, поняла, что я совсем сбита с толку.

— Ночью я беспокоилась только потому, что получился такой переполох и опасность для всех. Весь квартал мог сгореть дотла. Мистеру Эйвери придётся неделю пролежать в постели, он изрядно поджарился. Он чересчур стар, чтоб лазить в огонь, я так ему и сказала. Как только отмою руки, а Стивени Кроуфорд отвернётся, я испеку для него свой лучший пирог. Эта Стивени тридцать лет старается выведать у меня рецепт, но если она думает, что я ей его скажу, потому что живу сейчас у неё в доме, она сильно ошибается.

Я подумала, если мисс Моды не выдержит и откроет свой секрет, у мисс Стивени всё равно ничего не получится. Один раз я видела, как мисс Моды печёт этот пирог: среди прочего надо положить в тесто большую чашку сахару.

День был тихий. В холодном чистом воздухе далеко разносился каждый звук. Мы даже услышали, как на здании суда зашипели часы — собрались бить. Нос у мисс Моды был очень странного цвета, я ещё никогда такого не видела и спросила, отчего это.

— Я тут стою с шести утра, — ответила она. — Наверно, отморозила.

Она подняла руки. Ладони побурели от грязи и запёкшейся крови и были все в трещинках.

— Вы загубили руки, — сказал Джим. — Почему вы не позвали какого-нибудь негра? Или нас с Глазастиком, мы бы вам помогли.

— Благодарю вас, сэр, — сказала мисс Моды. — У вас и без меня дел по горло. — И она кивнула в сторону нашего двора.

— Это вы про Мофродита? — спросила я. — Да мы его мигом раскидаем.

Мисс Моды уставилась на меня во все глаза, её губы беззвучно шевелились. Вдруг она схватилась за голову да как захохочет! Мы постояли-постояли и пошли, а она всё смеялась.

Джим сказал, не поймёшь, что это с ней, — чудачка, и всё.

— Бери свои слова обратно!

Так я скомандовала Сесилу Джейкобсу, и с этого началось для нас с Джимом плохое время. Я сжала кулаки и приготовилась к бою. Аттикус обещал меня выдрать, если ещё хоть раз услышит, что я с кем-нибудь подралась: я уже слишком большая и взрослая, хватит ребячиться, и чем скорее я научусь сдерживаться, тем будет лучше для всех. А я сразу про это забыла.

Забыла из-за Сесила Джейкобса. Накануне он посреди школьного двора закричал — у Глазастика отец защищает черномазых. Я с ним заспорила, а потом рассказала Джиму.

— Про что он говорил? — спросила я.

— Ни про что, — сказал Джим. — Спроси Аттикуса, он тебе объяснит.

— Аттикус, ты и правда защищаешь черномазых? — спросила я вечером.

— Да, конечно. Не говори «черномазые», Глазастик, это грубо.

— В школе все так говорят.

— Что ж, теперь будут говорить все, кроме тебя.

— А если ты не хочешь, чтоб я так говорила, зачем велишь ходить в школу?

Отец молча посмотрел на меня и улыбнулся одними глазами.

Хоть у нас с ним был компромисс, но я уже по горло была сыта школьной жизнью и всё время старалась так или иначе увильнуть от занятий. С первых дней сентября у меня то голова кружилась, то меня ноги не держали, то живот болел. Я даже отдала пяточок сыну кухарки мисс Рейчел, чтоб он позволил мне потереться головой о его голову: у него был стригущий лишай. Однако не заразилась.

Но у меня была ещё одна забота.

— Аттикус, а все адвокаты защищают чер... негров?

— Конечно, Глазастик.

— А почему же Сесил сказал — ты защищаешь черномазых? Он так это сказал... будто ты воруешь.

Аттикус вздохнул.

— Просто я защищаю негра, его зовут Том Робинсон. Он живёт в маленьком посёлке, за свалкой. Он в том же приходе, что и Кэлпурния, она хорошо знает всю его семью. Кэл говорит, что они очень порядочные люди.

Ты ещё недостаточно взрослая, Глазастик, и не всё понимаешь, но в городе многие кричат, что не следует мне стараться ради этого человека. Это совсем особенное дело. Слушаться оно будет только во время летней сессии. Джон Тейлор был так добр, что дал нам отсрочку...

— Если не следует его защищать, почему же ты защищаешь?

— По многим причинам, — сказал Аттикус. — Главное, если я не стану его защищать, я не смогу смотреть людям в глаза, не смогу представлять наш округ в законодательном собрании, даже не смогу больше сказать вам с Джимом — делайте так, а не иначе.

— Это как? Значит, если ты не будешь защищать этого человека, мы с Джимом можем тебя не слушаться и поступать как захотим?

— Да, примерно так.

— Почему?

— Потому, что я уже не смогу требовать, чтоб вы меня слушались. Такая наша работа, Глазастик: у каждого адвоката хоть раз в жизни бывает дело, которое задевает его самого. Вот это, видно, такое дело для меня. Возможно, из-за этого тебе придётся выслушать в школе много неприятного, но я тебя прошу об одном: держи голову выше, а в драку не лезь. Кто бы что ни сказал, не давай себя разозлить. Старайся для разнообразия воевать не кулаками, а головой... она у тебя неплохая, хоть и противится учению.

— Аттикус, а мы выиграем дело?

— Нет, дружок.

— Так почему же...

— А потому, что хоть нас и побили ещё сто лет назад, всё равно сейчас надо снова воевать... — сказал Аттикус.

— Ты говоришь, прямо как дядя Аик Финч, — сказала я.

Дядя Аик Финч был единственный в округе Мейкомб ещё здравствующий ветеран Южной армии. Борода у него была точь-в-точь как у генерала Худа, и он до смешного ею гордился. По меньшей мере раз в год Аттикус вместе с нами навещал его, и мне приходилось его целовать. Это было ужасно. Аттикус и дядя Аик опять и опять рассуждали о той войне, а мы с Джимом почтительно слушали.

— Я так скажу, Аттикус, — говаривал дядя Аик. — Миссурийский сговор^[5] — вот что нас загубило, но если б мне пришлось начать всё сначала, я бы опять пошёл тем же путём, не отступил бы ни на шаг, и на этот раз мы бы им задали перцу... Вот в шестьдесят четвёртом, когда на нас свалился Твердокаменный Джексон... виноват, молодые люди, ошибся... в шестьдесят четвёртом Старый Пожарник уже отдал богу душу,

да будет ему земля пухом...

— Поди сюда, Глазастик, — сказал Аттикус.

Я залезла к нему на колени, уткнулась головой ему в грудь. Он обхватил меня обеими руками и стал легонько покачивать.

— Сейчас всё по-другому, — сказал он. — Сейчас мы воюем не с янки, а со своими друзьями. Но помни, как бы жестоко ни приходилось воевать, всё равно это наши друзья и наш родной край.

Я это помнила, а всё-таки на другой день остановилась на школьном дворе перед Сесилом Джейкобсом.

— Берёшь свои слова обратно?

— Как бы не так! — заорал он. — У нас дома говорят, твой отец позорит весь город, а этого черномазого надо вздёрнуть повыше!

Я нацелилась было его стукнуть, да вспомнила, что говорил Аттикус, опустила кулаки и пошла прочь.

— Струсил! Струсил! — звенело у меня в ушах.

Первый раз в жизни я ушла от драки.

Почему-то выходило, что, если я стану драться с Сесилом, я предам Аттикуса. А он так редко нас с Джимом о чём-нибудь просил... уж лучше я стерплю ради него, пускай меня обзывают трусихой. Я просто надивиться не могла, какая я благородная, что вспомнила просьбу Аттикуса, и вела себя очень благородно ещё целых три недели. А потом пришло рождество, и разразилась беда.

Рождества мы с Джимом ждали со смешанным чувством. Ёлка и дядя Джек Финч — это очень хорошо. Каждый год в канун рождества мы ездили на станцию Мейкомб встречать дядю Джека, и он гостил у нас целую неделю.

Но была и обратная сторона медали — неизбежный визит к тёте Александре и Фрэнсису.

Наверно, надо прибавить — и к дяде Джимми, ведь он был муж тёти Александры; но он никогда со мной даже не разговаривал, только один раз сказал: «Слезай с забора», так что я вполне могла его и не замечать. Тётя Александра его тоже не замечала. Давным-давно в порыве дружеских чувств они произвели на свет сына по имени Генри, который при первой возможности сбежал из дому, женился и произвёл Фрэнсиса. Каждый год на рождество Генри с женой вручали Фрэнсиса дедушке с бабушкой и потом развлекались сами.

Как бы мы ни охали и ни вздыхали, Аттикус не позволял нам в первый день рождества остаться дома. Сколько я себя помню, рождество мы всегда проводили на «Пристани Финча». Тётя Александра отменно стряпала, это

отчасти вознаграждало нас за праздник в обществе Фрэнсиса Хенкока. Фрэнсис был годом старше меня, и я его избегала: он находил удовольствие во всём, что не нравилось мне, и ему были не по вкусу мои самые невинные развлечения.

Тётя Александра была родная сестра Аттикуса, но когда Джим рассказал мне про подменьшей и приёмьшей, я решила — наверно, её подменили в колыбели и дедушка с бабушкой вырастили чужого ребёнка, на самом деле она не Финч, а, пожалуй, Кроуфорд. Если б я когда-нибудь уверовала, будто судей и адвокатов преследуют заколдованные горы, тётю Александру я считала бы Эверестом: все годы моего детства она была тут как тут — неприступная и подавляющая своим величием.

Настал канун рождества, из вагона выскочил дядя Джек, но нам пришлось ждать его носильщика с двумя длинными свёртками. Нас с Джимом всегда смешило, когда дядя Джек чмокал Аттикуса в щёку: другие мужчины никогда не целовались. Дядя Джек поздоровался с Джимом за руку и подбросил меня в воздух, но не очень высоко: он был на голову ниже Аттикуса; дядя Джек был младший в семье, моложе тёти Александры. Они с тётей были похожи, но дядя Джек как-то лучше распорядился своим лицом, его острый нос и подбородок не внушали нам никаких опасений.

Он был один из немногих учёных людей, которых я ничуть не боялась, может быть, потому, что он вёл себя вовсе не как доктор. Если ему случалось оказать мне или Джиму мелкую услугу — скажем, вытащить занозу из пятки, — он всегда заранее говорил, что и как будет делать, и очень ли будет больно, и для чего нужны какие щипчики. Один раз, тоже на рождество, я засадила в ногу кривую занозищу и пряталась с ней по углам, и никого даже близко не подпускала. Дядя Джек поймал меня и стал очень смешно рассказывать про одного пастора, который терпеть не мог ходить в церковь: каждый день он в халате выходил к воротам и, дымя кальяном, читал пятиминутную проповедь каждому прохожему, который нуждался в духовном наставлении. Сквозь смех я попросила, пускай дядя Джек скажет, когда начнёт тащить занозу, а он показал мне зажатую пинцетом окровавленную щепку и объяснил, что выдернул её, пока я хохотала, и что всё на свете относительно.

— Это что? — спросила я про длинные узкие свёртки, которые отдал дяде Джеку носильщик.

— Не твоего ума дело, — ответил он.

— Как поживает Роза Эйлмер? — спросил Джим.

Роза Эйлмер была дядина кошка. Она была рыжая и очень красивая; дядя говорил, она — одна из немногих особ женского пола, которых он в

состоянии терпеть около себя сколько угодно времени. Он полез в карман и показал нам несколько фотокарточек. Карточки были замечательные.

— Она толстеет, — сказала я.

— Ничего удивительного. Она съедает пальцы и уши, которые я отрезаю в больнице.

— Чёрта с два, — сказала я.

— Простите, как вы сказали?

— Не обращай на неё внимания, Джек, — сказал Аттикус. — Это она тебя испытывает. Кэл говорит, она ругается без передышки уже целую неделю.

Дядя Джек поднял брови, но смолчал. Бранные слова мне нравились и сами по себе, а главное, я рассудила — Аттикус увидит, что в школе я научилась ругаться, и больше меня в школу не пошлёт.

Но за ужином, когда я попросила — передайте мне, пожалуйста, эту чёртову ветчину, — дядя Джек грозно уставил на меня указательный палец.

— Я с вами потом потолкую, миледи, — сказал он.

После ужина дядя Джек перешёл в гостиную и сел в кресло. Похлопал себя по колену, это значило — залезай сюда. Приятно было его понюхать, от него пахло, как от бутылки со спиртом, и ещё чем-то сладким. Он отвёл у меня со лба чёлку и поглядел на меня.

— Ты больше похожа на Аттикуса, чем на мать, — сказал он. — И ты что-то становишься чересчур большой и умной, мне даже кажется, что ты выросла из своих штанов.

— А по-моему, они мне в самый раз.

— Тебе, я вижу, очень нравятся всякие словечки вроде «чёрт» и «дьявол»?

Это было верно.

— А мне они совсем не нравятся, — сказал дядя Джек. — Без абсолютной необходимости я бы на твоём месте их не произносил. Я пробуду здесь неделю и за это время не желаю ничего такого слышать. Если ты будешь бросаться такими словами, Глазастик, ты наживёшь неприятности. Ты ведь хочешь вырасти настоящей леди, правда?

Я сказала — не особенно хочу.

— Ну, конечно, хочешь. А теперь идём к ёлке.

Мы украшали её до ночи, и потом мне приснились два длинных узких свёртка для нас с Джимом. Наутро мы их выудили из-под ёлки — они были от Аттикуса, дядя Джек привёз их по его просьбе, и это было то самое, чего нам хотелось.

— Только не в доме, — сказал Аттикус, когда Джим прицелился в

картину на стене.

— Придётся тебе поучить их стрелять, — сказал дядя Джек.

— Это уж твоя работа, — сказал Аттикус. — Я только покорился неизбежному.

Мы никак не хотели отойти от ёлки и послушались, только когда Аттикус заговорил своим юридическим голосом. Он не позволил нам взять духовые ружья на «Пристань Финча» (а я уже подумывала застрелить Фрэнсиса) и сказал, если что будет не так, он их у нас заберёт и больше не отдаст.

«Пристань Финча» находилась на крутом обрыве, и вниз, к самой пристани, вели триста шестьдесят шесть ступенек. Дальше по течению, за обрывом, ещё видны были следы старого причала, где в старину негры Финча грузили на суда кипы хлопка и выгружали лёд, муку и сахар, сельскохозяйственные орудия и женские наряды. От берега отходила широкая дорога и скрывалась в тёмном лесу. Она приводила к двухэтажному белому дому; вокруг всего дома внизу шла веранда, наверху — галерея. Наш предок Саймон Финч в старости выстроил этот дом, чтоб угодить сварливой жене; но верандой и галереей и оканчивалось всякое сходство этого жилища с обыкновенными домами той эпохи. Его внутреннее устройство свидетельствовало о простодушии Саймона Финча и о великом доверии, которое он питал к своим отпрыскам.

Наверху было шесть спален — четыре для восьми дочерей, одна — для единственного сына Уэлкома Финча и одна для гостей из числа родни. Как будто просто; но в комнаты дочерей можно было попасть только по одной лестнице, а к сыну и гостям — только по другой. Лестница дочерей внизу выходила в спальню родителей, так что Саймон по ночам знал о каждом шаге каждой дочери.

Кухня помещалась во флигеле, и её соединяла с домом крытая галерейка; за домом на столбе висел ржавый колокол — он созывал негров, работавших на плантации, он же возвещал о пожаре или иной беде; крыша была плоская, говорят, в старину такие делали для вдовьих прогулок, но по этой крыше никакие вдовы не гуляли — Саймон присматривал с неё за своим надсмотрщиком, смотрел на суда, проходящие по реке, и подсматривал, как живут ближние арендаторы.

С этим домом, как со многими другими, была связана легенда времён войны с янки: одна девушка из рода Финчей, незадолго до того помолвленная, надела на себя всё своё приданое, чтоб оно не попало в руки грабителей, рыскавших по всей округе; она застряла на узкой «лестнице дочерей», но её облили водой и в конце концов протолкнули.

Мы приехали на «Пристань»; тётя Александра чмокнула дядю Джека, Фрэнсис чмокнул дядю Джека, дядя Джимми молча пожал руку дяде Джеку, мы с Джимом вручили подарки Фрэнсису, а он — нам. Джим сразу почувствовал, что он уже большой, и потянулся к взрослым, а мне предоставил заниматься нашего двоюродного брата. Фрэнсису минуло восемь, а он уже гладко зачёсывал волосы назад.

— Что тебе подарили на рождество? — вежливо спросила я.

— То, что я просил, — сказал он.

Фрэнсис просил новые штаны до колен, ранец красной кожи, пять рубашек и галстук бабочкой.

— Очень мило, — не совсем искренне сказала я. — А нам с Джимом подарили духовые ружья, и Джиму ещё химический набор...

— Наверно, игрушечный.

— Нет, настоящий. Он для меня сделает невидимые чернила, я ими буду писать Диллу письма.

Фрэнсис спросил, для чего это надо.

— Как ты не понимаешь? Он получит от меня письмо, а там, пустая бумажка — он совсем одуреет!

С Фрэнсисом говорить — всё равно, что медленно опускаться в океан, на самое дно. В жизни не видала другого такого нудного мальчишки. Он жил в Мобиле и потому не мог ябедничать на меня учителям, зато ухитрялся всё, что знал, рассказывать тётя Александре, а она изливалась Аттикусу, а он иногда в одно ухо впустит, в другое выпустит, а иногда отругает меня всюю — это уж как ему вздумается. А один раз он сказал ей, повысив голос:

— Сестра, я воспитываю их, как могу!

Никогда ещё я не слышала, чтобы он кому-либо отвечал так резко. Кажется, разговор начался с того, что я щеголяю в комбинезоне, как мальчишка.

Тётю Александру просто терзала забота о моём гардеробе. Если я буду разгуливать в штанах, из меня никогда не выйдет настоящей леди; я сказала — в платье и делать-то ничего нельзя, а тётя Александра ответила — незачем мне заниматься такими делами, для которых надо носить штаны. По понятиям тётя Александры, мне полагалось играть маленькими кастрюльками и чайными сервизами и носить ожерелье из искусственного жемчуга, которое она мне подарила, когда я родилась; и к тому же я должна озарять светом одинокую жизнь моего отца. Я сказала — можно ходить в штанах и всё равно озарять светом, но тётя сказала, — нет, надо быть как луч света, а я родилась хорошей девочкой, а теперь год от году становлюсь

всё хуже и непослушнее. Она без конца меня оскорбляла и пилила, и я спросила Аттикуса, но он сказал — хватит в нашей семье лучей света, и пускай я занимаюсь своими делами, а ему я в общем и такая вполне гожусь.

Во время праздничного обеда меня посадили в столовой отдельно за маленький столик; Джим и Фрэнсис обедали со взрослыми. Тётя Александра ещё долго сажала меня отдельно, когда Джим и Фрэнсис уже перешли за большой стол. Я часто думала, чего она боится — вдруг я встану и швырну что-нибудь на пол? Иногда мне хотелось её попросить — пускай один раз позволит мне посидеть со всеми и сама увидит, я прекрасно умею себя вести за большим столом, ведь дома я обедаю со всеми каждый день, и ничего такого страшного не случается. Я попросила Аттикуса, может, тётя его послушается, но он сказал — нет, мы гости, и наше место там, куда посадит хозяйка. И ещё сказал — тётя Александра не очень разбирается в девочках, у неё своих не было.

Но стряпня тёти Александры испустила всё: три мясных блюда, всякая зелень из кладовой — свежая, точно летом с огорода, и маринованные персики, и два пирога, и амброзия — таков был скромный праздничный обед. После всего этого взрослые перешли в гостиную и уселись в каком-то оцепенении. Джим растянулся на полу, а я вышла во двор.

— Надень пальто, — сказал Аттикус сонным голосом, и я решила не услышать.

Фрэнсис сел рядом со мной на крыльце.

— Никогда так вкусно не обедала, — сказала я.

— Бабушка замечательно стряпает, — сказал Фрэнсис. — Она и меня научит.

— Мальчишки не стряпают.

Я вообразила Джима в фартуке Кэлпурнии и прыснула.

— Бабушка говорит, всем мужчинам следует учиться стряпать, и смотреть за своими жёнами, и заботиться о них, когда они не совсем здоровы, — сказал мой двоюродный брат.

— А я не хочу, чтоб Дилл обо мне заботился, лучше я сама буду о нём заботиться.

— О Дилле?

— Ага. Ты пока никому не говори, когда мы с ним вырастем большие, мы сразу поженимся. Он мне летом сделал предложение.

Фрэнсис так и покатился со смеху.

— А чем он плох? — спросила я Фрэнсиса. — Ничем он не плох.

— Это такой — от земли не видать? Бабушка говорила, он гостил летом у мисс Рейчел?

— Этот самый.
— А я про него всё знаю! — сказал Фрэнсис.
— Что знаешь?
— Бабушка говорит, у него нет дома...
— Нет есть, он живёт в Меридиане.
— ...и его всё время посылают от одних родственников к другим, вот мисс Рейчел и берёт его на лето.
— Фрэнсис, ты врешь!
Фрэнсис ухмыльнулся.
— До чего ты бываешь глупая, Джин Луиза! Хотя что с тебя спрашивать.
— Как так?
— Бабушка говорит, если дядя Аттикус позволяет тебе гонять по улицам без призора, это его дело, а ты не виновата. А я думаю, если дядя Аттикус чернолюб, ты тоже не виновата, только это позор всей семье, вот что я тебе скажу.
— Чёрт возьми, Фрэнсис, что это ты болтаешь?
— То, что слышишь. Бабушка говорит, уже то плохо, что вы оба у него совсем одичали, а теперь он ещё стал чернолюбом, так нам больше в Мейкомб и показаться нельзя. Он позорит всю семью, вот что.
Фрэнсис вскочил и побежал по галерейке в кухню. Отбежал подальше, обернулся и крикнул:

Чернолюб,
Чёрный пуп,
С чёрными связался,
Ваксы нализался!

— Врешь! — закричала я. — Не знаю, что ты там болтаешь, только сейчас я тебе заткну глотку!

Я прыгнула с крыльца. В два счёта догнала его, схватила за шиворот. И сказала — бери свои слова обратно.

Фрэнсис вырвался и помчался в кухню.

— Чернолюб! — орал он.

Если хочешь поймать дичь, лучше не спеши. Молчи и жди, ей наверняка станет любопытно, и она высунет нос. Фрэнсис выглянул из дверей кухни.

— Ты ещё злишься, Джин Луиза? — осторожно спросил он.

— Да нет, ничего.

Фрэнсис вышел в галерейку.

— Возьмёшь свои слова обратно, а?

Я рано себя выдала. Фрэнсис пулей умчался в кухню, и я вернулась на крыльцо. Можно и подождать. Посидела так минут пять и услышала голос тёти Александры:

— Где Фрэнсис?

— Он там, в кухне.

— Он же знает, что я не разрешаю там играть.

Фрэнсис подошёл к двери и завопил:

— Бабушка, это она меня сюда загнала и не выпускает!

— В чём дело, Джин Луиза?

Я подняла голову и посмотрела на тётю Александру.

— Я его туда не загоняла, тётя, и я его там не держу.

— Нет, держит! — закричал Фрэнсис. — Она меня не выпускает!

— Вы что, поссорились?

— Бабушка, Джин Луиза на меня злится! — крикнул Фрэнсис.

— Поди сюда, Фрэнсис! Джин Луиза, если я услышу от тебя ещё хоть слово, я скажу отцу. Кажется, ты недавно поминала чёрта?

— Не-е.

— А мне послышалось. Так вот, чтоб я этого больше не слышала.

Тётя Александра вечно подслушивала. Едва она ушла, Фрэнсис вышел из кухни, задрал нос и ухмыльнулся во весь рот.

— Ты со мной не шути! — заявил он.

Выбежал во двор и запрыгал там — бьёт по кустикам увядшей травы, как по футбольному мячу, от меня держится подальше, только иногда обернётся и усмехается. Вышел на крыльцо Джим, поглядел на нас и скрылся. Фрэнсис залез на старую мимозу, опять слез, сунул руки в карманы и стал прохаживаться по двору.

— Ха! — сказал он.

Я спросила, кого он из себя изображает — дядю Джека, что ли? Фрэнсис сказал — кажется, Джин Луизе велено сидеть смирно и оставить его в покое.

— Я тебя не трогаю, — сказала я.

Он внимательно на меня посмотрел, решил, что меня уже утихомирили, и негромко пропел:

— Чернолюб...

На этот раз я до крови ободрала кулак о его передние зубы. Повредив левую, я стала работать правой, но недолго. Дядя Джек прижал мне локти к

бокам и скомандовал:

— Смирно!

Тётя Александра хлопотала вокруг Фрэнсиса, утирала ему слёзы своим платком, приглаживала ему волосы, потом потрепала по щеке. Аттикус, Джим и дядя Джимми стояли на заднем крыльце — они вышли сюда, как только Фрэнсис начал орать.

— Кто первый начал? — спросил дядя Джек.

Фрэнсис и я показали друг на друга.

— Бабушка, — провыл Фрэнсис, — она меня обозвала потаскухой и всего исколотила.

— Это правда, Глазастик? — спросил дядя Джек.

— Ясно, правда.

Дядя Джек посмотрел на меня, и лицо у него стало точь-в-точь как у тёти Александры.

— Я ведь, кажется, предупреждал: если будешь бросаться такими словами, жди неприятностей. Говорил я тебе?

— Да, сэр, но...

— Так вот, ты дождалась неприятностей. Стой тут.

Я колебалась — не удрать ли — и опоздала: рванулась бежать, но дядя Джек оказался проворнее. Вдруг у меня под самым носом очутился муравей, он с трудом тащил по траве хлебную крошку.

— До самой смерти и говорить с тобой не буду! Терпеть тебя не могу, ненавижу, чтоб тебе сдохнуть!

Кажется, всё это только придало дяде Джеку решимости. Я кинулась за утешением к Аттикусу, а он сказал — сама виновата, и вообще нам давно пора домой.

Я ни с кем не простилась, залезла на заднее сиденье, а когда приехали домой, убежала к себе и захлопнула дверь. Джим хотел мне сказать что-то хорошее, я не стала слушать.

Я осмотрела следы бедствия, оказалось только семь или восемь красных пятен, и я стала думать, что и правда всё на свете относительно, и тут в дверь постучали. Я спросила, кто там; отозвался дядя Джек.

— Уходи!

Дядя Джек сказал — если я буду так разговаривать, он опять меня выдерет, и я замолчала. Он вошёл, я ушла в угол и повернулась к нему спиной.

— Глазастик, — сказал он, — ты меня всё ещё ненавидишь?

— Можете опять меня выдрать, сэр.

— Вот не думал, что ты такая злопамятная, — сказал он. — Я был о

тебе лучшего мнения, ты ведь сама знаешь, что получила по заслугам.

— Ничего я не знаю.

— Дружок, ты не имеешь права ругать людей...

— Ты несправедливый, — сказала я, — несправедливый!

Дядя Джек высоко поднял брови.

— Несправедливый? Это почему же?

— Дядя Джек, ты хороший, и я, наверно, всё равно даже теперь тебя люблю, только ты ничего не понимаешь в детях.

Дядя Джек подбоченился и посмотрел на меня сверху вниз.

— Отчего же это я ничего не понимаю в детях, мисс Джин Луиза? Когда дети ведут себя так, как ты себя вела, тут особенно и понимать нечего. Ты дерзишь, ругаешься и дерёшься...

— Почему ты меня не слушаешь? Я не собираюсь дерзить. Я только хочу объяснить тебе.

Дядя Джек сел на кровать. Сдвинул брови и посмотрел на меня.

— Ну, говори.

Я набрала побольше воздуха.

— Вот. Во-первых, ты меня не выслушал, не дал слова сказать, сразу накинулся. Когда мы с Джимом поссоримся, Аттикус не одного Джима слушает, меня тоже. А во-вторых, ты говорил — никогда не произносить такие слова, если они не аб-со-лют-но необходимы. Фрэнсису абсолютно необходимо было оторвать башку.

Дядя Джек почесал в затылке.

— Ну, рассказывай.

— Фрэнсис обозвал Аттикуса, вот я ему и задала.

— Как он его обозвал?

— Чернолюбом. Я не знаю толком, что это, только он так это сказал... ты так и знай, дядя Джек, хоть убей, а не дам я ему ругать Аттикуса.

— Фрэнсис так и сказал?

— Да, сэр, и ещё много всего. Что Аттикус позор всей семьи, и что мы с Джимом у него одичали...

У дяди Джека стало такое лицо — я подумала, сейчас мне опять попадёт. Потом он сказал:

— Ну, посмотрим, — тут я поняла, что попадёт Фрэнсису. — Пожалуй, я ещё сегодня вечером туда съезжу.

— Пожалуйста, сэр, оставьте всё, как есть. Пожалуйста!

— Нет уж, ничего я так не оставлю, — сказал дядя Джек. — Пускай Александра знает. Надо же додуматься... Ну, погоди, доберусь я до этого мальчишки...

— Дядя Джек, обещай мне одну вещь, ну, пожалуйста! Не говори про это Аттикусу! Он... он меня один раз попросил терпеть и не злиться, что бы про него ни сказали, и... и пускай он думает — мы дрались из-за чего-нибудь ещё! Дай слово, что не скажешь, ну, пожалуйста!...

— Но я не желаю, чтобы Фрэнсису это так сошло...

— А ему и не сошло. Дядя Джек, может, ты мне перевяжешь руку? Ещё немножко кровь идёт.

— Конечно, перевяжу, малышка. С величайшим удовольствием. Нет на свете руки, которую мне так приятно перевязать. Не угодно ли пройти сюда?

Дядя Джек учтиво поклонился и пригласил меня в ванную. Он промыл и перевязал мне пальцы и всё время смешно рассказывал про почтенного близорукого старичка, у которого был кот по имени Бульон и который, отправляясь в город, считал все трещинки на тротуаре.

— Ну, вот и всё, — сказал дядя Джек. — На безымянном пальце настоящей леди полагается носить обручальное кольцо, а у тебя останется шрам.

— Спасибо, сэр. Дядя Джек...

— Да, мэм?

— Что такое потаскуха?

Дядя Джек опять принялся рассказывать что-то длинное про старика премьер-министра, который заседал в палате общин и во время самых бурных дебатов, когда все вокруг с ума сходили, поддувал кверху пёрышки, да так, что они не падали. Наверно, он старался ответить на мой вопрос, но выходило как-то непонятно.

Потом, когда мне уже полагалось спать, я спустилась вниз попить воды и из коридора услышала — в гостиной разговаривали дядя Джек с Аттикусом.

— Я никогда не женюсь, Аттикус.

— Почему?

— Вдруг будут дети...

— Тебе придётся многому поучиться, Джек, — сказал Аттикус.

— Знаю. Твоя дочь преподавала мне сегодня первые уроки. Она сказала, что я ничего не понимаю в детях, и объяснила почему. И она совершенно права. Аттикус, она растолковала мне, как я должен был с ней обращаться... ей-богу, я ужасно жалею, что отшлёпал её.

Аттикус фыркнул.

— Она вполне заслужила трёпку, так что пусть совесть тебя не слишком мучает.

Я замерла: вдруг дядя Джек возьмёт и расскажет Аттикусу... Но он не стал рассказывать. Только пробормотал:

— У неё весьма богатый лексикон. Но половину бранных слов она говорит, не понимая их значения. Она меня спросила, что такое потаскуха.

— Ты объяснил?

— Нет, я рассказал ей про лорда Мелбурна.

— Когда ребёнок о чём-нибудь спрашивает, Джек, ради всего святого, не увиливай, а отвечай. И не заговаривай зубы. Дети есть дети, но они замечают увёртки не хуже взрослых, и всякая увёртка только сбивает их с толку. Нет, — задумчиво продолжал отец, — наказать её сегодня следовало, но только не за то. Все дети в известном возрасте начинают ругаться, а когда поймут, что бранью никого не удивишь, это проходит само собой. А вот вспыльчивость сама не пройдёт. Девочка должна научиться держать себя в руках, да поскорее, ей предстоит несколько трудных месяцев. Впрочем, она понемногу набирается ума-разума. Джим становится старше, и она всё больше берёт с него пример. Ей только надо изредка помочь.

— Аттикус, а ведь ты её никогда и пальцем не тронул?

— Признаться, нет. До сих пор довольно было пригрозить. Она из всех сил старается меня слушаться, Джек. Это у неё далеко не всегда выходит, но она очень старается.

— Но секрет ведь не в этом, — сказал дядя Джек.

— Нет, секрет в другом: она знает, что я знаю, как она старается. А это очень важно. Плохо то, что им с Джимом скоро придётся проглотить много разных гадостей. У Джима, надеюсь, хватит выдержки, но Глазастик, когда заденут её гордость, сразу кидается в драку...

Я думала, тут дядя Джек не смолчит. Но он и на этот раз сдержал слово.

— А будет очень скверно, Аттикус? Ты как-то толком не рассказал.

— Хуже некуда, Джек. У нас только и есть показания негра против показаний Юэлов. Всё сводится к тому, что один твердит — ты это сделал, а другой — нет, не делал. И, конечно, присяжные поверят не Тому Робинсону, а Юэлам... ты имеешь представление об этих Юэлах?

Дядя Джек сказал — да, припоминаю — и стал описывать Аттикусу, какие они. Но Аттикус сказал:

— Ты отстал на целое поколение. Впрочем, нынешние Юэлы ничуть не лучше.

— Так что же ты думаешь делать?

— Прежде чем меня разобьют, я рассчитываю встряхнуть присяжных и вызвать разногласия... притом у нас есть ещё шансы на апелляцию.

Право, сейчас ещё трудно что-либо сказать, Джек. Знаешь, я надеялся, что мне никогда не придётся вести такое дело, но Джон Тейлор прямо указал на меня и сказал, что тут нужен я и никто другой.

— А ты надеялся, что минует тебя чаша сия?

— Вот именно. Но как, по-твоему, мог бы я смотреть в глаза моим детям, если бы отказался? Ты и сам понимаешь, чем это кончится, Джек, и дай им бог пройти через всё это и не озлобиться, а главное, не подхватить извечную мейкомбскую болезнь. Не понимаю, почему разумные люди впадают в буйное помешательство, как только дело коснётся негра... просто понять не могу. Одна надежда, что Джим и Глазастик со всеми вопросами придут ко мне, а не станут слушать, что болтают в городе. Надеюсь, они мне достаточно верят... Джин Луиза!

Я так и подскочила. Заглянула в дверь.

— Да, сэръ?

— Иди спать.

Я побежала к себе и легла. Какой молодец дядя Джек, не выдал меня! Но как Аттикус догадался, что я подслушиваю? Только через много лет я поняла: он говорил для меня, он хотел, чтобы я слышала каждое слово.

Аттикус был слабосильный, ведь ему было уже под пятьдесят. Когда мы с Джимом спросили, почему он такой старый, он сказал — поздно начал, и мы поняли: поэтому ему далеко до других мужчин. Он был много старше родителей наших одноклассников, и, когда другие ребята начинали хвастать — а вот мой отец... — мы волей-неволей помалкивали.

Джим был помешан на футболе. Аттикус о футболе и думать не хотел, а если Джим пытался его затащить, неизменно отвечал:

— Для этого я слишком стар.

Ничем стоящим наш отец не занимался. Работал он в кабинете, а не в аптеке. Хоть бы он водил грузовик, который вывозил мусор на свалки нашего округа, или был шерифом, или на ферме хозяйничал, или работал в гараже — словом, делал бы что-нибудь такое, чем можно гордиться.

И, ко всему, он носил очки. Левым глазом он почти ничего не видел, он говорил, левый глаз — родовое проклятие Финчей. Если надо было что-нибудь получше разглядеть, он поворачивал голову и смотрел одним правым.

Он не делал ничего такого, что делали отцы всех ребят: никогда не ходил на охоту, не играл в покер, не удил рыбу, не пил, не курил. Он сидел в гостиной и читал.

При таких его качествах мы бы уж хотели, чтоб его никто не замечал, так нет же: в тот год вся школа только и говорила про то, что Аттикус защищает Тома Робинсона, и разговоры эти были самые нелестные. Когда я поругалась с Сесилом Джейкобсом, а потом ушла, как последняя трусиха, ребята стали говорить — Глазастик Финч больше драться не будет, ей папочка не велит. Они немного ошиблись: я не могла больше драться на людях, но в семейном кругу дело другое. Всяких двоюродных и пятиродных братьев и сестёр я готова была отдубасить за Аттикуса всласть. Фрэнсис Хенкок, к примеру, попробовал это на себе.

Аттикус подарил нам духовые ружья, а учить нас стрелять не захотел. Поэтому дядя Джек дал нам первые уроки; он сказал — Аттикус ружьями не интересуется. Аттикус сказал Джиму:

— Я бы предпочёл, чтобы ты стрелял на огороде по жестянкам, но знаю, ты начнёшь бить птиц. Если сумеешь попасть в сойку, стреляй их сколько угодно, но помни: убить пересмешника большой грех.

Я впервые слышала, чтоб Аттикус про что-нибудь сказал — грех, и

спросила мисс Моды, почему грех.

— Твой отец прав, — сказала мисс Моды. — Пересмешник — самая безобидная птица, он только поёт нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в овинах, они только и делают, что поют для нас свои песни. Вот поэтому убить пересмешника — грех.

— Мисс Моды, наш квартал очень старый, правда?

— Он существовал, когда и города-то не было.

— Нет, я не про то — на нашей улице все люди старые. Всего и детей — Джим да я. Миссис Дюбоз скоро будет сто лет, и мисс Рейчел тоже старая, и вы, и Аттикус.

— Я бы не сказала, что пятьдесят лет — такая уж старость, — едко заметила мисс Моды. — Меня, кажется, ещё не возят в коляске. И твоего отца тоже. Хотя, надо сказать, слава богу, что этот мой старый склеп сгорел, мне уже не под силу было содержать его в порядке... да, пожалуй, ты права, Джин Луиза, квартал наш очень солидный. Ты ведь почти не видишь молодёжи, правда?

— Вижу, мэм, — в школе.

— Я имею в виду — молодых, но уже взрослых. Вы с Джимом счастливчики, скажу я тебе. Вам повезло, что отец у вас немолодой. Будь ему тридцать, вам жилось бы совсем по-другому.

— Ясно, по-другому, ведь Аттикус ничего не может...

— Ты его не знаешь, — сказала мисс Моды. — Он ещё полон жизни.

— А что он может?

— Ну, например, может так разумно и толково составить для кого-нибудь завещание, что комар носу не подточит.

— Поду-умаешь...

— Ну, хорошо, а известно тебе, что он лучший игрок в шашки во всём нашем городе? Ого, на «Пристани», когда мы были ещё совсем детьми, он мог обыграть кого угодно и на том берегу и на этом.

— Да что вы, мисс Моды, мы с Джимом всегда его обыгрываем!

— Потому что он вам поддаётся, пора бы понимать. А известно тебе, что он умеет играть на окарине?

— Есть чем хвастать! Мне стало только ещё больше стыдно за Аттикуса.

— Ладно же...

— Что ладно, мисс Моды?

— Ничего. Ты, видно, не умеешь гордиться отцом. Не всякий может играть на окарине. А теперь не вертись-ка у плотников под ногами. Беги домой, я сейчас займусь азалиями, и мне некогда будет за тобой смотреть. Ещё доской зашибёт.

Я пошла к нам на задворки, там Джим палил в консервную банку — самое глупое занятие, когда кругом полно соек. Я вернулась в сад и два часа сооружала крепость — на строительство пошла автопокрышка, ящик из-под апельсинов, бельевая корзина, стулья с веранды и маленький национальный флаг с коробки от жареной кукурузы, мне его дал Джим.

Когда Аттикус пришёл обедать, я сидела в крепости и целилась.

— Ты куда метишь?

— В попку мисс Моды.

Аттикус обернулся и увидел мою обширную мишень — мисс Моды склонилась над кустами у себя в саду. Аттикус сдвинул шляпу на затылок и зашагал через улицу.

— Моды, — окликнул он, — хочу тебя предупредить. Тебе грозит серьёзная опасность.

Мисс Моды выпрямилась и поглядела на меня. И сказала:

— Аттикус, ты просто дьявол.

Потом Аттикус вернулся и велел мне переменить позиции.

— И чтоб я больше не видел, что ты в кого бы то ни было целишься из этого оружия, — сказал он.

А хорошо, если б мой отец был просто дьявол! Я стала расспрашивать Кэлпурнию.

— Мистер Финч? Да он всё на свете умеет.

— Ну что, что?

Кэлпурния почесала в затылке.

— Не знаю я толком, — сказала она.

А тут ещё Джим спросил Аттикуса, будет ли он играть за методистов, и Аттикус ответил: нет, он для этого слишком стар и может сломать себе шею. Методисты хотели выкупить заложенный участок при своей церкви и вызвали баптистов сразиться в футбол. В матче должны были участвовать отцы всех мейкомбских ребят, кроме, кажется, одного Аттикуса. Джим сказал — он и смотреть-то не хочет, но где ему было утерпеть, раз играют в футбол, хотя бы и любители! Конечно, он пошёл, и стоял рядом со мной и Аттикусом, и мрачно смотрел, как отец Сесиля Джейкобса забивает голы методистам.

Один раз в субботу мы с Джимом захватили свои ружья и пошли на разведку — может, подкараулим белку или кролика. Миновали дом Рэдди, отошли ещё ярдов на пятьсот, и вдруг я вижу, Джим украдкой поглядывает куда-то в сторону. Повернул голову вбок и скосил глаза.

— Ты что там увидал?

— А вон пёс бежит.

— Это Тим Джонсон, да?

— Угу.

Хозяин Тима, мистер Гарри Джонсон, шофёр мобилского автобуса, жил на южной окраине города. Тим, пойнтер с рыжими подпалинами, был любимцем всего Мейкомба.

— Что это он?

— Не знаю, Глазастик. Давай вернёмся.

— Ну-у, Джим, сейчас февраль.

— Всё равно, надо сказать Кэлпурнии.

Мы побежали домой и ворвались в кухню.

— Кэл, — сказал Джим, — выйди на минутку на улицу, пожалуйста.

— А зачем? Некогда мне каждый раз выходить.

— Там собака, и с ней что-то неладно.

Кэлпурния вздохнула.

— Некогда мне сейчас собачьи лапы перевязывать. В ванной есть марля, возьми сам и перевяжи.

Джим покачал головой.

— Этот пёс болен, Кэл. Что-то с ним неладно.

— А что, он ловит себя за хвост?

— Нет, он делает вот так. — Джим весь сгорбился, изогнулся и стал разевать рот, как золотая рыбка. — Он вот так и идёт, Кэл, и, по-моему, ему это совсем не нравится.

— Ты меня не разыгрываешь, Джим Финч? — Голос у Кэлпурнии стал сердитый.

— Нет, Кэл, честное слово!

— Этот пёс бежит бегом?

— Нет, он как-то трусит рысцой, только очень медленно. Он идёт сюда.

Кэлпурния сполоснула руки и вышла за Джимом во двор.

— Никакого пса не видать, — сказала она.

Мы повели её мимо дома Рэдди, и она поглядела в ту сторону, куда показал Джим. Тим Джонсон был ещё очень далеко, но он шёл к нам. Он двигался как-то вкривь, будто правые лапы у него короче левых. Я подумала: он как автомобиль, который забуксовал на песке.

— Он стал какой-то кривобокий, — сказал Джим.

Кэлпурния вытаращила глаза, потом сгребла нас за плечи и скорей потащила домой. Захлопнула дверь, бросилась к телефону и закричала:

— Дайте контору мистера Финча! Мистер Финч, это Кэл! Как перед богом, на нашей улице бешеная собака... Да, сэр, к нам бежит... Да...

Мистер Финч, вот вам моё честное слово... Тим Джонсон... Да, сэр... Хорошо, сэр... хорошо...

Она повесила трубку, мы стали спрашивать, что говорит Аттикус, а она только головой мотнула. Постучала по рычагу и сказала в трубку:

— Мисс Юла Мэй... нет, мэм, с мистером Финчем я уже поговорила, пожалуйста, больше не соединяйте... Послушайте, мисс Юла Мэй, может, вы позвоните мисс Рейчел, и мисс Стивени Кроуфорд, и у кого там ещё есть телефоны на нашей улице? Скажите им: идёт бешеная собака! Пожалуйста, мэм!

Она послушала немного.

— Знаю, что февраль, мисс Юла Мэй, только я уж знаю, который пёс здоровый, а который бешеный, не ошибусь. Пожалуйста, мэм, поторопитесь!

Потом Кэлпурния спросила Джима:

— А у Рэдли телефон есть?

Джим посмотрел в телефонной книге и сказал — нету.

— Да ведь они из дому не выходят, Кэл.

— Всё равно, надо им сказать.

Она выбежала на веранду, мы с Джимом кинулись было за ней.

— Сидите дома! — прикрикнула она.

Мисс Юла уже передала предупреждение Кэлпурнии всем нашим соседям. Сколько хватал глаз, по всей улице двери были закрыты наглухо. Тима Джонсона нигде не было видно. Кэлпурния подобрала юбки и фартук и бегом кинулась к дому Рэдли. Взбежала на веранду и забарабанила в дверь. Никто не выглянул, и она закричала:

— Мистер Натан! Мистер Артур! Берегитесь, бешеный пёс! Бешеный пёс!

— Ей полагается стучать с заднего крыльца, — сказала я.

Джим покачал головой.

— Сейчас это неважно, — сказал он.

Напрасно Кэлпурния ломилась в дверь. Никто не откликнулся, казалось, никто её и не слышит.

Она помчалась к заднему крыльцу Рэдли, и тут на нашу подъездную дорожку влетел чёрный «форд». Из него вышли Аттикус и мистер Гек Тейт.

Гек Тейт был шериф округа Мейкомб. Высокий, как наш Аттикус, только потоньше и носатый. На нём были высокие сапоги со шнуровкой, с блестящими металлическими глазками, бриджи и охотничья куртка. И пояс с патронами. И в руках огромное ружьё. Они с Аттикусом подошли к крыльцу, и Джим отворил дверь.

— Не выходи, сын, — сказал Аттикус. — Где он, Кэлпурния?

— Сейчас уже, наверно, где-нибудь тут, — и Кэлпурния махнула рукой вдоль улицы.

— Бегом бежит или нет? — спросил мистер Тейт.

— Нет, сэр, мистер Гек, его сейчас корчит.

— Может, пойдём ему навстречу, Гек? — сказал Аттикус.

— Лучше подождём, мистер Финч. Обычно они бегут по прямой, но кто его знает. Может быть, он повернёт, как улица поворачивает, это бы дай бог, а может, его понесёт напрямиком на задворки к Рэдли. Обождём немного.

— Не думаю, чтобы он забежал во двор к Рэдли, — сказал Аттикус. — Забор помешает. Скорее всего двинется по мостовой...

Раньше я думала — у бешеных собак идёт пена изо рта, и они очень быстро бегают, и кидаются на тебя, и хотят перегрызть тебе горло, и всё это бывает в августе. Если б Тим Джонсон был такой, я испугалась бы куда меньше.

Когда на улице ни души и всё затаилось и ждёт чего-то, это очень страшно. Деревья застыли неподвижно, пересмешники и те смолкли, плотники со двора мисс Моды куда-то исчезли. Мистер Тейт чихнул, потом высморкался. И взял ружьё на руку. Потом за стеклом своей парадной двери, точно в рамке, появилась мисс Стивени Кроуфорд. Подошла мисс Моды и стала с нею рядом. Аттикус поставил ногу на перекладину кресла и медленно потёр ладонью колено. И сказал тихо:

— Вот он.

Из-за поворота показался Тим Джонсон, он плёлся по тротуару, огибающему дом Рэдли.

— Смотри-ка, — прошептал Джим. — Мистер Гек говорил, они двигаются по прямой. А он по мостовой и то идти не может.

— По-моему, его просто тошнит, — сказала я.

— Стань ему кто-нибудь поперёк дороги — и он кинется.

Мистер Тейт заслонил глаза ладонью и подался вперёд.

— Так и есть, бешеный.

Тим Джонсон двигался черепашьям шагом, но он не играл с сухими листьями и не нюхал землю. Он будто знал, куда идёт; будто какая-то невидимая сила медленно подталкивала его к нам. Он передёргивался, как лошадь, когда её одолевают слепни; то раскрывал пасть, то закрывал; его кренило набок и всё равно медленно тянуло к нам.

— Он ищет места, где издохнуть, — сказал Джим.

Мистер Тейт обернулся.

— До смерти ему далёко, Джим, он ещё и не начал подышать.

Тим Джонсон доплёлся до проулка перед домом Рэдли и, видно, собирал последние крохи разума, пытаясь сообразить, куда ему теперь податься. Сделал несколько неверных шагов и упёрся в ворота Рэдли; хотел повернуться — не вышло.

Аттикус сказал:

— Теперь его уже можно достать, Гек. Поторопитесь, пока он не свернул в проулок — одному богу известно, кто там может оказаться за углом. Иди в дом, Кэл.

Кэл отворила забранную сеткой дверь, заперла её за собой на засов, опять отодвинула засов и накинула только крючок. Она старалась загородить собою нас с Джимом, но мы выглядывали у неё из-под рук.

— Стреляйте, мистер Финч.

И мистер Тейт протянул Аттикусу ружьё. Мы с Джимом чуть в обморок не упали.

— Не теряйте времени, Гек, — сказал Аттикус. — Бейте, не раздумывайте.

— Мистер Финч, тут надо бить без промаха.

Аттикус сердито замотал головой.

— Не тяните, Гек! Он не станет целый день вас дожидаться...

— Мистер Финч, да вы поглядите, где он стоит! Только промахнись — и угодишь прямо в окно Рэдли. Я не такой меткий стрелок, вы это и сами знаете.

— А я тридцать лет оружия в руки не брал...

Мистер Тейт рывком сунул Аттикусу своё ружьё.

— Вот и возьмите сейчас, мне будет куда спокойнее! — сказал он.

Мы с Джимом смотрели как в тумане... Отец взял ружьё и вышел на середину улицы. Он шёл быстро, а мне казалось, он еле движется, точно под водой, — так тошнотворно ползло время.

Аттикус взялся за очки.

— Боже милостивый, помоги ему, — пробормотала Кэлпурния и прижала ладони к щекам.

Аттикус сдвинул очки на лоб, они соскользнули обратно, и он уронил их на землю. В тишине я услышала — хрустнули стёкла. Аттикус потёр рукой глаза и подбородок и сильно замигал.

У ворот Рэдли Тим Джонсон, как мог, что-то сообразил. Он, наконец, повернулся и двинулся дальше по нашей улице. Сделал два шага, остановился и поднял голову. И весь одеревенел.

Аттикус, кажется, ещё и вскинуть ружьё не успел — и в тот же миг нажал спуск.

Грохнул выстрел. Тим Джонсон подскочил, шлёпнулся наземь и застыл бело-рыжим холмиком. Он даже не узнал, что случилось.

Мистер Тейт спрыгнул с крыльца и кинулся к дому Рэдди. Остановился возле собаки, присел на корточки, обернулся и постукал пальцем себе по лбу над левым глазом.

— Вы взяли чуточку вправо, мистер Финч!

— Всегда этим страдал, — ответил Аттикус. — Будь у меня выбор, я бы предпочёл дробовик.

Он нагнулся, поднял очки, растёр каблуком в пыль осколки стёкол, потом подошёл к мистеру Тейту, остановился и посмотрел на Тима Джонсона.

Одна за другой отворялись двери, улица медленно оживала. Вышли из дому мисс Моды и мисс Стивени. Джим оцепенел. Я его ущипнула, чтоб сдвинуть с места, но Аттикус нас заметил и крикнул:

— Не ходите сюда!

Потом мистер Тейт с Аттикусом вернулись к нам во двор. Мистер Тейт улыбался.

— Я велю Зибо его подобрать, — сказал он. — Не так-то много вы позабыли, мистер Финч. Говорят, этому не разучишься.

Аттикус молчал.

— Аттикус... — начал Джим.

— Что?

— Ничего.

— Любо было на тебя смотреть, Финч Без Промаха!

Аттикус круто обернулся, перед ним стояла мисс Моды. Они молча посмотрели друг на друга, и Аттикус сел в машину шерифа.

— Поди сюда, — сказал он Джиму. — Не смейте подходить к этой собаке, понял? Не смейте к ней подходить, мёртвая она не менее опасна, чем живая.

— Да, сэр, — сказал Джим. — Аттикус...

— Что, сын?

— Ничего.

— Что с тобой, друг, у тебя отнялся язык? — усмехнулся мистер Тейт. — Неужели ты не знал, что отец у тебя...

— Бросьте, Гек, — прервал Аттикус. — Нам пора в город.

Они уехали, а мы с Джимом пошли к дому мисс Стивени. Сели на крыльце и стали ждать Зибо с его машиной.

Джим сидел ошеломлённый и растерянный. Мисс Стивени сказала:

— Гм-гм, бешеная собака в феврале... кто бы мог подумать? Может,

она была никакая не бешеная, она просто так одурела? Но хотела бы я видеть физиономию Гарри Джонсона, когда он вернётся из Мобила и узнает, что Аттикус Финч пристрелил его собаку. Пари держу, пёс просто набрался где-то блох.

Мисс Моды сказала — мисс Стивени запела бы по-другому, если б Тим Джонсон всё ещё гулял по нашей улице, а выяснится всё очень быстро, голову пошлют в Монтгомери.

Джим, наконец, раскрыл рот:

— Видела Аттикуса, Глазастик? Нет, ты видела, как он стоял?... Вдруг его вроде как отпустило, и как будто ружьё не отдельно от него, а тоже его рука... и так быстро всё, раз-раз... а я, прежде чем во что-нибудь попаду, десять минут прицеливаюсь...

Мисс Моды ехидно улыбнулась.

— Ну-с, мисс Джин Луиза, — сказала она, — ты всё ещё думаешь, что твой отец ничего не умеет? И всё ещё его стыдишься?

— Не-е... — кротко сказала я.

— В тот раз я забыла тебе сказать — Аттикус Финч не только играл на окарине, он был в своё время самый меткий стрелок на весь округ Мейкомб.

— Самый меткий стрелок... — эхом повторил Джим.

— Совершенно верно, Джим Финч. Подозреваю, что теперь ты тоже запоёшь другую песенку. Надо же додуматься — вы даже не знаете, что вашего отца ещё мальчишкой прозвали Финч Без Промаха? Да ведь в те времена на «Пристани» он, бывало, если с пятнадцати выстрелов подстрелит только четырнадцать голубей, так уже горюет — ах, я патроны зря трачу!

— Он нам ни разу про это слова не сказал, — пробормотал Джим.

— Вот как? Ни разу ни слова?

— Да, мэм.

— Почему же он никогда не охотится? — удивилась я.

— Пожалуй, я могу тебе это объяснить, — сказала мисс Моды. — Что-то, а твой отец прежде всего благородная душа. Меткость тоже дар божий, талант... Но, конечно, надо его совершенствовать, упражняться, а ведь стрелять в цель — не то что, к примеру, на фортепьяно играть. Я так думаю, в один прекрасный день он понял, что бог дал ему несправедливое преимущество над живыми существами, и тогда он отложил ружьё. Наверно, решил — буду стрелять только в крайности; а вот сегодня была крайность — он и стрелял.

— По-моему, он должен гордиться, — сказала я.

— Одни только дураки гордятся своими талантами, — сказала мисс Моды.

Подкатил мусорщик Зибо. Он достал из машины вилы и осторожно поддел ими Тима Джонсона. Кинул его в кузов, потом полил чем-то из бидона землю на том месте, где Тим упал, и вокруг тоже.

— Покуда никто сюда не подходит! — крикнул он.

Мы пошли домой, и я сказала Джиму — вот теперь нам будет что порассказать в понедельник в школе, и вдруг Джим на меня как накинется:

— И не думай рассказывать!

— Ещё чего! Непременно расскажу! Не у всех папа самый меткий стрелок в целом округе!

— По-моему, — сказал Джим, — если б он хотел, чтоб мы про это знали, он сам бы нам рассказал. Если б он этим гордился, так рассказал бы.

— Может, он просто забыл, — сказала я.

— Э, нет, Глазастик, тебе этого не понять. Аттикус и правда старый, но мне всё равно, чего он там не умеет, мне всё равно, пускай он ничего на свете не умеет.

Джим подобрал камень и с торжеством запустил им в гараж. Побежал за ним и на бегу крикнул через плечо:

— Аттикус — джентльмен, совсем как я!

Когда мы с Джимом были маленькие, мы не отходили далеко от дома, но когда я училась во втором классе и мы давно уже перестали мучить Страшилу Рэдди, нас стало тянуть в центр города, а дорога в ту сторону вела мимо миссис Генри Лафайет Дюбоз. Её никак было не обойти, разве что дать добрую милю крюку. У меня с миссис Дюбоз уже бывали кое-какие столкновения, и мне вовсе не хотелось знакомиться с нею ближе, но Джим сказал, надо же когда-нибудь и вырасти.

Миссис Дюбоз жила одна с прислугой негритяжкой через два дома от нас, в домике с открытой террасой, на которую надо было подниматься по крутым-прекрутым ступенькам. Она была старая-престарая и весь день проводила в постели или в кресле на колёсах. Говорили, среди своих бесчисленных шалей и одеял она прячет старинный пистолет, с ним кто-то из её родных сражался в Южной армии.

Мы с Джимом её терпеть не могли. Идёшь мимо, а она сидит на террасе и сверлит тебя злым взглядом, и непременно пристанет — а как мы себя ведём? — и начнёт каркать, что из нас выйдет, когда мы вырастем, — уж конечно, ничего хорошего! А ходить мимо неё по другой стороне улицы тоже смысла не было — тогда она начинала орать на весь квартал.

Ей никак нельзя было угодить. Скажешь ей самым весёлым голосом: «Привет, миссис Дюбоз!» А она в ответ: «Не смей говорить мне «привет», скверная девчонка! Надо говорить: «Добрый день, миссис Дюбоз!»

Она была злая-презлая. Один раз она услышала, что Джим называет отца просто по имени, так её чуть не хватил удар. Свет не видал таких дерзких, нахальных дурней, как мы, сказала она, и очень жалко, что наш отец после смерти матери не женился второй раз! Наша мать была о-ча-ро-вательная женщина, и просто обидно смотреть, что Аттикус Финч так распустил её детей! Я не помнила маму, но Джим помнил, он мне иногда про неё рассказывал, и от таких слов миссис Дюбоз он весь побелел.

После Страшилы Рэдди, бешеного пса и всяких других ужасов Джим решил — хватит нам застревать у дома мисс Рейчел, трусы мы, что ли! Будем каждый вечер бегать на угол к почте встречать Аттикуса. И уж сколько раз бывало — миссис Дюбоз чего только не наговорит, когда мы идём мимо, и Джим встречает Аттикуса злой как чёрт.

— Спокойнее, сын, — говорил ему тогда Аттикус. — Она больная и старая женщина. И ты знай держи голову выше и будь джентльменом. Что

бы она тебе ни сказала, твоё дело не терять самообладания.

Джим говорил, не такая уж она больная, больные так не орут. Потом мы втроём подходили к её дому, Аттикус учтиво снимал шляпу, кланялся ей и говорил:

— Добрый вечер, миссис Дюбоз! Вы сегодня выглядите прямо как картинка.

Он никогда не говорил, какая картинка. Он рассказывал ей про всякие судебные новости и выражал надежду, что завтра она будет чувствовать себя хорошо. Потом надевал шляпу, прямо перед носом миссис Дюбоз сажал меня на плечи, и мы в сумерках шагали домой. Вот в такие вечера я думала: хоть мой отец терпеть не может оружия и никогда не воевал, а всё равно он самый храбрый человек на свете.

Когда Джиму исполнилось двенадцать, ему подарили деньги; они жгли ему карман, и на другой день мы отправились в город. Джим думал, ему хватит на маленькую модель парового двигателя и ещё на жезл тамбурмажора для меня.

Я давно заглядывалась на этот жезл, он был выставлен в витрине у Элмора, украшен цехинами и мишурой и стоил семнадцать центов. Ох, как я мечтала поскорей вырасти и дирижировать Оркестром учащихся средних школ округа Мейкомб! Я давно уже упражнялась в дирижёрском искусстве и научилась подбрасывать палку высоко в воздух и почти что ловить её; Кэлпурния как увидит меня с палкой в руках, так и в дом не пускает. Но я знала — будь у меня настоящий жезл, уж я его не уроню, и со стороны Джима было очень благородно сделать мне такой подарок.

Когда мы шли мимо дома миссис Дюбоз, она сидела на террасе.

— Вы куда это собрались в такую пору? — закричала она. — Верно, лодыря гоняете? Вот позвоню сейчас директору школы!

Лицо у неё стало такое, словно мы невесть что натворили, и она уже собралась катить своё кресло к телефону.

— Да ведь сегодня суббота, миссис Дюбоз, — сказал Джим.

— А хотя бы и суббота, — туманно ответила она. — Интересно, знает ли ваш отец, где вас носит?

— Миссис Дюбоз, мы ходили одни в город, ещё когда были вот такими, — Джим показал ладонью фута на два от земли.

— Не лги мне! — завопила она. — Джереми Финч. Моды Эткинсон сказала мне, что ты сегодня сломал у неё виноградную лозу. Она пожалуется твоему отцу, и тогда ты пожалеешь, что родился на свет! Я не я буду, если тебя через неделю не отошлют в исправительный дом.

Джим с самого лета даже близко не подходил к винограду мисс Моды,

а если бы он и сломал лозу, он знал — мисс Моды не станет жаловаться Аттикусу, и он так и сказал — это всё неправда.

— Не смей мне перечить! — завопила миссис Дюбоз. — А ты, — она ткнула в мою сторону скрюченным пальцем, — ты чего это расхаживаешь в штанах, как мальчишка? Молодой леди полагается ходить в корсаже и в юбочке. Если кто-нибудь не возьмётся всерьёз за твоё воспитание, из тебя выйдет разве что прислуга — девица Финч будет прислуживать в забегаловке, ха-ха!

Я похолодела от ужаса. Забегаловка — это было таинственное заведение на северном краю городской площади. Я вцепилась в руку Джима, но он рывком высвободился.

— Ну, ну, Глазастик! — шепнул он. — Не обращай на неё внимания, знай держи голову выше и будь джентльменом.

Но миссис Дюбоз не дала нам уйти.

— До чего докатились Финчи! Мало того, что одна прислуживает в забегаловке, так ещё другой в суде выгораживает черномазых!

Джим выпрямился и застыл. Миссис Дюбоз попала в самое больное место, и она это знала.

— Да, да, вот до чего дошло — Финч идёт наперекор всем традициям семьи! — Она поднесла руку ко рту, потом отняла — за рукой потянулась блестящая нить слюны. — Вот что я тебе скажу: твой отец стал ничуть не лучше черномазых и всяких белых подонков, которых он обслуживает!

Джим сделался красный как рак. Я потянула его за рукав, и мы пошли, а вслед нам неслись громы и молнии: наша семья выродилась и пала — ниже некуда, половина Финчей вообще сидит в сумасшедшем доме, но будь жива наша мать, мы бы так не распустились.

Не знаю, что больше всего возмутило Джима, а я страшно обиделась на миссис Дюбоз — почему она всех нас считает сумасшедшими? Аттикуса ругали без конца, я почти уже привыкла. Но это впервые при мне его оскорбил взрослый человек. Не начни она бранить Аттикуса, мы бы её крику не удивились — не впервой.

В воздухе запахло летом — в тени ещё холодно, но солнце пригревает, значит, близится хорошее время: кончится школа, приедет Дилл.

Джим купил модель парового двигателя, и мы пошли к Элмору за моим жезлом. Джиму его машина не доставила никакого удовольствия, он запихнул её в карман и молча шагал рядом со мной к дому. По дороге я чуть не стукнула мистера Линка Диза — не успела подхватить жезл, и мистер Линк Диз сказал:

— Поосторожнее, Глазастик!

Когда мы подходили к дому миссис Дюбоз, мой жезл был уже весь чумазый, столько раз я его поднимала из грязи.

На террасе миссис Дюбоз не было.

Потом я не раз спрашивала себя, что заставило Джима преступить отцовское «Будь джентльменом, сын» и нарушить правила застенчивого благородства, которых он с недавних пор так старательно держался. Вероятно, Джим не меньше меня натерпелся от злых языков, поносивших Аттикуса за то, что он вступается за черномазых, но я привыкла к тому, что брат неизменно сохраняет хладнокровие — он всегда был спокойного нрава и совсем не вспыльчивый, Думаю, тому, что тогда произошло, есть единственное объяснение — на несколько минут он просто обезумел.

То, что сделал Джим, я бы сделала запросто, если бы не запрет Аттикуса. Нам, конечно, не полагалось воевать с отвратительными старухами. Так вот, едва мы поравнялись с калиткой миссис Дюбоз, Джим выхватил у меня жезл и, неистово размахивая им, ворвался к ней во двор — он забыл все наставления Аттикуса, забыл, что под своими шальями миссис Дюбоз прячет пистолет и что если сама она может промахнуться, то её служанка Джесси, вероятно, промаха не даст.

Он немного опомнился лишь тогда, когда побивал верхушки со всех камелий миссис Дюбоз, так что весь двор был усыпан зелёными бутонами и листьями. Тогда он переломил мой жезл о коленку и швырнул обломки наземь.

К этому времени я подняла визг. Джим дёрнул меня за волосы, сказал — ему всё равно, при случае он ещё раз сделает то же самое, а если я не замолчу, он все вихры у меня выдерет. Я не замолчала, и он наподдал мне ногой. Я не удержалась и упала носом на тротуар. Джим рывком поднял меня на ноги, но, кажется, ему стало меня жалко. Говорить было не о чем.

В тот вечер мы предпочли не встречать Аттикуса. Мы торчали в кухне, пока нас Кэлпурния не выгнала. Она, точно колдунья какая-то, видно, уже обо всём проведала. Она не бог весть как умела утешать, но всё-таки сунула Джиму кусок поджаренного хлеба с маслом, а Джим разломил его и отдал половину мне. Вкуса я никакого не почувствовала.

Мы пошли в гостиную.

Я взяла футбольный журнал, нашла портрет Дикси Хоуэлла и показала Джиму!

— Очень похож на тебя.

Кажется, ничего приятнее для него нельзя было придумать. Но это не помогло. Он сидел у окна в качалке, весь сгорбился, хмурился и ждал. Смеркалось.

Миновали две геологические эпохи, и на крыльце послышались шаги Аттикуса. Хлопнула дверь, на минуту всё стихло — Аттикус подошёл к вешалке в прихожей; потом он позвал:

— Джим!

Голос у него был как зимний ветер.

Аттикус повернул выключатель в гостиной и поглядел на нас, а мы застыли и не шевелились. В одной руке у него был мой жезл, перепачканная жёлтая кисть волочилась по ковру. Аттикус протянул другую руку — на ладони лежали пухлые бутоны камелий.

— Джим, — сказал Аттикус, — это твоя работа?

— Да, сэр.

— Зачем ты это сделал?

Джим сказал совсем тихо:

— Она сказала, что ты выгораживаешь черномазых и подонков.

— И поэтому ты так поступил?

Джим беззвучно пошевелил губами, это значило «да, сэр».

Аттикус сказал:

— Я понимаю, сын, твои сверстники сильно донимают тебя из-за того, что я «выгораживаю черномазых», как ты выразился, но поступить так с больной старой женщиной — это непростительно. Очень советую тебе пойти поговорить с миссис Дюбоз. После этого сразу возвращайся домой.

Джим не шелохнулся.

— Иди, я сказал.

Я пошла из гостиной за Джимом.

— Остайся здесь, — сказал мне Аттикус.

Я осталась.

Аттикус взял газету и сел в качалку, в которой раньше сидел Джим. Хоть убейте, я его не понимала: преспокойно сидит и читает, а его единственного сына сейчас, конечно, застрелят из старого ржавого пистолета. Правда, бывало, Джим так меня раздражит — сама бы его убила, но ведь, если разобраться, у меня, кроме него, никого нет. Аттикус, видно, этого не понимает или ему всё равно.

Это было отвратительно с его стороны. Но когда у тебя несчастье, быстро устаёшь: скоро я уже съёжилась у него на коленях, и он меня обнял.

— Ты уже слишком большая, чтобы тебя укачивать на руках, — сказал он.

— Тебе всё равно, что с ним будет, — сказала я. — Послал его на верную смерть, а он ведь за тебя заступился.

Аттикус крепче прижал меня к себе, и я не видела его лица.

— Подожди волноваться, — сказал он. — Вот не думал, что Джим из-за этого потеряет самообладание... Я думал, с тобой у меня будет больше хлопот.

Я сказала, почему это другим ребятам вовсе не надо никакого самообладания, только нам одним нельзя его терять?

— Слушай, Глазастик, — сказал Аттикус, — скоро лето, и тогда тебе придётся терпеть вещи похуже и всё-таки не терять самообладания... Я знаю, несправедливо, что вам обоим так достаётся, но иногда надо собрать всё своё мужество, и от того, как мы ведём себя в трудный час, зависит... словом, одно тебе скажу: когда вы с Джимом станете взрослыми, может быть, вы вспомните обо всём этом по-хорошему и поймёте, что я вас не предал. Это дело, дело Тома Робинсона, взывает к нашей совести... Если я не постараюсь помочь этому человеку, Глазастик, я не смогу больше ходить в церковь и молиться.

— Аттикус, ты, наверно, не прав.

— Как так?

— Ну, ведь почти все думают, что они правы, а ты нет...

— Они имеют право так думать, и их мнение, безусловно, надо уважать, — сказал Аттикус. — Но чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой. Есть у человека нечто такое, что не подчиняется большинству, — это его совесть.

Когда вернулся Джим, я всё ещё сидела на коленях у Аттикуса.

— Ну что, сын? — сказал Аттикус.

Он спустил меня на пол, и я исподтишка оглядела Джима. Он был цел и невредим, только лицо какое-то странное. Может быть, она заставила его выпить касторки.

— Я там у неё всё убрал и извинился, но я всё равно не виноват. И я буду работать у неё в саду каждую субботу и постараюсь, чтобы эти камелии опять выросли.

— Если не считаешь себя виноватым, незачем извиняться, — сказал Аттикус. — Джим, она больная и старая. Она не всегда может отвечать за свои слова и поступки. Конечно, я предпочёл бы, чтобы она сказала это мне, а не вам с Глазастиком, но в жизни не всё выходит так, как нам хочется.

Джим никак не мог отвести глаз от розы на ковре.

— Аттикус, — сказал он, — она хочет, чтобы я ей читал.

— Читал?

— Да, сэр. Чтобы я приходил каждый день после школы, и ещё в субботу, и читал ей два часа вслух. Аттикус, неужели это надо?

— Разумеется.

— Но она хочет, чтобы я ходил к ней целый месяц.

— Значит, будешь ходить месяц.

Джим аккуратно упёрся носком башмака в самую серединку розы и надавил на неё. Потом, наконец, сказал:

— Знаешь, Аттикус, с улицы поглядеть — ещё ничего, а внутри... всюду темнота, даже как-то жутко. И всюду тени, и на потолке...

Аттикус хмуро улыбнулся.

— Тебе это должно нравиться, ведь у тебя такая богатая фантазия. Вообрази, что ты в доме Рэдли.

В понедельник мы с Джимом поднялись по крутым ступенькам на террасу миссис Дюбоз, Джим, вооружённый томом «Айвенго» и гордый тем, что он уже всё здесь знает, постучался во вторую дверь слева.

— Миссис Дюбоз! — крикнул он.

Джесси отворила входную дверь, отодвинула засов второй, сетчатой.

— Это вы, Джим Финч? — сказала она. — И сестру привели? Вот уж не знаю...

— Впусти обоих, — сказала миссис Дюбоз.

Джесси впустила нас и ушла в кухню.

Едва мы переступили порог, нас обдало тяжёлым душным запахом, так пахнет в старых, гнилых от сырости домах, где жгут керосиновые лампы, воду черпают ковшом из кадки и спят на простынях из небелёной холстины. Этот запах меня всегда пугал и настораживал.

В углу комнаты стояла медная кровать, а на кровати лежала миссис Дюбоз. Может, она слегла из-за Джима? На минуту мне даже стало её жалко. Она была укрыта горой пуховых одеял и смотрела почти дружелюбно.

Возле кровати стоял мраморный умывальный столик, а на нём стакан с чайной ложкой, ушная спринцовка из красной резины, коробка с ватой и стальной будильник на трёх ножках.

— Стало быть, ты привёл свою чумазую сестру, а? — так поздоровалась с Джимом миссис Дюбоз.

— Моя сестра не чумазая, и я вас не боюсь, — спокойно сказал Джим, а у самого дрожали коленки, я видела.

Я думала, она станет браниться, но она только сказала:

— Можешь начинать, Джереми.

Джим сел в плетёное кресло и раскрыл «Айвенго». Я придвинула второе кресло и села рядом с ним.

— Сядь поближе, — сказала Джиму миссис Дюбоз. — Вон тут, возле

кровати.

Мы придвинулись ближе. Никогда ещё я не видела её так близко, и больше всего на свете мне хотелось отодвинуться.

Она была ужасная. Лицо серое, точно грязная наволочка, в уголках губ блестит слюна и медленно, как ледник, сползает в глубокие ущелья по обе стороны подбородка. На щеках от старости бурые пятна, в бесцветных глазах крохотные острые зрачки — как иголки. Руки узловатые, ногти все заросли. Она не вставила нижнюю челюсть, и верхняя губа выдавалась вперёд; время от времени она подтягивала нижнюю губу и трогала ею верхнюю вставную челюсть. Тогда подбородок выдавался вперёд, и слюна текла быстрее.

Я старалась на неё не смотреть. Джим опять раскрыл «Айвенго» и начал читать. Я пробовала следить глазами, но он читал слишком быстро. Если попадалось незнакомое слово, Джим через него перескакивал, но миссис Дюбоз уличала его и заставляла прочесть по буквам. Джим читал уже, наверно, минут двадцать, а я смотрела то на закопчённый камин, то в окно — куда угодно, лишь бы не видеть миссис Дюбоз. Она всё реже поправляла Джима, один раз он не дочитал фразу до конца, а она и не заметила. Она больше не слушала. Я поглядела на кровать.

С миссис Дюбоз что-то случилось. Она лежала на спине, укрытая одеялами до подбородка. Видно было только голову и плечи. Голова медленно поворачивалась то вправо, то влево. Иногда миссис Дюбоз широко открывала рот, и видно было, как шевелится язык. На губах собиралась слюна, миссис Дюбоз втягивала её и опять открывала рот. Как будто её рот жил сам по себе, отдельно, открывался и закрывался, точно двустворчатая раковина во время отлива. Иногда он говорил «Пт...», как будто в нём закипала каша.

Я потянула Джима за рукав.

Он поглядел на меня, потом на кровать. Голова опять повернулась в нашу сторону, и Джим сказал:

— Миссис Дюбоз, вам плохо?

Она не слышала.

Вдруг зазвонил будильник, мы в испуге застыли. Через минуту, всё ещё ошарашенные, мы уже шагали домой. Мы не удрали, нас отослала Джесси: не успел отзвонить будильник, а она была уже в комнате и прямо вытолкала нас.

— Идите, идите, — сказала она. — Пора домой.

В дверях Джим было замешкался.

— Ей пора принимать лекарство, — сказала Джесси.

Дверь за нами захлопнулась, но я успела увидеть — Джесси быстро пошла к кровати.

Мы вернулись домой; было только без четверти четыре, и мы гоняли на задворках футбольный мяч, пока не пришло время встречать Аттикуса. Он принёс мне два жёлтых карандаша, а Джиму футбольный журнал, он ничего не сказал, но, по-моему, это было нам за то, что мы сидели у миссис Дюбоз. Джим рассказал Аттикусу, как было дело.

— Она вас напугала? — спросил Аттикус.

— Нет, сэр, — сказал Джим, — но она такая противная. У неё какие-то припадки, что ли. Она всё время пускает слюну.

— Она не виновата. Когда человек болен, на него не всегда приятно смотреть.

— Она очень страшная, — сказала я.

Аттикус поглядел на меня поверх очков.

— Тебе ведь не обязательно ходить с Джимом.

На другой день у миссис Дюбоз было всё то же самое, и на третий то же, и понемногу мы привыкли: всё идёт своим чередом, сперва миссис Дюбоз изводит Джима разговорами про свои камелии и про то, как наш отец обожает черномазых; язык у неё ворочается всё медленнее, она умолкает, а потом и вовсе забывает про нас. Звонит будильник, Джесси поспешно выставляет нас, и после этого мы можем делать, что хотим.

— Аттикус, — спросила я как-то вечером, — что значит чернолюб?

Лицо у Аттикуса стало серьёзное.

— Тебя кто-нибудь так называет?

— Нет, сэр, Это миссис Дюбоз так называет тебя. Она каждый день обзывает тебя чернолюбом и злится. А меня Фрэнсис обозвал на рождество, раньше я этого слова даже не слыхала.

— И поэтому ты тогда на него накинулась? — спросил Аттикус.

— Да, сэр...

— Почему же ты спрашиваешь, что это значит?

Я стала объяснять — меня взбесило не это слово, а как Фрэнсис его сказал.

— Как будто он выругался сморкачом или вроде этого.

— Видишь ли, Глазастик, — сказал Аттикус, — «чернолюб» слово бессмысленное, так же как и «сморкач». Как бы тебе объяснить... Дрянные, невежественные люди называют чернолюбями тех, кто, по их мнению, чересчур хорошо относится к неграм — лучше, чем к ним. Так называют людей вроде нас, когда стараются придумать кличку поглубже, пообиднее.

— Но ведь на самом деле ты не чернолюб?

— Конечно, я чернолюб. Я стараюсь любить всех людей... Иногда обо мне очень плохо говорят... Понимаешь, малышка, если кто-то называет тебя словом, которое ему кажется бранным, это вовсе не оскорбление. Это не обидно, а только показывает, какой этот человек жалкий. Так что ты не огорчайся, когда миссис Дюбоз бранится. У неё довольно своих несчастий.

Однажды, почти через месяц, Джим одолевал сэра Вальтера Скаута (так он его окрестил), а миссис Дюбоз придиралась и поправляла его на каждом слове, и вдруг в дверь постучали.

— Войдите! — визгливо закричала она.

Это был Аттикус. Он подошёл к кровати и осторожно пожал руку миссис Дюбоз.

— Я возвращался с работы, вижу — дети меня не встречают, — сказал он. — Я так и подумал, что они, наверно, ещё здесь.

Миссис Дюбоз ему улыбнулась. Я совсем растерялась — как же она с ним разговаривает, ведь она его терпеть не может?!

— Знаете, который час, Аттикус? — сказала она. — Ровно четырнадцать минут шестого. Будильник заведён на половину шестого. Имейте в виду.

Я вдруг сообразила: а ведь каждый день мы задерживаемся у миссис Дюбоз немного дольше, каждый день будильник звонит на пять минут позже, чем накануне, и к этому времени у неё уже всегда начинается припадок. Сегодня она шпыняла Джима почти два часа, а припадка всё не было, в какую же ловушку мы попались! Вдруг — настанет такой день, когда будильник вовсе не зазвонит, что нам тогда делать?

— Мне казалось, Джим должен читать ровно месяц, — сказал Аттикус.

— Надо бы ещё неделю, — сказала она. — Для верности...

Джим вскочил.

— Но...

Аттикус поднял руку, и Джим замолчал. По дороге домой он сказал — уговор был читать ровно месяц, а месяц прошёл, и это нечестно.

— Ещё только неделю, сын, — сказал Аттикус.

— Нет, — сказал Джим.

— Да, — сказал Аттикус.

На следующей неделе мы опять ходили к миссис Дюбоз. Будильник больше не звонил, миссис Дюбоз просто говорила — хватит, отпускала нас, и, когда мы возвращались домой, Аттикус уже сидел в качалке и читал газету. Хоть припадки и кончились, миссис Дюбоз была всё такая же несносная; когда сэр Вальтер Скотт ударялся в нескончаемые описания

рвов и замков, ей становилось скучно, и она принималась нас шпынять:

— Говорила я тебе, Джереми Финч, ты ещё пожалеешь, что переломал мои камелии. Теперь-то ты жалеешь, а?

Джим отвечал — ещё как жалеет.

— Ты думал, что загубил мой «горный снег», а? Так вот, Джесси говорит, куст опять покрылся бутонами. В следующий раз ты будешь знать, как взяться за дело, а? Выдернешь весь куст с корнями, а?

И Джим отвечал — да, непременно.

— Не бормочи себе под нос! Смотри мне в глаза и отвечай: «Да, мэм!» Хотя где уж тебе смотреть людям в глаза, когда у тебя такой отец.

Джим вскидывал голову и встречался взглядом с миссис Дюбоз, и совсем не видно было, что он злится. За эти недели он научился самые устрашающие и невероятные выдумки миссис Дюбоз выслушивать с таким вот вежливым и невозмутимым видом.

И вот настал долгожданный день. Однажды миссис Дюбоз сказала:

— Хватит, — и прибавила: — Теперь всё. До свиданья.

Гора с плеч! Мы помчались домой, мы прыгали, скакали и вопили от радости.

Хорошая была эта весна, дни становились всё длиннее, и у нас оставалось много времени на игры. Джим непрестанно занимался подсчётами величайшей важности, он знал наизусть всех футболистов во всех студенческих командах по всей Америке. Каждый вечер Аттикус читал нам вслух спортивные страницы газет. Судя по предполагаемому составу (имена этих игроков мы и выговорить-то не могли), команда штата Алабама, пожалуй, этим летом опять завоюет Розовый кубок. Однажды вечером, когда Аттикус дочитал до половины обзор Уинди Ситона, зазвонил телефон.

Аттикус поговорил по телефону, вышел в прихожую и взял с вешалки шляпу.

— Я иду к миссис Дюбоз, — сказал он. — Скоро вернусь.

Но мне давно уже пора было спать, а он всё не возвращался. А когда вернулся, в руках у него была конфетная коробка. Он прошёл в гостиную, сел и поставил коробку на пол возле своего стула.

— Чего ей было надо? — спросил Джим.

Мы с ним не видели миссис Дюбоз больше месяца. Сколько раз проходили мимо её дома, но она никогда теперь не сидела на террасе.

— Она умерла, сын, — сказал Аттикус. — Только что.

— А... — сказал Джим. — Хорошо.

— Ты прав, это хорошо, — сказал Аттикус. — Она больше не страдает.

Она была больна очень долго. Знаешь, что у неё были за припадки?

Джим покачал головой.

— Миссис Дюбоз была морфинистка, — сказал Аттикус. — Много лет она принимала морфий, чтобы утолить боль. Ей доктор прописал. Она могла принимать морфий до конца дней своих и умерла бы не в таких мучениях, но у неё для этого был слишком независимый характер...

— Как так? — спросил Джим.

Аттикус сказал:

— Незадолго до той твоей выходки она попросила меня составить завещание. Доктор Рейнолдс сказал, что ей осталось жить всего месяца два-три. Все её материальные дела были в идеальном порядке, но она сказала: «Есть один непорядок».

— Какой же? — в недоумении спросил Джим.

— Она сказала, что хочет уйти из жизни, ничем никому и ничему не обязанная. Когда человек так тяжело болен, Джим, он вправе принимать любые средства, лишь бы облегчить свои мучения, но она решила иначе. Она сказала, что перед смертью избавится от этой привычки, — и избавилась.

Джим сказал:

— Значит, от этого у неё и делались припадки?

— Да, от этого. Когда ты читал ей вслух, она большую часть времени ни слова не слыхала. Всем существом она ждала, когда же наконец зазвонит будильник. Если бы ты ей не попался, я всё равно заставил бы тебя читать ей вслух. Может быть, это её немного отвлекало. Была и ещё одна причина...

— И она умерла свободной? — спросил Джим.

— Как ветер, — сказал Аттикус. — И почти до самого конца не теряла сознания. — Он улыбнулся. — И не переставала браниться. Всячески меня порицала и напрогочила, что ты у меня вырастешь арестантом и я до конца дней моих должен буду брать тебя на поруки. Она велела Джесси упаковать для тебя эту коробку...

Аттикус наклонился, поднял конфетную коробку и передал её Джиму.

Джим открыл коробку. Там на влажной вате лежала белоснежная, прозрачная красавица камелия «горный снег».

У Джима чуть глаза не выскочили на лоб. Он отшвырнул цветок.

— Старая чертовка! — завопил он. — Ну что она ко мне привязалась?!

Аттикус мигом вскочил и наклонился к нему, Джим уткнулся ему в грудь.

— Ш-ш, тише, — сказал Аттикус. — По-моему, она хотела этим

сказать тебе — всё хорошо, Джим, теперь всё хорошо. Знаешь, она была настоящая леди.

— Леди?! — Джим поднял голову. Он был красный как рак. — Она про тебя такое говорила, и, по-твоему, она — леди?

— Да. Она на многое смотрела по-своему, быть может, совсем не так, как я... Сын, я уже сказал тебе: если бы ты тогда не потерял голову, я бы всё равно посылал тебя читать ей вслух. Я хотел, чтобы ты кое-что в ней понял, хотел, чтобы ты увидел подлинное мужество, а не воображал, будто мужество — это когда у человека в руках ружьё. Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и всё-таки берёшься за дело и наперекор всему на свете идёшь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда всё-таки побеждаешь. Миссис Дюбоз победила. По её воззрениям, она умерла, ничем никому и ничему не обязанная. Я никогда не встречал человека столь мужественного.

Джим поднял с полу коробку и кинул в камин. Поднял камелию, и, когда я уходила спать, он сидел и осторожно перебирал широко раскрывшиеся лепестки. Аттикус читал газету.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Джиму теперь было двенадцать. С ним стало трудно ладить — то он злился, то дулся, настроение у него менялось пятнадцать раз на день. Ел он так много и жадно, даже смотреть было страшно, и всё огрызался — не приставай ко мне! — так что я не выдержала и спросила Аттикуса:

— Может, в нём сидит солитёр?

Аттикус сказал — нет, просто Джим растёт, и надо набраться терпенья и поменьше ему докучать.

И ведь он переменялся так за какой-нибудь месяц. Миссис Дюбоз похоронили совсем недавно, а пока Джим ходил читать ей вслух, он, кажется, был очень доволен, что я тоже с ним хожу. И вдруг чуть не за одну ночь у него появились какие-то новые, непонятные убеждения, и он стал навязывать их мне, иной раз даже принимался поучать — делай то, не делай этого! Как-то мы поспорили, и Джим заорал:

— Научись ты вести себя, как полагается девочке! Пора уж!

Я разревелась и побежала к Кэлпурнии.

— Ты не очень-то расстраивайся из-за мистера Джима, — начала она.

— Мис-те-ра?!

— Да, он уже почти что мистер.

— Он ещё не дорос до мистера, — сказала я. — Просто его надо отлупить, а я не могу, я ещё не такая большая.

— Мистер Джим становится взрослый, тут уж ничего не поделаешь, малышка, — сказала Кэлпурния. — Теперь он захочет быть сам по себе, и у него пойдут свои дела, все мальчишки такие. А ты, когда заскучаешь, приходи сюда. У нас с тобой тут работы найдётся сколько хочешь.

Лето обещало быть не таким уж плохим; Джим пускай делает что хочет, а пока не приедет Дилл, я и с Кэлпурнией проживу. Она как будто даже радовалась, когда я приходила в кухню, а я смотрела, как она там хлопочет, и думала — пожалуй, девочкой быть не так-то просто.

Но вот и лето, а Дилл не едет и не едет. Только прислал письмо и карточку. У него новый папа — это он снят на карточке, — и Диллу придётся на лето остаться в Меридиане, потому что они задумали смастерить лодку для рыбной ловли. Новый отец Дилла — адвокат, как Аттикус, только не такой старый. На карточке отец Дилла был славный, хорошо, что Дилл такого заполучил, но я была в отчаянии. Под конец Дилл писал — он будет любить меня вечно, и чтоб я не огорчалась, он скопит

денег, приедет и женится на мне, так что, пожалуйста, пиши письма.

Конечно, я всё равно невеста, но от этого мало радости, если Дилла тут нет. Прежде я как-то не замечала, что лето — это значит, у пруда сидит Дилл и курит сигарету из бечёвки, и глаза у него блестят, сразу видно — опять придумал, как выманить из дому Страшилу Рэдли; лето — значит, стоит Джиму отвернуться, Дилл торопливо чмокнет меня в щёку, и иногда мы минуты не можем жить друг без друга. С Диллом жизнь была проста и понятна, без него жизнь стала невыносимая. Целых два дня я была несчастна.

А ко всему законодательное собрание штата собралось на какую-то внеочередную сессию, и Аттикус уехал на две недели. Губернатору вздумалось устроить приборку и избавиться от кое-каких ракушек, присосавшихся к днищу государственного корабля; в Бирмингеме начались сидячие забастовки; в городах всё росли очереди безработных за бесплатным супом и куском хлеба; фермеры всё нищали. Но события эти происходили в мире, очень далёком от нас с Джимом.

Однажды утром мы с изумлением увидели в «Монтгомери эдвертайзер» карикатуру, под которой стояло: «Мейкомбский Финч». Аттикус — босой, в коротких штанишках, прикованный цепями к парте, — прилежно писал что-то на грифельной доске, а какие-то легкомысленные девчонки дразнили его и улюлюкали.

— Это комплимент, — объяснил Джим. — Он всегда берётся за такие дела, за которые никто больше не берётся.

— Это как?

Ко всем своим новым качествам Джим ещё и заважничал так, будто он один на свете умный — прямо даже зло брало.

— Ну, Глазастик, это вроде того, как перестраивать налоговую систему в округах и всякое такое. Большинство людей этим не интересуется.

— А ты почём знаешь?

— Ах, отстань, видишь, я читаю газету.

Ладно, будь по-твоему. Я ушла от него на кухню. Кэлпурния лущила горох и вдруг сказала:

— Что же мне с вами делать в воскресенье, как вы в церковь пойдёте?

— Да очень просто. Деньги на церковную кружку нам Аттикус оставил.

Кэлпурния прищурилась, и я сразу угадала её мысли.

— Кэл, — сказала я, — ты же знаешь, мы будем хорошо себя вести. Мы уже сколько лет в церкви не балуемся.

Видно, Кэлпурния вспомнила один дождливый воскресный день — мы

тогда оставались одни, ни отца, ни учительницы не было. Ребята всем классом отвели Юнис Энн Симпсон в котельную и привязали к стулу. А потом забыли про неё, поднялись наверх и тихо и смирно слушали проповедь, как вдруг поднялся гром и звон: где-то чем-то колотили по трубам парового отопления; под конец кто-то пошёл узнать, что случилось, и извлёк на свет божий Юнис Энн, и она заявила, что не желает больше играть в мученика, — Джим Финч говорил, если у неё довольно веры, она не сгорит, но внизу очень жарко.

— И потом, Кэл, ведь Аттикус не первый раз оставляет нас одних, — протестовала я.

— Да, когда наверняка знает, что ваша учительница будет в церкви. А в этот раз он ничего не сказал — видно, забыл.

Кэлпурния озабоченно почесала в затылке. И вдруг улыбнулась.

— А может, вы с мистером Джимом завтра пойдёте в церковь со мной?

— Ой, правда?

— Ты, видно, не против? — засмеялась Кэлпурния.

В субботу вечером Кэл всегда скребла и тёрла меня на совесть, но уж в этот день она превзошла самоё себя. Дважды меня намылила и каждый раз меняла воду, чтобы смыть мыло; сунула мою голову в таз и вымыла шампунем. Она уже сколько лет полагалась на самостоятельность Джима, а в этот вечер пошла его проверить, так что он возмутился:

— В этом доме вымыться спокойно не дадут, всем надо совать свой нос в ванную!

Наутро Кэлпурния раньше обычного «занялась нашими туалетами». Когда она оставалась у нас ночевать, она всегда спала в кухне на раскладушке; в то утро вся раскладушка была завалена нашими воскресными нарядами. Моё платье Кэлпурния так накрахмалила, что оно стояло колоколом. Она заставила меня надеть нижнюю юбку и туго повязала вместо пояса розовую ленту. Мои лакированные туфли она так долго тёрла чёрствым хлебом, что уже могла смотреться в них, как в зеркало.

— Мы прямо как на карнавал собираемся, — сказал Джим. — Для чего это, Кэл?

— Пускай кто попробует сказать, что я плохо смотрю за моими детьми, — пробормотала Кэлпурния. — Мистер Джим, вам никак нельзя надевать этот галстук с этим костюмом. Он зелёный.

— Ну и что?

— А костюм синий. Вы разве не видите?

— Э-э! — закричала я. — Джим не разбирает цветов!

Джим сердито покраснел, но Кэлпурния сказала:

— А ну, хватит! Раз вы идёте в «Первую покупку», надо не дуться, а улыбаться.

«Первая покупка» — африканская методистская молельня — стояла у южной окраины города, в негритянском квартале, за дорогой на старую лесопилку. Это ветхое деревянное строение, с которого облезла вся краска, было единственной в Мейкомбе церковью с колокольней; называлось оно так потому, что было построено на первые заработки освобождённых рабов. По воскресеньям в нём молились негры, а по будням там собирались белые и играли в кости.

На церковном дворе и рядом на кладбище глинистая почва была твёрдая как камень. Если кто-нибудь умирал в жаркую пору, тело хранили во льду, пока не пойдут дожди и земля не размякнет. Не на всякой могиле можно было увидеть надгробный камень, да и тот крошился; могилы недавние обложены были по краю яркими цветными стёклышками и осколками бутылок из-под кока-колы. Иную могилу охранял громоотвод — видно, усопший был беспокойного нрава; на могилах младенцев торчали огарки догоревших свечей. Нарядное это было кладбище.

Мы вошли во двор, и навстречу нам пахнуло тёплым горьковато-сладким запахом принарядившихся негров: помадой для волос, жевательной резинкой, нюхательным табаком, ай-да-колоном, мылом, сиреневой пудрой и мятными конфетами.

Увидев рядом с Кэлпурнией нас с Джимом, мужчины посторонились и сняли шляпы; женщины сложили руки на животе, как всегда делали в будни в знак почтительного внимания. Все расступились и дали нам дорогу. Кэлпурния шла между мною и Джимом и раскланивалась направо и налево, отвечая на приветствия празднично одетых соседей и знакомых.

— Ты что это выдумала, мисс Кэл? — раздался голос позади нас.

Кэлпурния положила руки нам на плечи, мы остановились и обернулись: в узком проходе между двумя рядами людей стояла высокая негритянка. Она выставила одну ногу, упёрлась локтем левой руки в бок и поднятой ладонью показывала на нас. У неё была голова огурцом, странные миндалевидные глаза, прямой нос и резко очерченный рот. Мне она показалась великаншей.

Рука Кэлпурнии крепче сжала моё плечо.

— Чего тебе, Лула? — спросила она.

Я никогда прежде не слышала у неё такого голоса. Она говорила негромко, презрительно.

— А для чего это приводить белых ребят в церковь к черномазым?

— Они мои гости, — сказала Кэлпурния, и опять я подумала, какой у неё стал странный голос: она говорила как все негры.

— Ага, а всю неделю ты, верно, у Финчей гостя!

В толпе зароптали.

— Не бойся, — шепнула мне Кэлпурния, но розы у неё на шляпке сердито заколыхались.

Между двумя рядами зрителей Лула направилась было к нам. Кэлпурния сказала:

— Не подходи, черномазая!

Лула остановилась.

— Нечего водить сюда белых ребят, — сказала она. — У них своя церковь, у нас своя. Это наша церковь, верно, мисс Кэл?

Кэлпурния сказала:

— А бог один, верно?

— Пойдём домой, Кэл, — сказал Джим, — мы им тут ни к чему.

Я тоже видела — мы тут ни к чему. Я чувствовала — толпа напирает. Нас обступали всё теснее, но я поглядела на Кэлпурнию, а у неё глаза смеются. Я опять посмотрела туда, где между двумя рядами людей была дорожка, но Лула исчезла. На том месте стеной стояли негры.

Один выступил вперёд. Это был Зибо, городской мусорщик.

— Мистер Джим, — сказал он, — мы очень вам рады. Вы эту Лулу не слушайте, она злится, потому как преподобный Сайкс грозился отчитать её с кафедры при всём честном народе. Она у нас известная смутьянка и горячка и выдумывает невесть что, а мы очень вам всем рады.

И Кэлпурния повела нас в молельню, а в дверях нас встретил преподобный Сайкс и повёл вперёд, на самую первую скамью.

«Первая покупка» внутри была не штукатурена и не крашена. По стенам на медных скобах висели незажженные керосиновые лампы; вместо настоящих церковных скамей стояли грубые сосновые лавки. Позади простой дубовой кафедры свисала полоса линиялого розового шёлка с надписью «Бог есть любовь», кроме неё молельню украшала ещё только литография с картины Ханта «Светоч мира». Я осмотрелась: где фортепьяно или орган, сборники псалмов и программки богослужения — всё, что мы привыкли каждое воскресенье видеть в церкви? — но ничего этого не оказалось. Было сумрачно, прохладно и сыро, но постепенно народу становилось всё больше, и воздух согревался. На скамьях положен был для каждого прихожанина дешёвый картонный веер с ярко намалёванным Гефсиманским садом — дар Компании скобяных изделий Тиндела («Большой выбор товаров на все вкусы»).

Кэлпурния подтолкнула нас с Джимом в конец ряда и села между нами. Вытащила из кошелька платок и развязала тугой узелок с одного угла. И протянула нам с Джимом по монетке в десять центов.

— У нас есть свои, — прошептал Джим.

— Держите, — сказала Кэлпурния. — Вы мои гости.

Джим, видно, сомневался — благородно ли оставлять свои деньги при себе? — но врождённая учтивость взяла верх, и он сунул монету в карман. Без малейших угрызений совести я сделала то же самое.

— Кэл, — зашептала я, — а где же сборники с псалмами?

— У нас их нет, — ответила она.

— А как же?...

— Ш-ш, — сказала Кэлпурния.

На кафедре стоял преподобный Сайкс и взглядом призывал свою паству к молчанию. Он был невысокий, плотный, в чёрном костюме, белой рубашке и чёрном галстуке; в свете, сочившемся сквозь матовые стёкла, поблёскивала золотая цепочка от часов.

— Братья и сёстры, — сказал он, — мы весьма рады, что сегодня утром у нас гости — мистер и мисс Финч. Вы все знаете их отца. Прежде чем начать проповедь, я прочитаю вам несколько сообщений.

Преподобный Сайкс перелистал какие-то бумажки, выбрал одну, далеко отставил её от глаз и прочёл:

«Собрание миссионерского общества состоится во вторник в доме сестры Эннет Ривз. Приносите с собою шитьё».

Потом стал читать по другой бумажке:

«Все вы знаете, какая беда приключилась с братом Томом Робинсоном. Он с детства был добрым прихожанином „Первой покупки“. Весь денежный сбор сегодня и в следующие три воскресенья пойдёт Элен, его жене, чтобы она могла прокормить детей».

Я ткнул Джима в бок:

— Это тот самый Том, которого Аттикус будет за...

— Ш-ш!

Я обернулась к Кэлпурнии, но и рта не успела раскрыть, а она уже шикнула на меня. Пришлось покориться, и я стала смотреть на

преподобного Сайкса — он, кажется, ждал, чтобы я утомилась.

— Попросим нашего регента начать первый псалом.

Со своей скамьи поднялся Зибо, прошёл меж рядов, остановился перед нами и повернулся лицом к пастве. В руках у него был растрёпанный сборник псалмов. Зибо раскрыл его и сказал:

— Мы споём номер двести семьдесят третий.

Этого я уже не могла выдержать.

— Как же мы будем петь, у нас же нет слов?

Кэлпурния улыбнулась.

— Тише, малышка, — прошептала она, — сейчас увидишь.

Зибо откашлялся и таким гулким голосом, как будто далеко-далеко палили пушки, прочитал нараспев:

— Там, за рекой, лежит страна...

И словно чудом необыкновенно стройный хор сотней голосов пропел эти слова вслед за Зибо. Протяжным гуденьем замер последний слог, и вот Зибо уже говорит:

— Вовек желанна нам она...

И опять вокруг нас громко зазвучал хор; долго тянулась последняя нота, и, ещё прежде чем она замерла, Зибо прочитал следующую строчку:

— Нас выведет одна лишь вера на тот обетованный берег.

На этот раз паства замешкалась. Зибо внятно повторил строку, и хор пропел её. Как только вступал хор, Зибо закрывал книжку — знак всем собравшимся продолжать без его помощи.

И при замирающих звуках торжественного хора Зибо протянул:

— За той сияющей рекой обетованный ждёт покой.

Строку за строкой повторял за ним хор, стройно выводя простую мелодию, и, наконец, псалом закончился чуть слышно печальной и

протяжной нотой.

Я поглядела на Джима, он исподлобья глядел на Зибо. Я тоже не могла опомниться от удивления, но мы слышали всё это своими ушами!

Потом преподобный Сайкс начал молиться о страждущих и недужных — так же молились и в нашей церкви, только мистер Сайкс просил господа бога о некоторых больных позаботиться особо.

В своей проповеди он обличал грех и очень строго повторил то, что было написано позади него на стене; предостерег паству от горячительных напитков, от азартных игр и чужих женщин. Подпольная торговля спиртным — бич негритянского квартала, но женщины и того хуже! Опять, как в нашей церкви, я услышала, что женщины грешны и нечисты, — видно, все священники только об этом и думают.

То же самое мы с Джимом выслушивали каждое воскресенье, разница была в одном — преподобный Сайкс с церковной кафедры свободнее высказывал своё мнение о каждом грешнике в отдельности: Джим Харди уже пять воскресений кряду не появляется в церкви, а он не болен. Констэнс Джексон следует быть осмотрительнее, как бы ей не рассориться с ближними своими, — до неё никому за всё существование квартала не приходило на ум городить забор назло соседу.

Проповедь кончилась. Преподобный Сайкс стал у столика перед кафедрой и призвал вносить пожертвования — это мы с Джимом видели впервые. Прихожане по одному выходили вперёд и опускали в чёрную эмалированную жестянку из-под кофе пять или десять центов. Мы с Джимом тоже пошли, наши монетки звякнули в жестянке, и нам было тихо сказано:

— Спасибо, спасибо.

К нашему изумлению, преподобный Сайкс высыпал деньги на столик и пересчитал. Потом выпрямился и сказал:

— Этого недостаточно. Нам надо собрать десять долларов.

Прихожане заволновались.

— Вы все знаете, зачем это нужно: пока Том в тюрьме, Элен не может оставить детей и пойти работать. Если каждый даст ещё десять центов, будет достаточно... — Преподобный Сайкс помахал рукой и крикнул кому-то через всю молельню: — Закрой двери, Алек. Никто не выйдет отсюда, пока мы не соберём десять долларов.

Кэлпурния порылась в сумочке, вытащила потрёпанный кожаный кошелёк и протянула Джиму блестящий четвертак.

— Нет, Кэл, — прошептал Джим, — мы сами. Где твои десять центов, Глазастик?

В церкви становилось душно, и я подумала — верно, мистер Сайкс хочет взять свою паству измором. Трещали веера, шаркали ноги, любителям жевать табак становилось невмоготу.

Я вздрогнула от неожиданности — преподобный Сайкс вдруг сказал сурово:

— Карлоу Ричардсон, я ещё не видел тебя у этого столика.

Худой человек в штанах цвета хаки вышел вперёд и опустил монету в жестянку. Паства одобрительно загудела. Потом преподобный Сайкс сказал:

— Пусть каждый из вас, у кого нет детей, пожертвует ещё десять центов. И тогда у нас будет достаточно.

Медленно, с трудом десять долларов были собраны. Двери растворились, повеяло тёплым ветерком, и мы вздохнули легче. Зибо стих за стихом прочитал «На бурных берегах Иордана», и воскресная служба кончилась.

Я хотела остаться и всё рассмотреть, но Кэлпурния повела меня по проходу. В дверях она задержалась, чтобы поговорить с Зибо и его семейством, а мы с Джимом поболтали с мистером Сайксом. У меня вертелось на языке сто вопросов, но я решила — после спрошу у Кэлпурнии.

— Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня, — сказал преподобный Сайкс. — Ваш папа — лучший друг нашего прихода.

Любопытство всё-таки одолело меня.

— А почему вы собирали деньги для жены Тома Робинсона?

— Разве вы не слышали? — спросил преподобный Сайкс. — У Элен трое маленьких, и она не может работать.

— А почему ей не взять их с собой, ваше преподобие? — спросила я.

Негритянки, работавшие на хлопковых плантациях, всегда брали малышей с собой и усаживали их куда-нибудь в тень, обычно между двумя рядами кустов. Тех, кто ещё и сидеть не умел, матери привязывали себе за спину на индейский лад или завёртывали в пустые мешки из-под хлопка и клали на землю.

Преподобный Сайкс замялся.

— По правде говоря, мисс Джин Луиза, сейчас Элен не так-то просто найти работу... Когда наступит время собирать хлопок, я думаю, её возьмёт мистер Линк Диз.

— А почему ей сейчас не найти работу?

Преподобный Сайкс не успел ответить, Кэлпурния положила руку мне на плечо. И я послушно сказала:

— Спасибо, что вы позволили нам прийти.

Джим сказал то же самое, и мы пошли домой.

— Кэл, я знаю, Тома Робинсона посадили в тюрьму, он сделал что-то ужасно плохое, а Элен почему не берут на работу? — спросила я.

Кэлпурния в тёмно-синем муслиновом платье и высокой шляпке шла между мною и Джимом.

— Потому, что люди говорят, Том плохо поступил, — сказала она. — Никому не хочется... не хочется иметь дело с его семьёй.

— Кэл, а что он такое сделал?

Кэлпурния вздохнула.

— Старый мистер Боб Юэл заявил, что Том насильничал над его дочкой, вот Тома и арестовали и засадили в тюрьму.

— Мистер Юэл? — Мне кое-что вспомнилось. — Есть такие Юэлы, они каждый год в первый день приходят в школу, а потом больше не ходят. Он из них, да? И Аттикус сказал, они настоящие подонки... Аттикус никогда ни про кого так не говорил. Он сказал...

— Вот это они самые и есть.

— Ну, если все в Мейкомбе знают, что за народ эти Юэлы, так все рады будут нанять Элен на работу... Кэл, а что это — насильничать?

— Спроси мистера Финча, он тебе лучше объяснит. Ты, верно, голодная? Преподобный отец сегодня что-то длинно проповедовал, всегда он не так скучно говорит.

— Он совсем как наш проповедник, — сказал Джим. — А почему вы так странно поёте псалмы?

— Ты про вторенье? — спросила Кэлпурния.

— Это называется вторенье?

— Да, мы так называем. Так всегда делалось, сколько я себя помню.

Джим сказал — отложили бы за год деньги с церковных сборов и купили бы сборники псалмов.

Кэлпурния засмеялась.

— А что от них толку? Читать-то всё равно никто не умеет.

— Как же так? — спросила я. — Столько народу, и никто не умеет читать?

Кэлпурния кивнула.

— Ну да. В «Первой покупке» читают, может, человека четыре... я в том числе...

— Ты в какой школе училась, Кэл? — спросил Джим.

— Ни в какой. Дай-ка вспомнить, кто же это меня научил грамоте? А, да, старая мисс Бьюфорд, тётушка нашей мисс Моды Эткинсон.

— Да разве ты такая старая?

— Я даже старше мистера Финча, — усмехнулась Кэлпурния. — Только не знаю, много ли. Мы с ним один раз стали вспоминать да рассчитывать, сколько же это мне лет... я помню немножко дальше него, стало быть, я и старше ненамного, женская-то память получше мужской.

— А когда твой день рождения, Кэл?

— Я справляю на рождество, так легче запомнить... а настоящего дня рождения у меня нету.

— Но ты по виду совсем не такая старая, как Аттикус, — запротестовал Джим.

— Цветные не так быстро стареют, как белые, по ним не так видно, — сказала Кэлпурния.

— Может быть, это потому, что они не умеют читать. Кэл, это ты научила Зибо грамоте?

— Да, мистер Джим. Когда он был мальчонкой, у нас тут и школы-то не было. А я его всё ж таки заставила учиться.

Зибо был старшим сыном Кэлпурнии. Если б я прежде об этом подумала, я бы догадалась, что Кэл уже пожилая — у Зибо у самого дети были почти взрослые, только я как-то об этом не задумывалась.

— Ты его учила по букварю? — спросила я.

— Нет, я ему велела каждый день выучивать страничку из священного писания, и ещё была книжка, по которой меня учила мисс Бьюфорд, — вам не угадать, откуда я её взяла.

Мы и не угадали. Кэлпурния сказала:

— Мне её дал ваш дедушка Финч.

— Да разве ты с «Пристани»? — удивился Джим. — Ты нам никогда не говорила.

— Ясно, с «Пристани», мистер Джим. Там и выросла, между «Пристанью» и именем Бьюфордов. Круглый год работала на Бьюфордов да на Финчей, а потом ваши папа с мамой поженились, я и переехала в Мейкомб.

— А какая это была книжка, Кэл? — спросила я.

— «Комментарии» Блэкстоуна.

Джим был ошеломлён.

— И по этой книге ты учила Зибо грамоте?!

— Ну да, сэр, мистер Джим. — Кэлпурния застенчиво прикрыла рот рукой. — У меня других книг нету. Ваш дедушка говорил, что мистер Блэкстоун писал превосходным языком...

— Значит, вот почему ты говоришь не так, как все, — сказал Джим.

— Кто все?

— Все цветные. Кэл, а ведь в церкви ты говорила так же, как они...

Мне никогда и в голову не приходило, что у нашей Кэлпурнии есть ещё другая жизнь. Оказывается, она может существовать как-то отдельно, вне нашего дома, да ещё знает два языка!

— Кэл, — сказала я, — а для чего ты со своими разговариваешь, как... как цветные, ты ведь знаешь, что это неправильно?

— Ну, во-первых, я и сама чёрная...

— Всё равно, зачем же тебе ломать язык, когда ты умеешь говорить правильно? — сказал Джим.

Кэлпурния сбила шляпку набок и почесала в затылке, потом старательно поправила шляпку.

— Как бы это вам объяснить, — сказала она. — Вот бы вы с Глазастиком стали у себя дома разговаривать как цветные, — это было бы совсем не к месту, верно? А если я в церкви или со своими соседями стану говорить как белая? Люди подумают — я совсем заважничала.

— Но ведь ты знаешь, как правильно! — сказала я.

— А не обязательно выставлять напоказ всё, что знаешь. Женщине это и не к лицу. И, во-вторых, людям вовсе не по вкусу, когда кто-то умней их. Они сердятся. Хоть и говори сам правильно, а их не переменишь, для этого им надо самим научиться, а уж если они не хотят, ничего не поделаешь: либо держи язык за зубами, либо говори как они.

— Кэл, а можно мне иногда с тобой повидаться?

Кэлпурния поглядела на меня с недоумением.

— Повидаться, дружок? Да мы с тобой видимся каждый день.

— Нет, можно прийти к тебе в гости? Как-нибудь после работы? Аттикус меня проводит.

— Пожалуйста, когда захочешь, — сказала Кэлпурния. — Мы тебе всегда будем рады.

Мы шли по тротуару мимо дома Рэдли.

— Посмотрите-ка на веранду, — сказал Джим.

Я оглянулась на дом Рэдли — вдруг его таинственный обитатель вылез подышать свежим воздухом? Но веранда была пуста.

— Да нет, на нашу веранду посмотри, — сказал Джим.

Я посмотрела. В качалке — прямая, непреклонная и неприступная, с таким видом, будто она здесь провела весь свой век, — сидела тётя Александра.

— Отнеси мой саквояж в ту спальню, что окнами на улицу, Кэлпурния, — были первые слова тёти Александры. — Джин Луиза, перестань чесать в затылке, — были её следующие слова.

Кэлпурния подняла тяжёлый тётин чемодан и отворила дверь.

— Я сам отнесу, — сказал Джим и взял у неё чемодан.

Слышно было, как чемодан грохнул об пол в спальне. И ещё долго от этого не смолкал глухой гул.

— Вы приехали в гости, тётя? — спросила я.

Тётя Александра не часто выезжала с «Пристани» и уж тогда путешествовала с помпой. У неё был свой ярко-зелёный солидный «бьюик» и чёрный шофёр, оба сверкали такой чистотой, смотреть тошно, но сейчас их нигде не было видно.

— Разве отец вам ничего не сказал? — спросила тётя Александра.

Мы с Джимом помотали головами.

— Вероятно, забыл. Его ещё нет дома?

— Нет, он обычно возвращается только к вечеру, — сказал Джим.

— Ну так вот, ваш отец и я посоветовались и решили, что пора мне немножко у вас пожить.

«Немножко» в Мейкомбе может означать и три дня и тридцать лет. Мы с Джимом переглянулись.

— Джим становится взрослый, и ты тоже растёшь, — сказала тётя Александра. — Мы решили, что тебе полезно женское влияние. Пройдёт совсем немного лет, Джин Луиза, и ты начнёшь увлекаться нарядами и молодыми людьми...

Я могла много чего на это ответить: Кэлпурния тоже женщина, пройдёт ещё очень много лет, пока я начну увлекаться молодыми людьми, а нарядами я вообще никогда не стану увлекаться... но я промолчала.

— А как же дядя Джимми? — спросил Джим. — Он тоже приедет?

— О нет, он остался на «Пристани». Ему надо присматривать за фермой.

— А вы не будете без него скучать? — спросила я и сразу спохватилась: это был не очень тактичный вопрос. Тут ли дядя Джимми, нет ли, разница невелика, от него всё равно никогда слова не услышишь.

Тётя Александра пропустила мой вопрос мимо ушей.

Я не могла придумать, о чём ещё с ней говорить. Сказать по совести, я

никогда не знала, о чём с ней говорить, и сейчас сидела и вспоминала наши прошлые тягостные беседы: «Как поживаешь, Джин Луиза?» — «Очень хорошо, благодарю вас, мэм. А вы как поживаете?» — «Хорошо, спасибо. А чем ты всё это время занималась?» — «Ничем». — «Как, неужели ты ничего не делаешь?» — «Ничего». — «Но у тебя, наверно, есть друзья?» — «Да, мэм». — «Так чем же вы все занимаетесь?» — «Ничем».

Тётя, конечно, считала меня круглой душой, один раз я слышала — она сказала Аттикусу, что я отсталая.

Что-то было неладно, но расспрашивать не захотелось: по воскресеньям тётя Александра всегда была сердитая. Наверно, из-за корсета. Она была не толстая, но весьма солидная особа и сильно затягивалась — бюст получался такой высокий, что смотреть страшно, талия в рюмочку, сзади всё очень пышно, глядя на эту фигуру, поневоле подумаешь, что раньше тётя Александра была песочными часами. С какого боку ни посмотри, выходило очень внушительно.

Остаток дня прошёл в тихом унынии — так всегда бывает, когда приедут родственники, — а потом мы слышали автомобиль и сразу ожили. Это из Монтгомери вернулся Аттикус. Джим забыл свою солидность и вместе со мной побежал его встречать. Джим выхватил у Аттикуса чемодан и портфель, а я повисла у него на шее; он на лету поцеловал меня, и я спросила:

— А книжку ты мне привёз? А знаешь, тётя приехала!

Аттикус сказал — привёз и знает.

— Тётя будет у нас жить. Ты рада?

Я сказала — очень рада, это была неправда, но бывают такие обстоятельства, что приходится и соврать, раз уж всё равно ничего не поделаешь.

— Мы решили, что настало время, когда детям необходимо... в общем, вот что, Глазастик, — сказал Аттикус, — тётя делает мне большое одолжение и вам обоим тоже. Я не могу весь день сидеть с вами дома, и этим летом нам придётся трудно.

— Да, сэр, — сказала я.

Я ничего не поняла. Мне только показалось, что не так уж Аттикус звал тётю Александру, это она сама всё придумала. У неё была такая манера, она заявляла: так лучше для семьи, — вот, наверно, и к нам она поэтому переехала.

Мейкомб встретил тётю Александру очень приветливо. Мисс Модии Эткинсон испекла свой любимый торт, до того пропитанный наливкой, что я стала пьяная; мисс Стивени Кроуфорд приходила в гости и сидела

часами, причём больше всё качала головой и говорила «гм-гм». Мисс Рейчел зазывала тётю днём пить кофе, и даже мистер Натан Рэдди один раз заглянул к нам во двор и сказал, что рад её видеть.

Потом тётя Александра расположилась у нас как дома, и всё пошло своим чередом, и можно было подумать, будто она весь век тут живёт. Её славу отличной хозяйки ещё подкрепили угощения на собраниях миссионерского общества (тётя не доверяла Кэлпурнии печь и стряпать деликатесы, которые должны были поддерживать силы слушателей во время длиннейших докладов Общества распространения христианства на Востоке); она вступила в Мейкомбский дамский клуб и стала его секретарём. В глазах мейкомбского высшего света тётя Александра была последней представительницей аристократии: манерами обладала самыми изысканными, какие приобретаются только в лучших закрытых школах и пансионах; была образцом и авторитетом в вопросах морали; мастерски владела искусством намёка и не знала себе равных по части сплетен. Когда она училась в школе, ни в одной хрестоматии не упоминалось о внутренних сомнениях, и тётя Александра понятия о них не имела. Она не ведала скуки и не упускала случая выступить в роли главного арбитра: наводила порядок, давала советы, остерегала и предупреждала.

Она никогда не забывала упомянуть о слабостях любого другого рода и племени, дабы возвысить славный род Финчей; эта привычка иногда злила Джима, а чаще забавляла.

— Тёте надо быть поосторожнее в словах, она наводит критику чуть не на всех в Мейкомбе, а ведь половина города нам родня.

Молодой Сэм Мерриуэзер покончил с собой — и тётя Александра наставительно говорила: склонность к самоубийству у них в роду. Стоило шестнадцатилетней девчонке в церковном хоре разок хихикнуть, и тётя Александра замечала:

— Вот видите, в роду Пенфилдов все женщины легкомысленны.

Кажется, любая мейкомбская семья отличалась какой-нибудь склонностью: к пьянству, к азартным играм, к скупости, к чудачествам.

Один раз тётя стала уверять нас, будто манера совать нос в чужие дела у мисс Стивени Кроуфорд наследственная, и Аттикус сказал:

— А знаешь, сестра, если вдуматься, до нашего поколения в роду Финчей все женились на двоюродных сёстрах и выходили за двоюродных братьев. Так ты, пожалуй, скажешь, что у Финчей склонность к кровосмешению?

Тётя сказала — нет, просто от этого у всех в нашей семье маленькие руки и ноги.

И что её всегда волнует наследственность? Почему-то мне представлялось так: люди благородные — это те, от чьего ума и талантов всем больше всего пользы; а у тётки Александры как-то так получалось, хоть она прямо и не говорила, будто чем дольше семья живёт на одном месте, тем она благороднее.

— Тогда и Юэлы благородные, — сказал Джим.

Уже третье поколение семейства, к которому принадлежали Баррис Юэл и его братья, существовало на одном и том же клочке земли за городской свалкой, росло и кормилось за счёт городской благотворительности.

А всё-таки в теории тётки Александры была какая-то правда. Мейкомб — старинный город. Расположен он на двадцать миль восточнее «Пристани Финча», слишком далеко от реки, что очень неудобно и странно для такого старого города. Впрочем, он стоял бы на самом берегу, если бы не один ловкий человек по фамилии Синкфилд; на заре времён этот Синкфилд держал гостиницу на перекрёстке двух дорог, и это был единственный постоялый двор во всей округе. Синкфилд не был патриотом, он одинаково оказывал услуги и продавал патроны индейцам и белым поселенцам и нимало не задумывался, стоит ли его заведение на территории Алабамы или во владениях племени Ручья, лишь бы дело приносило доход. Дело процветало, а в это самое время губернатор Уильям Уайат Бибб решил упрочить покой и благоденствие вновь созданного округа и отрядил землемеров определить в точности, где находится его центр, чтобы здесь и обосновались местные власти. Землемеры остановились у Синкфилда и сообщили ему, что его постоялый двор входит в пределы округа Мейкомб, и показали, где именно разместится, по всей вероятности, административный центр округа. Не соверши Синкфилд дерзкого шага, чтобы остаться на бойком месте, центр этот расположился бы посреди Уинстоновых болот, унылых и ничем не примечательных. А вместо этого осью, вокруг которой рос и ширился округ Мейкомб, стал постоялый двор Синкфилда, ибо смекалистый хозяин в один прекрасный вечер, напоив своих постояльцев до того, что перед глазами у них всё путалось и расплывалось, уговорил их вытащить карты и планы, малость отрезать там, чуточку прибавить тут и передвинуть центр округа на то место, которое ему, Синкфилду, было всего удобнее. А наутро они отправились восвояси и повезли с собою в перемётных сумах, кроме карт, пять кварт наливки — по две бутылки на брата и одну губернатору.

Поскольку Мейкомб был основан как административный центр, он оказался не таким неряхой, как почти все города таких же размеров в штате

Алабама. С самого начала дома строились солидно, здание суда выглядело весьма внушительно, улицы прокладывались широкие. Среди жителей Мейкомба немало было разного рода специалистов: сюда приезжали издалека, когда надо было вырвать больной зуб, пожаловаться на сердцебиение, починить экипаж, положить деньги в банк, очистить душу от греха, показать мулов ветеринару. Но в конце концов ещё вопрос, мудро ли поступил в своё время Синкфилд. По его милости молодой город оказался слишком в стороне от единственного в ту пору общественного средства сообщения — от речных судов, — и жителю северной части округа приходилось тратить два дня на поездку в город Мейкомб за необходимыми покупками. Вот почему за сто лет город не разросся и остался всё таким же островком среди пёстрого моря хлопковых плантаций и густых лесов.

Война между Севером и Югом обошла Мейкомб стороной, но закон о «реконструкции» Юга и крах экономики всё же вынудили город расти. Рос он не вширь. Новые люди появлялись редко, браки заключались между представителями одних и тех же семейств, так что постепенно все мейкомбцы стали немножко похожи друг на друга. Изредка кто-нибудь вернётся из отлучки и привезёт с собою жену — уроженку Монтгомери или Мобила, но и от этого пройдёт лишь едва заметная рябь по мирной глади семейного сходства. В годы моего детства жизнь текла почти без перемен.

Разумеется, жители Мейкомба делились на касты, но мне это представлялось так: люди взрослые, мейкомбские граждане нынешнего поколения, прожившие бок о бок многие годы, знают друг друга наизусть и ничем один другого удивить не могут; осанка, характер, цвет волос, даже жесты принимаются как само собою разумеющееся, что переходит из поколения в поколение и только совершенствуется со временем. И в повседневной жизни надёжным руководством служат истины вроде: «Все Кроуфорды суют нос в чужие дела», «Каждый третий Мерриуэзер — меланхолик», «Делафилды с правдой не в ладах», «У всех Бьюфордов такая походка», — а стало быть, когда берёшь у кого-либо из Делафилдов чек, сперва наведи потихоньку справки в банке; мисс Моды Эткинсон сутулится, потому что она из Бьюфордов; и если миссис Грейс Мерриуэзер втихомолку потягивает джин из бутылок от сиропа, удивляться тут нечему — то же делала и её мать.

Мейкомб сразу почуял в тёте Александре родственную душу — Мейкомб, но не мы с Джимом. Я только диву давалась — неужели она родная сестра Аттикусу и дяде Джеку? — и даже вспомнила старые сказки про подменьшей и корень мандрагоры, которыми в незапамятные времена пугал меня Джим.

В первый месяц её жизни у нас всё это были просто отвлечённые рассуждения — тётя Александра почти не разговаривала со мной и с Джимом, мы её видели только во время еды да вечером перед сном. Ведь было лето, и мы весь день проводили на улице. Конечно, иной раз среди дня забежишь домой выпить воды, а в гостиной полно мейкомбских дам — потягивают чай, шепчутся, обмахиваются веерами, и я слышу:

— Джин Луиза, поди сюда, поздоровайся с нашими гостями.

Я вхожу, и у тёти становится такое лицо, будто она жалеет, что позвала меня, ведь я всегда в глине или в песке.

— Поздоровайся с кузиной Лили, — сказала один раз тётя Александра, поймав меня в прихожей.

— С кем? — переспросила я.

— Со своей кузиной Лили Брук.

— Разве она нам кузина? А я и не знала.

Тётя Александра улыбнулась так, что сразу видно было: она деликатно извиняется перед кузиной Лили и сурово осуждает меня. А когда кузина Лили Брук ушла, я уже знала — мне здорово попадёт.

Весьма прискорбно, что наш отец не потрудился рассказать мне о семействе Финч и не внушил своим детям никакой гордости. Тётя призвала и Джима, он сел на диван рядом со мной и насторожился. Она вышла из комнаты и возвратилась с книжкой в тёмно-красном переплёте, на нём золотыми буквами было вытиснено: «Джошуа Сент-Клер. Размышления».

— Эту книгу написал ваш кузен, — сказала тётя Александра. — Он был замечательный человек.

Джим внимательно осмотрел книжечку.

— Это тот самый кузен Джошуа, который столько лет просидел в сумасшедшем доме?

— Откуда ты знаешь? — спросила тётя Александра.

— Так ведь Аттикус говорит, этот кузен Джошуа был студентом и свихнулся. Аттикус говорит, он пытался застрелить ректора. Аттикус говорит, кузен Джошуа говорил, что ректор просто мусорщик, и хотел его застрелить из старинного пистолета, а пистолет разорвался у него в руках. Аттикус говорит, родным пришлось выложить пятьсот долларов, чтобы его вызволить...

Тётя Александра выпрямилась и застыла, точно аист на крыше.

— Довольно, — сказала она. — К этому мы ещё вернёмся.

Перед сном я пришла в комнату Джима попросить что-нибудь почитать, и в это время к нему постучался Аттикус. Вошёл, сел на край кровати, невозмутимо оглядел нас и вдруг улыбнулся.

— Э-гм... — начал он. В последнее время он как-то покашливал, прежде чем заговорить, и я уж думала, может, это он, наконец, становится старым, но с виду он был всё такой же. — Право, не знаю, как бы вам сказать...

— Да прямо так и скажи, — посоветовал Джим. — Мы что-нибудь натворили?

Отцу явно было не по себе.

— Нет, просто я хотел вам объяснить... тётя Александра меня попросила... Сын, ты ведь знаешь, что ты — Финч, правда?

— Так мне говорили. — Джим исподлобья поглядел на отца и, верно сам того не замечая, повысил голос: — Аттикус, в чём дело?

Аттикус перекинул ногу на ногу, скрестил руки.

— Я пытаюсь вас познакомить с обстоятельствами вашего происхождения.

Джим ещё сильнее сморщился.

— Знаю я эту ерунду, — сказал он.

Аттикус вдруг стал серьёзен. Он заговорил своим юридическим голосом:

— Ваша тётя просила меня по возможности довести до сознания твоего и Джин Луизы, что оба вы не какие-нибудь безродные, за вами стоит несколько поколений, получивших безукоризненное воспитание...

Тут у меня по ноге побежал муравей, я стала его ловить, и Аттикус замолчал. Я почесала укушенное место.

— ...безукоризненное воспитание, — повторил Аттикус, — и вы должны жить так, чтоб быть достойными вашего имени. Тётя Александра просила меня сказать вам, что вы должны себя вести, как подобает маленькой леди и юному джентльмену. Она намерена побеседовать с вами о нашей семье и о том, какую роль играли Финчи на протяжении долгих лет в жизни округа Мейкомб, тогда вы будете представлять себе, кто вы такие, и, может быть, постараетесь вести себя соответственно, — скороговоркой закончил он.

Мы с Джимом были ошарашены и, раскрыв рот, поглядели друг на друга, потом на Аттикуса — ему, видно, стал тесен воротничок. И ничего не ответили.

Немного погодя я взяла со столика гребёнку Джима и провела зубцами по краю доски.

— Перестань трещать, — сказал Аттикус.

Сказал резко и очень обидно. Я не довела гребёнку до конца и швырнула её на пол. Неизвестно почему я заплакала и никак не могла

перестать. Это не мой отец. Мой отец никогда так не думал. И никогда так не говорил. Это его тётя Александра заставила. Сквозь слёзы я увидела Джима — он стоял так же уныло и одиноко и голову свесил набок.

Идти было некуда, но я повернулась, хотела уйти — и передо мной оказалась жилетка Аттикуса. Я уткнулась в неё и слышала за светло-синей материей знакомые тихие звуки: тикали часы, похрустывала крахмальная рубашка, негромко, ровно стучало сердце.

— У тебя бурчит в животе, — сказала я.

— Знаю, — сказал Аттикус.

— А ты выпей соды.

— Выпью.

— Аттикус, как же мы теперь будем? Всё станет по-другому, и ты...

Он погладил меня по затылку.

— Не волнуйся, — сказал он. — погоди волноваться.

И тут я поняла — он опять с нами. Ноги у меня уже не были как чужие, и я подняла голову.

— Ты правда хочешь, чтобы мы были такие? Ничего я не помню, как это Финчам полагается по-особенному себя вести...

— И не надо вспоминать. Оставим это.

Он вышел. Он чуть было не хлопнул дверью, но в последнюю минуту спохватился и тихо её притворил. Мы с Джимом ещё смотрели вслед, и вдруг дверь опять отворилась, и в неё заглянул Аттикус. Он высоко поднял брови, очки соскользнули на кончик носа.

— Кажется, я становлюсь всё больше похож на кузена Джошуа? Как по-вашему, может, я тоже обойдусь нашему семейству в пятьсот долларов?

Теперь-то я понимаю, чего добивался от нас Аттикус, но ведь он был всего лишь мужчина. А с такими тонкостями воспитания умеют справляться только женщины.

От тётки Александры мы больше не слышали про семейство Финч, зато в городе слышали больше чем достаточно. По субботам, если только Джим брал меня с собой (теперь он прямо не переносил, когда я появлялась с ним на людях), мы прихватим, бывало, свои пятаки и пробираемся по улицам в распаренной толпе, а за спиной нет-нет да и скажут:

— Вон его ребята!

Или:

— Видал Финчей?

Оглянешься — никого, только какой-нибудь фермер с женой изучает клизмы в витрине аптеки. Или две коренастые фермерши в соломенных шляпах сидят в двуколке.

А какой-то костлявый человек поглядел на нас в упор и сказал совсем непонятно:

— Кто заправляет нашим округом, им больно наплевать — хоть над всеми подряд насильничай, они и не почешутся.

Тут я вспомнила, что давно хотела задать Аттикусу один вопрос. И в тот же вечер спросила:

— Что такое насильничать?

Аттикус выглянул из-за газеты. Он сидел в своём кресле у окна. С тех пор как мы стали старше, мы с Джимом великодушно решили после ужина полчаса его не трогать — пускай отдыхает.

Он вздохнул и сказал — насилие есть плотское познание женщины силой и без её согласия.

— Только и всего? А почему я спросила Кэлпурнию, а она не стала мне отвечать?

Аттикус поглядел внимательно.

— О чём это ты?

— Ну, мы тогда шли из церкви, и я спросила Кэлпурнию, что это значит, и она сказала — спросить у тебя, а я забыла, а теперь спросила.

Аттикус опустил газету на колени.

— Объясни, пожалуйста, ещё раз, — сказал он.

И я ему рассказала, как мы ходили с Кэлпурнией в церковь. Аттикусу это, по-моему, очень понравилось, но тётка Александра до этого спокойно вышивала в своём углу, а тут отложила работу и смотрела на нас во все глаза.

— Значит, тогда, в воскресенье, вы возвращались о Кэлпурнией из её молельни?

— Да, мэм, — сказал Джим. — Она взяла нас с собой.

Я вспомнила ещё кое-что.

— Да, мэм, и она обещала, что я как-нибудь приду к ней в гости. Аттикус, я в воскресенье и пойду, ладно? Кэл сказала, если ты куда-нибудь уедешь, она сама за мной зайдёт.

— Ни в коем случае!

Это сказала тётя Александра. Я даже вздрогнула, круто обернулась к ней, потом опять к Аттикусу и заметила, как он быстро на неё взглянул, но было уже поздно. Я сказала:

— Я вас не спрашивала!

Аттикус такой большой, а с кресла вскакивает мигом, даже удивительно. Он уже стоял во весь рост.

— Извинись перед тётей, — сказал он.

— Я её не спрашивала, я спросила тебя...

Аттикус повернул голову и так на меня посмотрел здоровым глазом — у меня даже ноги пристыли к полу. И сказал беспощадным голосом:

— Прежде всего извинись перед тётей.

— Простите меня, тётя, — пробормотала я.

— Так вот, — сказал Аттикус. — Усвой раз и навсегда: ты должна слушаться Кэлпурнию, ты должна слушаться меня, и, пока у нас живёт тётя, ты должна слушаться её. Поняла?

Я поняла, подумала минуту, нашла только один способ отступить не совсем уж позорно и удалилась в уборную; возвращаться я не спешила, пускай думают, что мне и правда надо было уйти. Наконец побрела обратно и из коридора услышала — в гостиной спорят, да ещё как. В приотворённую дверь видно было диван: Джим прикрылся своим футбольным журналом и так быстро вертел головой то вправо, то влево, будто на страницах со страшной быстротой играли в теннис.

— Ты должен что-то с ней сделать, — говорила тётя. — Ты слишком долго всё оставлял на произвол судьбы, Аттикус, слишком долго.

— Её вполне можно туда отпустить, я не вижу в этом беды. Кэл там присмотрит за нею не хуже, чем смотрит здесь.

Кто это «она», о ком они говорят? Сердце у меня ушло в пятки: обо мне! Я уже чувствовала на себе жёсткий розовый коленкор — я видела, в таких платьях водят девочек из исправительного дома, — и второй раз в жизни подумала — надо бежать, спасаться! Не медля ни минуты!

— Аттикус, это очень хорошо, что у тебя доброе сердце и ты человек

покладистый, но должен же ты подумать о дочери. Она растёт.

— Именно о ней я и думаю.

— Не старайся от этого уйти. Рано или поздно придётся это решить, так почему бы и не сегодня? Она нам больше не нужна.

Аттикус сказал ровным голосом:

— Кэлпурния не уйдёт из нашего дома, пока сама не захочет уйти. Ты можешь придерживаться другого мнения, Александра, но без неё мне бы не справиться все эти годы. Она преданный член нашей семьи, и придётся тебе примириться с существующим положением. И право же, сестра, я не хочу, чтобы ради нас ты выбивалась из сил, для этого нет никаких оснований. Мы и сейчас ещё не можем обойтись без Кэлпурнии.

— Но, Аттикус...

— Кроме того, я совсем не думаю, что её воспитание нанесло детям какой бы то ни было ущерб. Она относилась к ним даже требовательнее, чем могла бы родная мать... Она никогда им ничего не спускала, не потакала им, как делают обычно цветные няньки. Она старалась их воспитывать в меру своих сил и способностей, а они у неё совсем не плохие... и ещё одно: дети её любят.

Я перевела дух. Они не про меня, они про Кэлпурнию. Успокоенная, я вернулась в гостиную. Аттикус укрылся за газетой, тётя Александра терзала своё вышиванье. Щёлк, щёлк, щёлк — громко протыкала игла туго натянутую на пальцах ткань. Тётя Александра на мгновение остановилась, натянула её ещё туже — щёлк, щёлк, щёлк. Тётя была в ярости.

Джим поднялся и тихо прошёл по ковру мне навстречу. Мотнул головой, чтоб я шла за ним. Привёл меня в свою комнату и закрыл дверь. Лицо у него было серьёзное.

— Они поругались, Глазастик.

Мы с Джимом часто ругались в ту пору, но чтобы Аттикус с кем-нибудь поссорился, такого я никогда не видала и не слыхала. Смотреть на это было как-то тревожно и неуютно.

— Старайся не злить тётю, Глазастик, слышишь?

У меня на душе ещё скребли кошки после выговора Аттикуса, и я не услышала просьбы в голосе Джима. И опять оцетинилась:

— Может, ещё ты начнёшь меня учить?

— Да нет, просто... у него теперь и без нас забот хватает.

— Каких?

Я вовсе не замечала, чтобы у Аттикуса были какие-то особенные заботы.

— Из-за этого дела Тома Робинсона он просто извёлся...

Я сказала — Аттикус никогда ни из-за чего не изводится. А от судебных дел у нас всего и беспокойства один день в неделю, и потом всё проходит.

— Это только ты так быстро всё забываешь, — сказал Джим. — Взрослые — дело другое, мы...

Он стал невыносимо задаваться, прямо зло брало. И ничего не признавал — только всё читает или бродит где-то один. Правда, все книги по-прежнему переходили от него ко мне, но раньше он мне их давал, потому что думал — мне тоже интересно почитать, а теперь он меня учил и воспитывал!

— Провалиться мне на этом месте, Джим! Ты что это о себе воображаешь?

— Ну, вот что, Глазастик, я тебе серьёзно говорю: если будешь злить тётю, я... я тебя выдеру.

Тут я взорвалась:

— Ах ты, чёртов мофродит, да я тебе голову оторву!

Джим сидел на кровати, так что я с лёгкостью ухватила его за вихор на лбу и ткнула кулаком в зубы. Он хлопнул меня по щеке, я размахнулась левой, но тут он как двинет меня в живот — я отлетела и растянулась на полу. Я еле могла вдохнуть, но это пустяки: ведь он дрался, он дал мне сдачи! Значит, мы всё-таки равны!

— Ага, воображаешь, что взрослый, а сам дерёшься! — завопила я и опять кинулась на него.

Он всё ещё сидел на кровати, и у меня не было упора, я просто налетела на него изо всех сил и начала лупить его, дёргать, щипать, колотить по чём попало. Честный кулачный бой обратился в самую обыкновенную потасовку. Мы всё ещё дрались, когда вошёл Аттикус и разнял нас.

— Хватит, — сказал он. — Оба немедленно в постель.

— Э-э! — сказала я: Джима послали спать в одно время со мной.

— Кто начал? — покорно и устало спросил Аттикус.

— Это всё Джим. Он стал меня учить. Неужели мне ещё и его тоже слушаться?!

Аттикус улыбнулся.

— Давай уговоримся так: ты будешь слушаться Джима всегда, когда он сумеет тебя заставить. Справедливо?

Тётя Александра смотрела на нас молча, но когда они с Аттикусом вышли, из коридора донеслись её слова:

— ...я же тебе говорила, вот ещё пример...

И после этого мы опять стали заодно.

Наши комнаты были смежные. Когда я затворяла дверь, Джим сказал:

— Спокойной ночи, Глазастик.

— Спокойной ночи, — пробормотала я и ощупью пошла к выключателю.

Возле своей кровати я наступила на что-то тёплое, упругое и довольно гладкое. Оно было немножко похоже на твёрдую резину, и мне показалось, оно живое. И я слышала — оно шевелится.

Я зажгла свет и поглядела на пол около кровати. Там уже ничего не было. Я застучала в дверь Джима.

— Что тебе? — сказал он.

— Какие змеи на ощупь?

— Ну, жёсткие. Холодные. Пыльные. А что?

— Кажется, одна заползла ко мне под кровать. Может, ты посмотришь?

— Ты что, шутишь? — Джим отворил дверь. Он был в пижамных штанах. Рот у него распух — всё-таки здорово я его стукнула! Он быстро понял, что я говорю серьёзно. — Ну, если ты думаешь, что я сунусь носом к змее, ты сильно ошибаешься. погоди минуту.

Он сбегал в кухню и принёс швабру.

— Полезай-ка на кровать, — сказал он.

— Ты думаешь, там правда змея? — спросила я.

Вот это событие! У нас в домах не было подвалов: они стояли на каменных опорах на высоте нескольких футов над землёй, и змеи хоть и заползали иногда в дом, но это случалось не часто. И мисс Рейчел Хейверфорд, которая каждое утро выпивала стаканчик чистого виски, говорила в своё оправдание, что никак не придёт в себя от пережитого страха: однажды она раскрыла бельевой шкаф у себя в спальне, хотела повесить халат и видит — на отложенном для стирки бельё уютно свернулась гремучая змея!

Джим на пробу махнул шваброй под кроватью. Я перегнулась и смотрела, не выползет ли змея. Не выползла. Джим сунул швабру подальше.

— Змеи разве рычат? — спросила я.

— Это не змея, — сказал Джим. — Это человек.

И вдруг из-под кровати вылетел какой-то перепачканный свёрток. Джим замахнулся шваброй — и чуть не стукнул по голове Дилла.

— Боже милостивый, — почтительно сказал Джим.

Дилл медленно выполз из-под кровати. Непонятно, как он там умещался. Он встал на ноги, расправил плечи, повертел ступнями — не

вывихнуты ли, — потёр шею. Наконец, видно, затёкшим рукам и ногам полегчало, и он сказал:

— Привет!

Джим опять воззвал к небесам. У меня язык отнялся.

— Сейчас помру, — сказал Дилл. — Поесть чего-нибудь найдётся?

Как во сне, я пошла в кухню. Принесла молоко и половину кукурузной лепёшки, которая оставалась от ужина. Дилл уплёл её в два счёта, жевал он, как и прежде, передними зубами.

Ко мне, наконец, вернулся дар речи.

— Как ты сюда попал?

Дилл немного подкрепился и начал рассказывать: новый отец невзлюбил его, посадил в подвал (в Меридиане все дома с подвалами) и обрёк на голодную смерть; но его тайно спас фермер, который проходил мимо и услышал его крики о помощи: добрый человек через вентилятор по одному стручку высыпал ему в подвал целый мешок гороха, и Дилл питался сырым горохом и понемногу вытащил цепи из стены и выбрался на свободу. Всё ещё в наручниках, он бежал из города, прошёл две мили пешком и тут повстречался с маленьким бродячим зверинцем, и его сразу наняли мыть верблюда. С этим зверинцем он скитался по всему штату Миссисипи, и, наконец, безошибочное чутьё подсказало ему, что он находится в округе Эббот, штат Алабама, и ему надо было только переплыть реку, чтобы оказаться в Мейкомбе. Остаток пути он прошёл пешком.

— Как ты сюда попал? — спросил Джим.

Он взял у матери из кошелька тринадцать долларов, сел в Меридиане на девятичасовой поезд и сошёл на станции Мейкомб. Десять или одиннадцать из четырнадцати миль до Мейкомба он шёл пешком, и не по шоссе, а пробирался кустами, потому что боялся — вдруг его ищет полиция, а остаток пути доехал, прицепившись сзади к фургону с хлопком. Под моей кроватью он пролежал, наверно, часа два; он слышал, как мы ужинали, и чуть не сошёл с ума от стука вилок по тарелкам. Он думал, мы с Джимом никогда не ляжем спать; он уж хотел вылезти и помочь мне поколотить Джима, ведь Джим стал куда больше и выше меня, но ясно было — мистер Финч скоро придёт нас разнимать, вот он и не вылез. Он был ужасно усталый, невообразимо грязный и наконец-то чувствовал себя дома.

— Родные, конечно, не знают, что ты здесь, — сказал Джим. — Если б тебя разыскивали, мы бы уже знали...

— Они, наверно, до сих пор меня ищут в Меридиане по всем

киношкам, — ухмыльнулся Дилл.

— Непременно дай знать матери, где ты, — сказал Джим. — Надо дать ей знать, что ты здесь...

Дилл бросил на него быстрый взгляд, и Джим опустил глаза. Потом поднялся и нарушил последний закон чести, свято соблюдавшийся нами в детстве. Он вышел из комнаты.

— Аттикус, — донёлся его голос из коридора, — можно тебя на минуту?

Чумазое от пыли и пота лицо Дилла вдруг побледнело. Мне стало тошно. В дверях появился Аттикус.

Он прошёл на середину комнаты — руки в карманы, — остановился и поглядел на Дилла сверху вниз.

Ко мне опять вернулся дар речи.

— Ничего, Дилл. Если он что надумает, он так прямо тебе и скажет.

Дилл молча посмотрел на меня.

— Правда, правда, это ничего, — сказала я. — Ты ведь знаешь, Аттикус не будет к тебе приставать, его бояться нечего.

— Я и не боюсь, — пробормотал Дилл.

— Пари держу, ты просто голоден, — сказал Аттикус, как всегда суховато, но приветливо. — Неужели у нас не найдётся ничего получше холодной кукурузной лепёшки, Глазастик? Накорми-ка этого молодца досыта, а потом я приду, и тогда поглядим.

— Мистер Финч, не говорите тёте Рейчел, не отправляйте меня назад, пожалуйста, сэр! Я опять убегу!...

— Тише, тише, сынок, — сказал Аттикус. — Никто тебя никуда не отправит, разве что в постель, да поскорее. Я только пойду скажу мисс Рейчел, что ты здесь, и попрошу разрешения оставить тебя у нас ночевать — ты ведь не против, верно? И сделай милость, верни хоть часть территории округа по принадлежности — эрозия почвы и так стала истинным бедствием.

Дилл, раскрыв рот, посмотрел ему вслед.

— Это он шутит, — объяснила я. — Он хочет сказать — выкупайся. Видишь, я же говорила, он не станет к тебе приставать.

Джим стоял в углу, тихий, пристыженный — так ему и надо, предателю!

— Я не мог ему не сказать, Дилл, — выговорил он. — Нельзя же удрать из дому за триста миль, и чтоб мать ничего не знала.

Мы вышли, не ответив ему ни слова.

Дилл ел, ел, ел... У него маковой росинки во рту не было со

вчерашнего вечера. Все свои деньги он истратил на билет, сел в поезд — это ему было не впервой, — преспокойно болтал с кондуктором (тот его давно уже знал); но у него не хватило смелости прибегнуть к правилу, которое существует для детей, когда они едут далеко одни: если потеряешь деньги, кондуктор даст тебе на обед, а в конце пути твой отец вернёт ему долг.

Дилл уплёл всё, что оставалось от ужина, и полез в буфет за банкой тушёнки с бобами, и тут в прихожей послышался голос мисс Рейчел:

— О боже милостивый!

Дилл прямо затрясся, как заяц.

Он мужественно терпел, пока гремело: «Ну погоди, вот отвезу тебя домой! Родители с ума сходят, волнуются!»; спокойно выслушал затем «Это всё в тебе кровь Харрисов сказывается!»; улыбнулся снисходительному «Так и быть, переночуй сегодня здесь, Дилл» и, когда его, наконец, удостоили объятием и поцелуем, ответил тем же.

Аттикус сдвинул очки на лоб и крепко потёр лицо ладонью.

— Ваш отец устал, — сказала тётя Александра (кажется, она целую вечность не промолвила ни словечка. Она всё время была тут, но, верно, просто онемела от изумления). — Вам пора спать, дети.

Мы ушли, а они остались в столовой. Аттикус всё ещё утирал платком щёки и лоб.

— Насилия, драки, беглецы, — услышали мы его смеющийся голос. — Что-то будет через час...

Похоже, всё обошлось как нельзя лучше, и мы с Диллом решили — будем вежливы с Джимом. И потом, Диллу ведь придётся спать у него в комнате, так что не стоит объявлять ему бойкот.

Я надела пижаму, почитала немного, и вдруг оказалось — у меня глаза сами закрываются. Дилла с Джимом не было слышно; я погасила лампу на столике и у Джима под дверью тоже не увидела полоски света.

Наверно, я спала долго — когда меня ткнули в бок, всё в комнате чуть освещала заходившая луна.

— Подвинься, Глазастик.

— Он думал, он не может не сказать, — пробормотала я. — Ты уж на него не злись.

Дилл забрался в постель.

— А я и не злюсь, — сказал он. — Просто хочу спать тут, с тобой. Ты проснулась?

К этому времени я проснулась по крайней мере наполовину.

— Ты это почему? — лениво спросила я.

Никакого ответа.

— Я говорю, ты почему удрал из дому? Он правда такой злой?

— Н-не-ет...

— А помнишь, ты писал — будете мастерить лодку? Не смастерили?

— Ничего мы не мастерили. Он только обещал.

Я приподнялась на локте и в полутьме поглядела на Дилла.

— Из-за этого ещё не стоило удирать. Большие много чего обещают, а не делают...

— Да нет, я не потому... просто им не до меня.

Никогда ещё я не слыхала, чтобы из дому бегали по такой чудной причине.

— Как так?

— Ну, они всё время куда-то уходят, а когда вернутся домой, всё равно сидят в комнате одни.

— И что они там делают?

— Да ничего, просто сидят и читают... А я им совсем не нужен.

Я приткнула подушку к спинке кровати и села.

— Знаешь что, Дилл? Я сегодня сама хотела сбежать, потому что наши все были тут. Они нам тоже не всё время нужны...

Дилл устало вздохнул.

— Спокойной ночи... а знаешь, Аттикуса целыми днями нет дома, а вечером часто тоже, то он в законодательном собрании, то уж не знаю где... они нам тоже не всё время нужны, Дилл, если они всё время тут, так и делать ничего нельзя.

— Да я не потому.

Дилл начал объяснять, и я подумала, что бы у меня была за жизнь, будь Джим другой, даже не такой, как стал теперь; или вдруг бы Аттикусу не надо было всё время, чтоб я была тут, и помогала ему, и советовала, — что тогда? Да нет, он без меня дня прожить не может. Кэлпурния и та не может без меня обойтись. Я им нужна.

— Дилл, ты что-то не то говоришь... твоим без тебя не обойтись. Просто они, наверно, на тебя злятся. Вот я тебе скажу, что делать...

В темноте Дилл опять заговорил упрямо:

— Нет, ты пойми, я тебе вот что хочу сказать: им и в самом деле куда лучше без меня, и ничем я им не помогаю. Они не злые. И покупают мне всё, что я захочу. А потом говорят — ну вот, на тебе и иди играй. У меня уже полна комната всего. Только и слышно — вот тебе книжка, иди читай.

— Дилл старался говорить басом. — Что ты за мальчик? Другие мальчики бегают, играют в бейсбол, а не сидят дома и не надоедают взрослым. — Тут

Дилл опять заговорил своим обыкновенным голосом. — Нет, они не злые. Они меня и целуют, и обнимают, и говорят спокойной ночи, и доброе утро, и до свиданья, и что они меня любят... Знаешь, Глазастик, пускай у нас будет ребёнок.

— А где его взять?

Дилл слышал, что есть один человек и у него лодка, он уходит на вёслах к какому-то острову, где всегда туман, и там сколько угодно маленьких детей, и можно заказать ему привезти ребёночка...

— Вот и неправда. Тётя говорит, бог кидает их прямо через каминную трубу, да, по-моему, она так и сказала.

(На этот раз тётя говорила как-то не очень разборчиво.)

— Нет, всё не так. Детей рожают друг от друга. Но у этого человека с лодкой тоже можно взять... у него на острове их сколько хочешь, только надо их разбудить, он как дунет, они сразу оживают...

Дилл опять замечтался. Он всегда придумывал необыкновенное. Он успевал прочесть две книги, пока я читала одну, но всё равно больше любил сам сочинять какие-то удивительные истории. Он считал с быстротой молнии, решал задачки на сложение и вычитание, но больше любил какой-то свой туманный мир, где младенцы спят и только ждут, чтобы их собирали, как цветы, рано поутру. Он всё говорил, говорил и совсем убаюкал сам себя и меня тоже, мне уже мерещился тихий остров в тумане — и вдруг смутно привиделся унылый дом с неприветливыми побуревшими дверями.

— Дилл...

— М-м?

— Как по-твоему, отчего Страшила Рэдди не сбежал из дому?

Дилл протяжно вздохнул и повернулся на бок. И сказал через плечо:

— Может, ему некуда бежать...

Много было телефонных звонков, много речей в защиту преступника, потом от его матери пришло длинное письмо с прощением, и, наконец, порешили, что Дилл останется. Неделю мы прожили спокойно. После этого мы, кажется, уже не знали покоя. Всё стало как в страшном сне.

Это началось однажды вечером после ужина. Дилл ещё был у нас; тётя Александра сидела в своём кресле в углу, Аттикус — в своём; мы с Джимом растянулись на полу и читали. Неделя прошла мирно: я слушалась тётю; Джим, хоть и стал уже слишком большой для нашего домика на платане, помогал нам с Диллом мастерить для него новую верёвочную лестницу; Дилл придумал новый верный способ выманить Страшилу Рэдди из дому и самим остаться целыми и невредимыми: надо просто насыпать лимонных леденцов по дорожке от чёрного хода Рэдди до калитки, и он сам пойдёт по ней, как муравей. В дверь постучали. Джим пошёл открывать, потом вернулся и сказал, что это мистер Гек Тейт.

— Так пригласи его войти, — сказал Аттикус.

— Я уже приглашал. Там во дворе ещё какие-то люди, они хотят, чтобы ты вышел к ним.

В Мейкомбе взрослые остаются за дверью только в двух случаях: если в доме покойник и если замешана политика.

Я подумала, кто же это умер? Мы с Джимом пошли было к дверям, но Аттикус крикнул:

— Сидите дома!

Джим погасил свет в гостиной и прижался носом к стеклу. Тётя Александра запротестовала.

— Одну секунду, тётя, — сказал он, — я только посмотрю, кто там пришёл.

Мы с Диллом стали смотреть в другое окно. Аттикуса окружили какие-то люди. Кажется, они говорили все разом.

— ...завтра переведём его в окружную тюрьму, — говорил мистер Тейт. — Я вовсе не хочу никаких неприятностей, но не могу поручиться, что их не будет...

— Не глупите, Гек, — сказал Аттикус. — Мы не где-нибудь, а в Мейкомбе.

— ...говорю, мне просто неспокойно.

— Гек, мы для того и получили отсрочку, чтобы не надо было ни о чём

беспокоиться, — сказал Аттикус. — Сегодня суббота. Суд, вероятно, состоится в понедельник. Неужели вы не можете поддержать его здесь одну ночь? Наверяд ли кто-нибудь в Мейкомбе поставит мне в вину, что я не отказываюсь от клиента, все знают — времена сейчас тяжёлые.

Все вдруг развеселились, но сейчас же затихли, потому что мистер Линк Диз сказал:

— Из здешних-то никто ничего не затевает, меня беспокоит эта шайка из Старого Сарэма... А вы не можете добиться... как это называется, Гек?

— Передачи дела в другой округ, — подсказал мистер Тейт. — Сейчас от этого, кажется, толку не будет.

Аттикус что-то сказал, я не расслышала. Обернулась к Джиму, но он только отмахнулся — молчи, мол.

— ...и потом, — продолжал Аттикус погромче, — вы ведь не боитесь этой публики, верно?

— ...знаете, каковы они, когда налагаются.

— По воскресеньям они обычно не пьют, они полдня проводят в церкви, — сказал Аттикус.

— Ну, это случай особый, — сказал кто-то.

Они всё гудели и переговаривались, и, наконец, тётя сказала — если Джим не зажжёт свет в гостиной, это будет позор для всей семьи. Но Джим не слышал.

— ...не пойму, во-первых, чего ради вы за это взялись, Аттикус, — говорил мистер Линк Диз. — Вы на этом деле можете всё потерять. Всё как есть.

— Вы серьёзно так думаете?

Когда Аттикус задаёт этот вопрос — берегись! «Ты серьёзно думаешь сделать этот ход, Глазастик?» Хлоп, хлоп, хлоп — и на доске не остаётся ни одной моей шашки. «Ты серьёзно так думаешь, сын? Тогда почитай-ка вот это». И целый вечер Джим мается, одолевая речи Генри В. Грейди.

— Послушайте, Линк, может быть, этот малый и сядет на электрический стул, но сначала все узнают правду, — ровным голосом сказал Аттикус. — А вы её знаете.

Поднялся ропот. Аттикус шагнул назад к крыльцу, но все подступили ближе, и шум стал каким-то зловещим.

— Аттикус! — вдруг крикнул Джим. — Телефон звонит!

Все вздрогнули от неожиданности и отодвинулись; этих людей мы видели каждый день: тут были лавочники, кое-кто из мейкомбских фермеров; тут были и доктор Рейнолдс и мистер Эйвери.

— Так ты подойди к телефону, — отозвался Аттикус.

Все засмеялись и разошлись. Аттикус вошёл в гостиную, щёлкнул выключателем и увидел, что Джим сидит у окна весь бледный, только кончик носа красный, потому что он был прижат к стеклу.

— Что это вы тут сидите в темноте? — удивился Аттикус.

Джим смотрел, как он сел в кресло и взялся за вечернюю газету. Иногда мне кажется, Аттикус все самые важные события своей жизни обдумывает на досуге, укрывшись за страницами «Мобил реджистер», «Бирмингем ньюс» и «Монтгомери эдвертайзер».

Джим подошёл к Аттикусу.

— Они приходили за тобой, да? Они хотели с тобой расправиться?

Аттикус опустил газету и поглядел на Джима.

— Чего это ты начитался? — спросил он. Потом прибавил добрым голосом: — Нет, сын, это наши друзья.

— Это не... не шайка? — Джим смотрел исподлобья.

Аттикус хотел сдержать улыбку, но не сумел.

— Нет, у нас в Мейкомбе не бывает разъярённой толпы и прочих глупостей. Я никогда не слыхал, чтобы у нас свирепствовали банды.

— Одно время ку-клукс-клан охотился на католиков.

— Я и про католиков в Мейкомбе никогда не слыхал, — сказал Аттикус. — Ты что-то путаешь. Давно уже, примерно в девятьсот двадцатом году, тут существовал ку-клукс-клан, но это была по преимуществу организация политическая. И никого они тогда не могли испугать. Как-то они устроили демонстрацию у дома мистера Сэма Ливи, но Сэм вышел на крыльцо и сказал, что, видно, плохи их дела, раз они ходят вокруг него в балахонах, которые из его же полотна и шили. До того их застыдил, что они ушли.

Семейство Ливи отвечало всем требованиям, которые предъявлялись в Мейкомбе к людям благородным: Ливи употребляли с пользой свой ум и способности, и уже пять поколений жили в нашем городе на одном и том же месте.

— Ку-клукс-клан умер и никогда не воскреснет, — сказал Аттикус.

Я пошла проводить Дилла, потом вернулась и из-за двери услышала, как Аттикус говорит тёте:

— ...наравне со всеми готов отдать дань уважения женщинам Юга, но отнюдь не жертвовать человеческой жизнью в угоду мифу, защищая их от опасности, которая им не грозит.

Голос у него был такой... я подумала — опять они ссорятся.

Я пошла искать Джима, он был у себя — лежал на кровати и о чём-то думал.

— Они поругались? — спросила я.

— Вроде того. Она всё донимает его из-за Тома Робинсона. Она почти что сказала Аттикусу, что он позорит всю семью. Я... я боюсь, Глазастик.

— Чего боишься?

— Боюсь за Аттикуса. Вдруг с ним что-нибудь случится?

Я стала его расспрашивать, но Джим напустил на себя таинственность и только и отвечал — отвяжись да не приставай.

Назавтра было воскресенье. В перерыве между воскресной школой и службой все вышли немножко размяться, и я увидела во дворе Аттикуса, его окружили какие-то люди. Тут был и мистер Гек Тейт, и я подумала, может, он прозрел и поверил в бога. Раньше он никогда не ходил в церковь. Тут был даже мистер Андервуд. Мистер Андервуд никогда нигде не бывал и ничем не занимался, кроме «Мейкомб трибюн» — он один был и владельцем газеты, и редактором, и наборщиком. С утра до ночи он не отходил от своего линотипа и только, чтобы подкрепиться, отпивал по глотку вишнёвки — у него тут же всегда стоял целый кувшин. Он редко выходил узнавать новости, люди сами к нему приходили и рассказывали. Говорили, он весь номер газеты сам сочиняет и сам печатает на своём линотипе. И это было очень похоже на правду. Уж, наверно, случилось что-то необыкновенное, раз мистер Андервуд вылез на свет божий.

Я перехватила Аттикуса на пороге, и он сказал — Тома Робинсона перевели в мейкомбскую тюрьму. И сказал ещё, пожалуй, не мне, а себе — если б его с самого начала тут держали, ничего бы и не было, всё сошло бы спокойно. Он сел на своё место в третьем ряду и запел «Приблизусь я к тебе, господь», он немного отставал от всех, и его густой голос звучал совсем отдельно. Он никогда не садился вместе с нами. В церкви он любил быть сам по себе.

По воскресеньям все в доме делают вид, что всё хорошо, а с тех пор, как у нас поселилась тётя Александра, стало ещё противнее. Сразу после обеда Аттикус удирает к себе в кабинет, иногда мы заглянем к нему, а он сидит, откинувшись в вертящемся кресле, и читает. Тётя Александра укладывалась на два часа вздремнуть и грозила — пусть только мы попробуем шуметь во дворе, когда все соседи отдыхают. Джим тоже дожил до такого возраста, что уходил к себе с целой кипой футбольных журналов. Нам с Диллом только и оставалось в воскресенье втихомолку играть на Оленьем лугу.

Стрелять из духового ружья по воскресеньям не разрешалось, и мы с Диллом погоняли немного по лугу футбольный мяч Джима, но это было скучно. Дилл сказал — пойдём поглядим, может, удастся увидеть

Страшилу Рэдли. Я сказала — пожалуй, нехорошо к нему приставать, и начала рассказывать Диллу про всё, что случилось за эту зиму. Он слушал и удивлялся.

К ужину мы разошлись по домам, а после ужина мы с Джимом собирались, как всегда, весь вечер читать, но тут Аттикус нас удивил: он вышел в гостиную, и в руках у него был длинный электрический провод. И на одном конце — лампочка.

— Я ненадолго уйду, — сказал он. — Когда вернусь, вы все будете уже в постели, так что пожелаю вам спокойной ночи.

Надел шляпу и вышел из дому с чёрного хода.

— Он берёт машину, — сказал Джим.

У нашего отца были свои странности: во-первых, он никогда не ел сладкого, во-вторых, любил ходить пешком. Сколько я себя помню, в гараже всегда стоял чистенький, аккуратный «шевроле», и Аттикус всегда разъезжал на нём по делам, но в самом Мейкомбе в свою контору и обратно он по два раза в день ходил пешком, а это означало около двух миль. Он говорил: ходьба — это его единственный спорт. А в Мейкомбе считают: если человек идёт пройтись просто так, без определённой цели, значит, он и вообще такой — ни к чему не стремится и ничего никогда не достигнет.

Потом я пожелала тёте и брату спокойной ночи и давно уже лежала и читала, и тут в комнате Джима начался какой-то непонятный шум. Ко сну он обычно готовился не так, я каждый звук знала наизусть, и я постучалась к нему.

— Ты почему не ложишься?

— Сбегаю ненадолго в город. — Он натягивал штаны.

— А зачем? Уже почти десять часов.

Это он знал, по всё равно собрался уходить.

— Тогда и я с тобой. И если ты скажешь не ходить, я всё равно пойду, слышишь?

Джим понял, что так просто я дома не останусь, придётся со мной драться, а значит, злить тётю, и нехотя сдался.

Я быстро оделась. Мы подождали, пока у тёти погас свет, и тихо вышли с заднего крыльца. Ночь была тёмная, безлунная.

— Дилл тоже захотел бы пойти, — прошептала я.

— Пускай идёт, — хмуро ответил Джим.

Мы перескочили через низенькую ограду, перешли двор мисс Рейчел и стали под окном Дилла. Джим крикнул перепелом.

За стеклом появилось лицо Дилла, сразу исчезло, а через пять минут он отворил окно и вылез к нам. Как человек бывалый, он не стал ни о чём

спрашивать, пока мы не вышли на улицу.

— Что случилось?

— У Джима бродячий приступ.

Кэлпурния говорила — у всех мальчишек в его годы бывает бродячая болезнь.

— Просто так захотелось, — сказал Джим. — Просто так.

Миновали дом миссис Дюбоз, он стоял пустой, с закрытыми ставнями, камелии чуть виднелись среди разросшейся крапивы и полыни. До угла — до почты — оставалось пройти ещё восемь домов.

Южная сторона площади была пустынна. На каждом углу щетинились огромные араукарии, между ними, в свете уличных фонарей поблёскивала железная коновязь. Свет горел ещё в общественной уборной, а больше с этой стороны здания суда не было ни огонька. Площадь перед судом была квадратная, со всех сторон магазины, в них, где-то в глубине, тоже виднелся слабый свет.

Когда Аттикус только начал работать адвокатом, его контора помещалась в самом здании суда, но через несколько лет он перебрался в здание городского банка, там было тише и спокойнее. Мы завернули за угол и увидели перед банком машину «шевроле».

— Он здесь, — сказал Джим.

Но Аттикуса здесь не было. К его конторе вёл длинный коридор. Будь за его дверью свет, мы бы увидели табличку с небольшими чёткими буквами: АТТИКУС ФИНЧ, АДВОКАТ. Сейчас тут было темно.

Джим ещё раз всмотрелся в темноту за стеклянной дверью банка. Нажал ручку двери. Заперто.

— Пройдём-ка по улице. Может, он зашёл к мистеру Андервуду.

Мистер Андервуд не только выпускал газету «Мейкомб трибюн», он и жил в редакции. Вернее, над ней. О том, что происходит в суде и в тюрьме, он узнавал, просто-напросто глядя из окна второго этажа. Его дом стоял на северо-западном углу площади, идти к нему надо было мимо тюрьмы.

Тюрьма была самым почтенным и самым безобразным зданием во всём Мейкомбе. Аттикус говорил, такое мог бы придумать кузен Джошуа Сент-Клер. И правда — это было как в бреду. Все дома в городе простые и обыкновенные, с прямыми широкими фасадами и покатыми крышами, и вдруг ни с того ни с сего торчит крохотный готический храмик — одна камера в ширину, две в высоту, и всё это дополняется контрфорсами и зубчатыми башенками. А оттого, что фасад тюрьмы был из красного кирпича и в окнах, какие бывают только в церкви, виднелись толстые стальные решётки, всё это выглядело совсем уж неправдоподобно. И добро

бы ещё эта нелепость стояла на каком-нибудь одиноком холме, но она была втиснута между «Скобьяными изделиями» Тиндела и редакцией «Мейкомб трибюн». Тюрьма у нас в Мейкомбе вызывала постоянные споры — хулители говорили — это точь-в-точь уборная времён королевы Виктории; а их противники уверяли — такое здание придаёт городу почтенный, благородный вид, и заезжему человеку нипочём не догадаться, что там внутри полно черномазых.

Мы шли по тротуару и вдруг увидели поодаль одинокий огонёк.

— Странно, — сказал Джим, — у тюрьмы снаружи фонаря нет.

— Вроде это лампочка над дверью, — сказал Дилл.

Сквозь прутья решётки из окна второго этажа свисал длинный провод. В свете голый, без колпака, лампочки сидел у входа Аттикус. Он, видно, принёс из своей конторы стул, приставил его к двери и теперь читал, не обращая никакого внимания на мотыльков и всякую ночную мошкарку, которая вилась у него над головой.

Я хотела побежать, но Джим схватил меня за руку.

— Не ходи к нему, — сказал он, — ещё рассердится. Он здесь — и всё в порядке, пошли домой. Я только хотел посмотреть, где он.

Мы стали наискосок переходить площадь, и тут по Меридианскому шоссе медленно, одна за другой, подъехали четыре запылённые машины. Они обогнули площадь, миновали банк и остановились напротив тюрьмы.

Из машин никто не вышел. Аттикус поднял голову от газеты. Аккуратно её сложил, опустил на колени и сдвинул шляпу на затылок. Похоже, он ждал, что они приедут.

— Пошли, — прошептал Джим.

Мы кинулись через площадь, потом по улице и спрятались за киоском. Джим осторожно выглянул.

— Можно ещё поближе, — сказал он.

Мы побежали к магазину Тиндела — отсюда было совсем близко, нам всё видно, а нас никто не заметит.

Приезжие по одному, по двое вылезали из машин. Сначала они были как тени, потом двинулись к тюрьме, и при свете стало видно, что все они большие, плотные. Аттикус не двинулся с места. Широкие спины заслонили его от нас.

— Он здесь, мистер Финч? — спросил кто-то.

— Здесь, — отозвался Аттикус. — Он спит, не разбудите его.

Много позже я поняла, как жутко и смешно это было при тех далеко не забавных обстоятельствах, но отца послушались: люди стали говорить вполголоса.

— Вы знаете, зачем мы пришли, — сказал кто-то другой. — Отойдите от двери, мистер Финч.

— Поезжайте домой, Уолтер, — вежливо сказал Аттикус. — Гек Тейт где-то поблизости.

— Чёрта с два! — сказал ещё кто-то. — Гек со своими подручными рыщет по лесу, до утра оттуда не вылезет.

— Вот как? С чего бы это?

— Ищет ветра в поле, — был краткий ответ. — Вы про это не думали, мистер Финч?

— Думал, но не верил. — Голос моего отца звучал всё так же спокойно. — Что ж, это меняет дело, не так ли?

— Ну, ясно, — сказал ещё чей-то бас. Говорившего было не разглядеть.

— Вы серьёзно так думаете?

Второй раз за два дня я слышала от Аттикуса этот вопрос — значит, сейчас кому-то достанется на орехи. На это стоит поглядеть! Я вывернулась из-под руки Джима и во весь дух побежала к Аттикусу.

Джим вскрикнул и бросился за мной, но они с Диллом меня не догнали. Я протолкалась среди тёмных фигур, от которых шёл тяжёлый запах, и выбежала в круг света.

— Аттикус, привет!

Я думала — вот он обрадуется! — но лицо у него сделалось такое, что всё моё веселье пропало. Глаза у него стали просто-напросто испуганные, но это сразу прошло, как только сквозь толпу пробрались Джим и Дилл.

Пахло спиртным перегаром и хлевом, я огляделась — все кругом были чужие. Не те, которые приходили вчера вечером. Меня бросило в жар от смущения: я так победоносно выскочила, а на меня смотрят совсем незнакомые люди!

Аттикус поднялся со стула, он двигался медленно, как старик. Он аккуратно разгладил газету по складкам и бережно отложил. Пальцы его слегка дрожали.

— Иди домой, Джим, — сказал он. — Отведи сестру и Дилла домой.

Мы привыкли, когда Аттикус что-нибудь велит, слушаться — может, и не всегда охотно, но быстро, — а тут Джим стоял с таким видом, будто и не собирался тронуться с места.

— Иди домой, я сказал.

Джим покачал головой. Аттикус упёрся кулаками в бока — и Джим тоже, и так они стояли друг против друга, очень разные: у Джима мягкие каштановые волосы, карие глаза, продолговатое лицо, уши плотно

прилегают к голове — он весь в маму, а у Аттикуса волосы чёрные с проседью, черты лица прямые, резкие, и всё-таки мне показалось, они похожи. Это потому, что оба смотрели вызывающе.

— Сын, я сказал: иди домой.

Джим только головой помотал.

— Вот я его отправлю домой, — сказал какой-то верзила, сгрёб Джима за шиворот и так отшвырнул, что Джим едва удержался на ногах.

— Не тронь его!

И я наподдала этому дядьке ногой. Я была босиком и очень удивилась, что он весь сморщился, охнул и отступил. Я хотела стукнуть его по коленке, но попала слишком высоко.

— Хватит, Глазастик, — Аттикус взял меня за плечо. — Не лягайся и не брыкайся. Тише, — прервал он, когда я хотела что-то сказать в своё оправдание.

— А пускай они не трогают Джима, — сказала я.

— Ладно, мистер Финч, заберите их отсюда, — проворчал кто-то. — Даём вам на это дело пятнадцать секунд.

Аттикус стоял среди этих непонятных людей и старался заставить Джима послушаться. Он грозил, убеждал, наконец даже сказал:

— Я тебя прошу, Джим, уведи их.

А Джим в ответ упрямо твердил одно:

— Не пойду.

Мне всё это стало надоедать, но я чувствовала — Джим не зря упрямится, ведь он знает, как ему Аттикус задаст, когда уж мы все придём домой. Я стала осматриваться. Была тёплая летняя ночь, но почти на всех этих людях комбинезоны и грубые бумажные рубашки были застёгнуты наглухо, до самого подбородка. Наверно, все они боятся простуды, подумала я, вот и рукава у них не засучены, и даже манжеты застёгнуты. Те, кто был в шляпах, нахлобучили их на самые брови. И все они были какие-то мрачные, смотрели сонно, как будто им непривычно в такой поздний час оказаться на ногах. Я ещё раз поискала, нет ли тут хоть одного знакомого лица, они стояли полукругом, и того, что стоял посередине, я вдруг узнала.

— Привет, мистер Канингем!

Он меня словно и не слышал.

— Привет, мистер Канингем! Как у вас с ущемлением прав?

Положение дел Уолтера Канингема-старшего было мне хорошо известно, Аттикус когда-то подробно мне всё это растолковал. Рослый, плечистый, он как-то растерянно заморгал и сунул большие пальцы под

лямки комбинезона. Казалось, ему не по себе; он откашлялся и посмотрел в сторону. Моё дружеское приветствие осталось без ответа.

Мистер Канингем был без шляпы, лоб его казался очень белым, а всё лицо, обожжённое солнцем, особенно тёмным — наверно, всегда он ходит в шляпе. Он переступил с ноги на ногу — башмаки у него были огромные, грубые.

— Вы меня не узнаете, мистер Канингем? Я Джин Луиза Финч. Вы нам один раз принесли орехов, помните?

Кажется, я старалась зря — ужасно неловко, когда случайный знакомый потом тебя не узнаёт.

— Я учусь вместе с Уолтером, — сделала я новую попытку. — Ведь это ваш сын, правда? Правда, сэр?

Мистер Канингем чуть заметно кивнул. Всё-таки он меня узнал!

— Мы с Уолтером в одном классе, — продолжала я, — он очень хорошо учится. И он славный, — прибавила я, — правда, правда, он хороший. Один раз он приходил к нам обедать. Может быть, он вам про меня рассказывал, один раз я его поколотила, а он ничего, он правда славный. Вы ему передайте от меня привет, ладно?

Аттикус когда-то мне объяснил: если ты человек вежливый, говори с другими не про то, что интересно тебе, а про то, что интересно им. Мистеру Канингему, видно, было совсем не интересно слушать про своего сына, а мне так хотелось, чтоб ему не было скучно, и я с горя сделала последнюю попытку — может, всё-таки интереснее поговорить про ущемление.

— Ущемление — это очень неприятная штука, — стала я ему объяснять.

И тут, наконец, я заметила, что обращаюсь с речью к целой толпе. Все они смотрели на меня, некоторые даже рот раскрыли. Аттикус уже не приставал к Джиму, они оба стояли рядом с Диллом. И они тоже смотрели и слушали как заколдованные. Аттикус даже рот приоткрыл, а он всегда объяснял, что это не очень-то красиво. Наши взгляды встретились, и он закрыл рот.

— Знаешь, Аттикус, я вот говорю мистеру Канингему, конечно, когда ущемление прав, это очень плохо, но ты ведь говорил не волноваться, такие дела иногда долго тянутся... и вы уж как-нибудь общими силами выпутаетесь...

И я окончательно замолчала и только думала, какая я дура. Видно, про ущемление хорошо разговаривать только в гостиной.

У меня даже голова вспотела: не могу я, когда целая куча народу на

меня смотрит. Все стояли и молчали.

— Что случилось? — спросила я.

Аттикус не ответил. Я оглянулась на мистера Канингема, у него тоже лицо было невозмутимое. А потом он поступил очень странно. Он присел на корточки и обеими руками взял меня за плечи.

— Я ему передам от тебя привет, маленькая леди, — сказал он.

Встал, выпрямился и махнул огромной ручищей.

— Пошли отсюда! — крикнул он. — Поехали, ребята!

И так же, как пришли, по двое, по одному они двинулись, волоча ноги, к своим расхлябанным машинам. Захлопали дверцы, зачихали моторы — и все уехали.

Я обернулась к Аттикусу, а он, оказывается, отошёл и прислонился лбом к стене тюрьмы. Я подошла и потянула его за рукав.

— Теперь мы пойдём домой?

Он кивнул, достал платок, утёр лицо и громко высморкался.

— Мистер Финч, — позвал из темноты, откуда-то сверху, тихий хриплый голос. — Они ушли?

Аттикус отошёл от стены и поднял голову.

— Ушли, — сказал он. — Поспи немного, Том. Они не вернуться.

С другой стороны в темноте раздался ещё один голос.

— Уж будьте уверены, что не вернуться, — сказал он резко. — Я всё время был начеку, Аттикус.

Из окна над редакцией «Мейкомб трибюн» высунулся мистер Андервуд с двустволкой в руках.

Было поздно, я устала, глаза у меня слипались: казалось, Аттикус и мистер Андервуд проговорят до утра, один — высунувшись из окна, другой — задрал к нему голову. Наконец Аттикус подошёл к нам, погасил лампочку над дверью тюрьмы и подхватил стул.

— Можно, я его понесу, мистер Финч? — попросил Дилл.

За всё время это были его первые слова.

— Спасибо, дружок.

И мы пошли к банку — Аттикус с Джимом впереди, я и Дилл за ними. Дилл тащил стул и поэтому шёл медленнее. Аттикус с Джимом ушли вперёд, и я думала, Аттикус его здорово ругает — почему не пошёл домой, — но ошиблась. Они как раз поравнялись с фонарём, и видно было: Аттикус поднял руку и взъерошил Джиму волосы — никаких других нежностей он не признавал.

Джим услышал меня. Заглянул в дверь. А когда подошёл к моей кровати, в комнате у Аттикуса вспыхнул свет. Мы застыли на месте и не шевелились, пока свет не погас; мы слушали, как Аттикус ворочается, и ждали. Наконец опять стало тихо.

Джим увёл меня к себе и уложил.

— Постарайся заснуть, — сказал он. — Послезавтра, может быть, всё уже кончится.

Нам пришлось возвращаться очень тихо, чтоб не разбудить тётю. Аттикус заглушил мотор ещё на дорожке и руками втокнул машину в гараж; мы вошли с чёрного хода и молча разошлись по своим комнатам. Я очень устала и уже совсем засыпала, и вдруг мне привиделся Аттикус — он складывает газету и сдвигает шляпу на затылок, а потом — Аттикус посреди пустой, замершей в ожидании улицы сдвигает на лоб очки. Меня точно ударило, только тут я поняла, что произошло в этот вечер, и заплакала. Джим просто молодец, он и слова не сказал, что, когда человеку скоро девять лет, ему реветь не пристало.

Утром ни у кого не было аппетита, только Джим уплёл три яйца подряд. Аттикус посмотрел на него с откровенным восхищением; тётя Александра крохотными глоточками пила кофе, от неё так и веяло холодом. Дети, которые по ночам тайком удирают из дому, — это позор для семьи. Аттикус сказал — он очень рад, что этот позор подоспел вовремя, но тётя сказала:

— Глупости, мистер Андервуд всё время был начеку.

— А знаешь, это очень забавно, — сказал Аттикус. — Ведь Бракстон терпеть не может негров, даже близко их не подпускает.

В Мейкомбе мистера Андервуда считали закоренелым нечестивцем; его отец сыграл с ним злую шутку — окрестил сына Бракстоном Брэггом, и он всю жизнь очень старался заставить окружающих про это забыть. Аттикус говорил: кого называли в честь генералов Южной армии, тот рано или поздно становится горьким пьяницей.

Кэлпурния подала тётю Александре ещё кофе, и я поглядела на неё умоляюще и убедительно как могла, но она только головой покачала.

— Ты ещё мала для кофе, — сказала она. — Когда дорастёшь, тогда я тебе и так налью.

Я сказала — может, кофе мне полезно для желудка.

— Ладно, — сказала Кэлпурния и взяла с буфета чашку. Налила в неё столовую ложку кофе и до краёв долила молоком.

В благодарность я показала чашке язык, подняла глаза и увидела меж бровей тёти предостерегающую морщинку. Но это она хмурилась на Аттикуса. Она подождала, чтоб Кэлпурния ушла на кухню, и тогда сказала:

— Не говори так при них.

— Как именно и при ком именно? — спросил Аттикус.

— При Кэлпурнии. Ты сказал при ней, что Бракстон Андервуд терпеть не может негров.

— Ну, Кэл, разумеется, и сама это знает. Это всему Мейкомбу известно.

В те дни я стала замечать едва уловимую перемену в отце, она чувствовалась, когда он разговаривал с тётёй Александрой. Он не то чтобы злился, а всё-таки её осаживал. Вот и сейчас в голосе его слышалась жёсткая нотка.

— Всё, что можно сказать у нас за столом, можно сказать при Кэлпурнии, — отрезал он. — Она знает, что она значит для нашей семьи.

— Мне кажется, это плохая привычка, Аттикус. Это их поощряет. Ты же знаешь, какие они болтуны. Обо всём, что за день случится в городе, ещё до вечера известно всему негритянскому кварталу.

Отец положил нож.

— Я не знаю такого закона, который запрещал бы им разговаривать. Может быть, если бы мы не давали им столько поводов для разговора, они бы и не разговаривали. Почему ты не пьёшь кофе, Глазастик?

Я болтала в чашке ложкой.

— А я думала, мистер Канингем нам друг. Ты мне когда-то, так и сказал.

— Он и есть наш друг.

— А вчера вечером он тебя хотел бить.

Аттикус положил вилку рядом с ножом и отодвинул тарелку.

— Мистер Канингем в общем-то хороший человек, — сказал он. — Просто у него, как у каждого из нас, есть свои слабости.

— Да разве это слабость? — вдруг сказал Джим. — Вчера вечером, когда они только приехали, он готов был тебя убить.

— Пожалуй, мне от него и досталось бы, — согласился Аттикус. — Но видишь ли, сын, когда ты станешь постарше, ты будешь немного лучше понимать людей. Что бы там ни было, а всякая толпа состоит из людей. Вчера вечером мистер Канингем был частью толпы, но всё равно он оставался человеком. Всякая толпа во всяком маленьком южном городке

состоит из людей, которых мы знаем, из самых обыкновенных людей, и это не очень для них лестно, не так ли?

— Да уж... — сказал Джим.

— И потому надо было вмешаться восьмилетнему ребёнку, чтобы они опомнились, так? — продолжал Аттикус. — А ведь это что-нибудь да значит, если стадо диких зверей всё-таки можно остановить, ибо в последнем счёте они всё же люди. М-да, может быть, нам нужны полицейские-дети... Вчера вечером вы, дети, заставили Уолтера Канингема на минуту влезть в мою шкуру. И этого было довольно.

Не знаю, может, Джим, когда станет постарше, и правда будет лучше понимать людей, а я не буду. Это уж я знаю точно.

— Пускай только Уолтер придёт в школу, живым он от меня не уйдёт, — пообещала я.

— Ты его и пальцем не тронешь, — решительно сказал Аттикус. — Что бы ни случилось, а я не желаю, чтобы ты или Джим после вчерашнего случая на кого-нибудь затаили зло.

— Вот видишь, к чему всё это ведёт, — сказала тётя Александра. — Помни, я тебя предупреждала.

Аттикус сказал, что будет помнить, резко отодвинул стул и поднялся.

— У меня впереди трудный день, так что прошу извинить. Джим, я бы очень хотел, чтобы вы с Глазастиком сегодня в город не ходили.

Едва Аттикус ушёл, к нам в столовую вприпрыжку вбежал Дилл.

— Сегодня весь город об этом говорит! — объявил он. — Все говорят, как мы голыми руками отбились от целых ста человек...

Тётя Александра так на него посмотрела — он мигом прикусил язык.

— Там не было ста человек, — сказала она, — и никто ни от кого не отбивался. Там была просто кучка этих пьяных, разнузданных Канингемов.

— Не обращайтесь внимания, тётя, Дилл всегда преувеличивает, — сказал Джим и кивнул, чтоб мы шли за ним.

— Со двора никуда не ходите, — предупредила она, когда мы вышли на веранду.

Можно было подумать — сегодня суббота. Мимо нашего дома неторопливым, по непрерывным потоком двигались люди из южной части округа Мейкомб.

Сидя мешком на своей породистой лошадке проехал мистер Дольфус Реймонд.

— Не пойму, как он только держится в седле, — пробормотал Джим. — И как это он может — с утра пораньше, восьми нет, и уже пьяный!

Проехала тряская повозка, в ней тесно сидели женщины в матерчатых

панаммах, заслонявших лица от солнца, и в платьях с длинными рукавами. Правил бородатый мужчина в войлочной шапке.

— Смотри, меннониты, — сказал Диллу Джим. — У них вся одежда без пуговиц.

Меннониты жили в лесах, всё, что им требовалось, продавали и покупали на другом берегу реки и в Мейкомб почти никогда не заглядывали. Дилл смотрел на них с любопытством.

— У них у всех голубые глаза, — объяснял Джим, — и мужчины после свадьбы не должны бриться. Их жёнам нравится, когда от бороды щекотно.

Проехал на муле мистер Икс Биллапс и помахал нам рукой.

— Он забавный, — сказал Джим. — Икс — это у него не инициал, это его так зовут. Один раз его вызвали в суд свидетелем и спрашивают — как ваше имя? Он говорит — Икс Биллапс. Секретарь просит — скажите полностью, а он опять — Икс. Его опять переспрашивают, а он опять своё. В конце концов он написал на бумаге букву «икс» и поднял, чтоб все видели. Его спрашивают, что это у вас за имя такое, а он говорит, так отец с матерью записали, когда он родился.

Жители округа всё шли и шли мимо нас, и Джим рассказывал Диллу про самых примечательных людей: мистер Тенсоу Джонс голосовал за сухой закон; мисс Эмили Дейвис втихомолку нюхает табак; мистер Байрон Уоллер играет на скрипке; у мистера Джейка Слейда в третий раз режутся зубы.

Из-за угла появилась ещё повозка, все её пассажиры смотрели как-то очень сурово. Они поравнялись с домом мисс Моды Эткинсон; у неё в саду пылали яркими красками летние цветы, и тут на крыльцо вышла сама мисс Моды. Удивительное дело: когда мисс Моды стоит на крыльце, от нас до неё далеко, лица не разглядеть, и всё равно сразу видно, какое у неё настроение. Вот она стоит, немножко подалась вперёд, руки в боки, и голову наклонила набок, очки блестят на солнце. И мы уже знаем: улыбка у неё сейчас самая злоехидная.

Возница придержал мулов, и одна женщина с повозки визгливо закричала:

— Тщеславному уготована тьма вечная!

И мисс Моды ответила:

— Кто сердцем радостен, тот и ликом светел!

Наверно, эти ногомойщики подумали — сатана и священное писание по-своему толкует, потому что возница скорей погнал мулов. И что им дался сад мисс Моды? Просто понять нельзя — хоть мисс Моды целыми днями и копается в земле, а писание она знает назубок.

Мы подошли к её забору.

— Вы в суд пойдёте? — спросил Джим.

— Нет, — сказала мисс Моды. — В суде мне нынче делать нечего.

— А поглядеть не хотите? — спросил Дилл.

— Нет. Жестоко это — смотреть, когда беднягу того и гляди засудят на смерть. А народ съезжается, как на праздник.

— Так ведь его должны судить при людях, мисс Моды, — сказала я. — Иначе неправильно.

— Это мне известно, — сказала мисс Моды. — Именно потому, что суд у нас публичный, при людях, мне туда идти уже не обязательно — так?

Мимо прошла мисс Стивени Кроуфорд. Она была в шляпе и в перчатках.

— Гм-гм, — сказала она. — Сколько народу, можно подумать, что сам Уильям Дженнингс Брайан будет говорить речь.

— А ты куда собралась, Стивени? — окликнула мисс Моды.

— За покупками.

Мисс Моды сказала: отродясь не видела, чтоб Стивени за покупками ходила в шляпе.

— Ну, может быть, я и загляну на минутку в суд погляжу, как там наш Аттикус, — сказала мисс Стивени.

— Берегись, как бы он не вручил и тебе повестку, — сказала мисс Моды.

Мы не поняли и попросили разъяснений, и мисс Моды сказала — мисс Стивени, видно, столько знает об этом деле, отчего бы ей не дать свидетельские показания.

Мы терпели до полудня; Аттикус пришёл домой поесть и сказал, что всё утро отбирали присяжных. После обеда мы зашли за Диллом и отправились в город.

Поистине это был большой день. У коновязи нельзя было втиснуть больше ни одной лошади, под каждым деревом теснились мулы и повозки. Площадь перед судом была заполнена компаниями и семьями, как на пикнике; рассаживались прямо на земле, подостлав газеты, ели печенье с патокой и запивали тёплым молоком из кувшинов. Некоторые грызли холодную курицу или свиную отбивную. А кто побогаче, запивал еду купленной в аптеке кока-колой в стаканчиках из-под содовой. Чумазы ребятишки гонялись в толпе друг за другом, матери кормили младенцев.

В дальнем конце площади тихо сидели на пригреве негры; у них на обед были сардины, сухое печенье, и пили они душистую нихи-колу. С ними сидел мистер Дольфус Реймонд.

— Джим, — сказал Дилл, — он пьёт из мешка!

И правда, мистер Дольфус Реймонд держал во рту две жёлтые соломинки, какие дают в аптеке, а другим концом они уходили в бумажный коричневый пакет.

— Первый раз такое вижу, — пробормотал Дилл. — Что это у него там? И как оно не прольётся?

Джим фыркнул.

— У него в пакете бутылка из-под кока-колы, а в бутылке виски. Это чтоб женщины не волновались. Вот увидишь, он весь день будет так тянуть, потом отойдёт, дольёт бутылку — и опять давай пить.

— А почему он сидит с цветными?

— Он всегда так. Наверно, они ему нравятся больше нас. Он живёт на отшибе, на самом краю нашего округа. И с ним живёт цветная женщина и целая куча ребятишек мулатов. Если они тут будут, я тебе покажу.

— С виду он не такой, как бывают подонки, — сказал Дилл.

— Он и не подонок, у него своя земля — большой кусок вдоль берега, и он родом из очень хорошей семьи.

— А почему же он так живёт?

— Просто ему так больше нравится, — сказал Джим. — Говорят, он никак не опомнится после своей свадьбы. Он должен был жениться на... на какой-то из Спендер, что ли. Хотели очень пышно справить свадьбу, да не вышло... После оглашения невеста поднялась к себе и застрелилась из охотничьего ружья. Нажала собачку босой ногой.

— А почему, не узнали?

— Нет, — сказал Джим, — толком никто ничего не знал, кроме мистера Дольфуса. Говорят, она узнала про ту его негритянку, он думал и негритянку себе оставить и жениться. Вот с тех пор он всегда и пьяный. А с этими детишками он добрый...

— Джим, — спросила я, — а что это — мулат?

— Наполовину белый, наполовину цветной. Да ты их видела, Глазастик. Знаешь разносчика из аптеки, такой рыжий, курчавый? Вот он наполовину белый. Они все несчастные.

— А почему?

— Так ведь они ни рыба ни мясо. Цветные их своими не считают, потому что они наполовину белые, а белые их тоже не признают, потому что они цветные, вот они и выходят неприкаянные, ни в тех, ни в сих. А мистер Дольфус, говорят, двух своих ребят отправил на север. На севере люди не против цветных. Смотрите, вот один такой.

В нашу сторону шла негритянка, за её руку цеплялся маленький

мальчик. Мне показалось — настоящий негритёнок, совсем шоколадный, ноздри широкие, и зубы сверкают. Он каждую минуту начинал весело прыгать, а негритянка его дёргала за руку, чтоб перестал.

Джим подождал, пока они прошли мимо.

— Этот мальчонок тоже из его мулатов, — сказал он.

— А почём ты знаешь? — спросил Дилл. — По-моему, он просто чёрный.

— Ну, иногда по виду и не скажешь, надо знать, кто он такой. Но только этот наполовину Реймонд, верно говорю.

— Да почём ты знаешь? — спросила я.

— Я ж тебе говорю, Глазастик, просто я знаю.

— Тогда почём ты знаешь, может, мы тоже негры?

— Дядя Джек Финч говорит, мы и не знаем наверняка. Он говорит, насколько он знает, наши деды и прадеды были белые, а вообще-то, может быть, в незапамятные времена наши предки были выходцы из Эфиопии.

— Ну, если в незапамятные, это так давно, что не считается.

— По-моему, тоже — сказал Джим, — а в Мейкомбе думают, раз в тебе есть хоть капля негритянской крови, значит, ты всё равно что чёрный. Эй, смотрите-ка!...

Будто по какому-то тайному сигналу люди на площади поднялись с места, побросали газеты, бумажные и целлофановые обёртки от еды. Ребятишки подбегали к матерям, младенцев брали на руки, мужчины в пропотевших шляпах собирали свои семьи и, точно пастухи, вели их к дверям суда. В дальнем конце площади негры и мистер Дольфус Реймонд тоже поднялись и отряхивали штаны от пыли. Среди них почти не было женщин и детей, и от этого не похоже было, что они собрались на праздник, как другие. Они терпеливо ждали у дверей, пока пройдут белые со своими семьями.

— Пойдём туда, — сказал Дилл.

— Нет уж, подождём, пока все войдут, — сказал Джим. — Аттикус, пожалуйста, будет недоволен, если нас увидит.

Здание мейкомбского окружного суда немножко напоминало Арлингтонскую радиостанцию: колонны, на которые опиралась с южной стороны кровля, были слишком массивны для своей лёгкой ноши. Только одни колонны и уцелели от старого здания суда, которое сгорело в 1856 году. После пожара к ним пристроили новое здание. Вернее — его построили, несмотря на эти колонны. Не считая южного фасада с порталом, мейкомбский окружной суд был выдержан в ранневикторианском духе и с севера выглядел безобидно. А вот если

подойти с юга, греческие колонны просто резали глаз — уж очень плохо они сочетались с башенкой девятнадцатого века, в которой гнездились ржавые, неизменно врущие часы, но всё вместе ясно говорило, что жители Мейкомба полны решимости свято хранить каждый осколочек прошлого.

Чтобы пройти на второй этаж в зал суда, надо было миновать всякие тёмные закоулки и берлоги: окружной налоговый инспектор, сборщик налогов, секретарь окружного управления, окружной прокурор, разъездной секретарь, судья по наследственным делам — все ютились в холодных клетушках, куда не заглядывало солнце и где пахло прелой бумагой, сыростью и уборной. Тут и днём приходилось зажигать электричество, и дощатые полы всегда покрывал слой пыли. И обитатели этих клетушек были под стать обстановке: серолицые человечки, которых, казалось, никогда в жизни и солнце не согрело и ветер не обдул.

Мы понимали, что народу будет много, но и не подозревали, какая толпа заполнит коридоры. Меня оттёрли от Джима и Дилла, но я всё-таки пробралась к лестнице, я знала: здесь меня Джим непременно отыщет. Тут я очутилась среди членов Клуба Бездельников и прижалась к стене, чтоб они меня не заметили. Это были старики в белых рубашках, в штанах цвета хаки с подтяжками; они весь свой век ровно ничего не делали и теперь, на склоне дней, сидя на площади на деревянных скамейках в тени виргинских дубов, предавались тому же занятию. В суде они были завсегдатаями, внимательно слушали и придиричиво критиковали. Аттикус говорил, они столько лет изо дня в день слушали процесс за процессом, что разбираются в законах не хуже главного судьи. Обычно, кроме них, в суде публики не бывало, и теперь им, видно, не нравилось, что их привычный покой нарушен. Разговаривали они важно и снисходительно, как знатоки. Разговор шёл о моём отце.

— ...а думает, он знает, что делает, — сказал один.

— Ну-у, не скажите, — возразил другой. — Аттикус Финч малый учёный, с утра до ночи законы читает.

— Читать-то он умеет, только на это и способен. — И все захохотали.

— Вот что я тебе скажу, Билли, — вмешался ещё один. — Ведь это судья его назначил защищать черномазого.

— Ну да, но он и впрямь собирается его защищать. Вот это мне и не нравится.

Это была новость, это всё меняло: значит, Аттикуса не спрашивали, хочет он защищать негра или не хочет, он просто должен! Странно, почему он нам этого не говорил, нам было бы что сказать и в свою и в его защиту. Он должен был взяться за это дело, вот и взялся — будь у нас этот довод,

нам пришлось бы куда меньше драться и ссориться с ребятами. Но почему же тогда весь город на него зол? Судья назначил Аттикуса защитником негра, Аттикус и правда собирается его защищать. И это им не нравится. Ничего не поймёшь.

Дождавшись, пока все белые поднялись по лестнице, пошли было в зал суда и негры.

— Эй, обождите-ка, — сказал один из Бездельников и поднял трость. — Ещё поспеете.

Старики начали медленно на негнущихся ногах подниматься по лестнице и столкнулись с Диллом и Джимом — они бежали искать меня. Ребята протискались между стариками, и Джим крикнул:

— Идём, Глазастик, там уже сесть негде. Придётся нам стоять... Эх, поосторожнее! — прибавил он с досадой.

Наверх по лестнице двинулись негры. Старики, которые их опередили, займут почти всё свободное место, где ещё можно стоять. Нам не повезло, и это я виновата, сказал Джим. Огорчённые, мы стали у стены.

— Вы не можете пройти?

Перед нами стоял преподобный Сайкс с чёрной шляпой в руке.

— Привет, ваше преподобие, — сказал Джим. — Мы вот из-за неё застряли.

— Что ж, попробуем помочь делу.

И преподобный. Сайкс пошёл наверх. Через несколько минут он вернулся.

— В зале нет ни одного свободного места. Но, может быть, вы хотите пройти со мной на галерею?

— Ясно, хотим! — сказал Джим.

Мы обрадовались и побежали по широкой лестнице наверх, потом по узкой ещё выше. Здесь, у входа на галерею, мы остановились. Преподобный Сайкс, отдуваясь, нагнал нас и осторожно повёл сквозь толпу негров. Четверо негров поднялись и уступили нам места в первом ряду.

Галерея для цветных шла по трём стенам зала суда, точно балкон, и отсюда нам было всё хорошо видно.

Присяжные сидели слева, под высокими окнами. Наверно, всё это были фермеры — худые, загорелые, но это и понятно: горожане почти никогда не попадают в присяжные, либо им дают отвод, либо они сами просят их освободить. Двое присяжных были немного похожи на принарядившихся Канингемов. Сейчас все они сидели прямо и внимательно слушали.

Выездной прокурор и ещё один человек, Аттикус и Том Робинсон

сидели за столиками спиной к нам. На столе у прокурора лежала книга в коричневом переплёте и какие-то жёлтые листы; стол Аттикуса был пустой.

Сразу за барьером, который отделял суд от публики, на кожаных стульях сидели свидетели, тоже спиной к нам.

На возвышении сидел судья Тейлор, похожий на сонную старую акулу, а перед ним, пониже, что-то быстро писала его рыба-лоцман. Судья Тейлор был в общем такой же, как все судьи, которых мне приходилось видеть: добродушный, седой и краснолицый, он держался на редкость бесцеремонно — задирает ноги на стол, чистит ногти перочинным ножом. Во время нескончаемых прений сторон, особенно после обеда, могло показаться, будто он клюёт носом, но на эту удочку уже никто не попадался, с тех пор как один адвокат нарочно столкнул на пол кипу книг, думая его разбудить. Так и не раскрыв глаз, судья Тейлор пробормотал:

— Мистер Уитли, в следующий раз подобная выходка обойдётся вам в сто долларов.

Он был большой знаток законов, и хоть со стороны могло показаться, будто он небрежен и невнимателен, но на самом деле он всякий процесс направлял твёрдой и уверенной рукой. Один только раз судья Тейлор стал в тупик, и запутали его Канингемы. В Старом Сарэме, на их постоянной территории, поселились когда-то разные семьи, но, на беду, фамилия у них была одна и та же. Канингемы и Конингемы женились и выходили замуж друг за друга, и которая фамилия как пишется, уже никого не интересовало. А потом какой-то Канингем стал оспаривать земельный участок у одного из Конингемов и подал в суд. На суде Джимс Канингем показал, что его мать на всех документах подписывалась Канингем, но на самом деле она была Конингем, просто она не сильна была в правописании, да и читала мало, сядет, бывало, вечером на крыльце и просто глядит в одну точку. Девять часов кряду судья Тейлор выслушивал показания о странностях и причудах обитателей Старого Сарэма, а потом объявил: дело прекращается. Его спросили, на каком основании, и он сказал — с обоюдного согласия сторон, и он надеется, что тяжущиеся вполне удовлетворены уже тем, что отвели душу на людях. Так оно и было. Они главным образом того и добивались.

У судьи Тейлора была одна смешная привычка. Он разрешал курить в зале суда, но сам никогда не курил, зато иной раз, если повезёт, удавалось видеть, как он сунет в зубы длиннейшую незажженную сигару и начинает медленно её жевать. Понемногу сигара вся исчезала у него во рту, а через несколько часов судья Тейлор выплёвывал её в виде жвачки. Один раз я спросила Аттикуса, как только миссис Тейлор может с ним целоваться, но Аттикус сказал — они не так уж часто целуются.

Возвышение для свидетелей находилось по правую руку от судьи Тейлора, и, когда мы добрались до своих мест и сели, на него уже поднялся мистер Гек Тейт.

— Джим, — сказала я, — а вон там не Юэлы сидят?

— Ш-ш, — сказал Джим. — Мистер Тейт даёт показания.

Мистер Тейт для такого случая принарядился. На нём был самый обыкновенный костюм, так что он стал похож на всех людей — ни высоких сапог, ни кожаной куртки, ни пояса с патронами. С этой минуты я перестала его бояться. Он сидел в свидетельском кресле, подавшись вперёд, зажав руки между колен, и внимательно слушал выездного прокурора.

Этого прокурора, мистера Джилмера, мы почти не знали. Он был из Эбботсвила; мы его видели только во время судебных сессий, да и то редко, потому что обычно нас с Джимом суд мало интересовал. Мистер Джилмер был лысый, с гладко выбритым лицом, ему можно было дать и сорок лет и все шестьдесят. Сейчас он стоял к нам спиной, но мы знали — один глаз у него косит, и он ловко этим пользуется: он на тебя и не смотрит, а кажется, так и сверлит взглядом, и от этого присяжные и свидетели его боятся. Присяжные воображают, что он строго за ними следит, и стараются слушать внимательно, и свидетели тоже.

— ...своими словами, мистер Тейт, — говорил он.

— Так вот, — сказал мистер Тейт собственным коленкам и потрогал очки. — Меня вызвали...

— Может быть, вы будете обращаться к присяжным, мистер Тейт? Благодарю вас. Кто именно вас вызвал?

— Меня позвал Боб... то, бишь, вот он, мистер Боб Юэл, это было вечером...

— Когда именно, сэр?

— Вечером двадцать первого ноября, — сказал мистер Тейт. — Я как раз собирался домой, и тут ко мне вошёл Бо... мистер Юэл, сам не свой, и сказал — идём скорей, один черномазый насильничал над моей дочкой.

— И вы пошли?

— Ну конечно. Вскочил в машину и помчался.

— И что вы застали на месте происшествия?

— Она лежала на полу в первой комнате, как войдёшь — направо. Она была порядком избита, я помог ей подняться на ноги, и она ополоснула лицо, там в углу стояло ведро, и сказала, что ей уже получше. Я спросил, кто её обидел, и она сказала — Том Робинсон...

Судья Тейлор до сих пор внимательно разглядывал свои ногти, а тут поднял голову, будто ожидал возражений, но Аттикус молчал.

— ...я спросил: это он её так исколотил? И она сказала — да. Я спросил, одолел ли он её, и она сказала — да. Тогда я пошёл за Робинсоном и привёл его к Юэлам. Она признала, что это он самый и есть, я его и забрал. Вот и всё.

— Благодарю вас, — сказал мистер Джилмер.

Судья Тейлор сказал:

— Есть вопросы, Аттикус?

— Да, — сказал мой отец.

Он сидел за своим столом, не посередине, а сбоку, закинув ногу за ногу, одна рука его лежала на спинке стула.

— А вы врача вызвали, шериф? — спросил Аттикус. — Или, может быть, кто-нибудь другой вызвал?

— Нет, сэр, — сказал мистер Тейт.

— Никто не позвал врача?

— Нет, сэр, — повторил мистер Тейт.

— Почему? — спросил Аттикус постороже.

— Ну, очень просто. Это было ни к чему, мистер Финч. Она была порядком избита. Сразу видно было, что дело неладно.

— Но врача вы не вызвали? И, пока вы там были, никто другой за врачом не посылал, и не привёл врача, и её к врачу не отвёл?

— Нет, сэр...

Тут вмешался судья Тейлор:

— Он уже три раза ответил вам на вопрос, Аттикус. Врача он не вызывал.

— Я только хотел удостовериться, — сказал Аттикус, и судья улыбнулся.

Рука Джима спокойно лежала на перилах галереи, а тут он вдруг вцепился в них изо всей силы и шумно перевёл дух. Я поглядела вниз, в зал, там никто особенно не волновался, и я подумала, чего это он разыгрывает трагедию? Дилл слушает спокойно, и преподобный Сайкс рядом с ним — тоже.

— Ты чего? — шёпотом спросила я, но Джим только сердито на меня зашипел.

— Шериф, — сказал Аттикус, — вы говорите, она была сильно избита. Как именно?

— Ну-у...

— Вы просто опишите, Гек, какие следы побоев вы заметили.

— Ну, лицо было избито. И на руках повыше локтя видны были синяки, прошло-то уже с полчаса...

— Откуда вы знаете?

Мистер Тейт усмехнулся.

— Виноват, это я с их слов. Во всяком случае, она была порядком избита, когда я туда пришёл, и под глазом наливался здоровенный фонарь.

— Под которым глазом?

Мистер Тейт мигнул и обеими руками пригладил волосы.

— Дайте-ка сообразить, — сказал он негромко и поглядел на Аттикуса так, будто думал: о каких пустяках спрашивает!

— Может быть, вспомните? — сказал Аттикус.

Мистер Тейт ткнул пальцем в кого-то невидимого прямо перед собой и сказал:

— Левый глаз.

— Одну минуту, шериф, — сказал Аттикус. — Левый глаз — это если она перед вами стоит или если она смотрит в ту же сторону, что и вы?

— А, да, верно, — сказал мистер Тейт, — стало быть, это правый. У неё правый глаз был подбит, мистер Финч. Теперь я припоминаю, и щека и вся эта сторона в ссадинах и распухла...

Мистер Тейт опять замигал, словно вдруг что-то понял. Повернулся и поглядел на Тома Робинсона. И Том Робинсон поднял голову, будто почувствовал его взгляд.

Аттикус, видно, тоже что-то понял и порывисто поднялся.

— Шериф, повторите, пожалуйста, что вы сказали.

— Я сказал, у неё подбит был правый глаз.

— Не то...

Аттикус подошёл к столу секретаря, наклонился и стал смотреть, как у того рука быстро бежит по бумаге. Секретарь остановился, перелистал блокнот со стенограммой и прочитал:

«Мистер Финч, теперь я припоминаю, и щека и вся эта сторона в ссадинах и распухла».

Аттикус выпрямился и поглядел на мистера Тейта.

— Повторите, пожалуйста, Гек, какая сторона?

— Правая сторона, мистер Финч, но были и ещё синяки, про них тоже рассказать?

Аттикус, видно, уже хотел задать новый вопрос, но передумал и сказал:

— Да, так какие там были синяки?

И, пока мистер Тейт отвечал, Аттикус повернулся к Тому Робинсону, будто хотел сказать — это ещё что за новости?

— ...руки были в синяках и ссадинах, и шею она мне показала. У неё на горле пальцы так и отпечатались...

— На горле, кругом? И сзади на шее тоже?

— Со всех сторон, мистер Финч, оно и не удивительно.

— Вот как?

— Ну да, сэр, у неё шея тоненькая, всякий может её обхватить и...

— Пожалуйста, отвечайте на вопрос только «да» или «нет», шериф, — сухо сказал Аттикус, и мистер Тейт умолк.

Аттикус сел на своё место и кивнул прокурору, тот мотнул головой в сторону судьи, судья кивнул мистеру Тейту, и он неловко поднялся и сошёл с возвышения.

Внизу люди завертели головами, зашаркали ногами, поднимали повыше младенцев, а нескольких малышей чуть не бегом вывели из зала. Негры позади нас тихонько перешёптывались; Дилл спрашивал преподобного Сайкса, в чём тут суть, но тот сказал, что не знает. Пока что было очень скучно: никто не кричал и не грозил, юристы не препирались между собою, всё шло просто и буднично — кажется, к немалому разочарованию всех собравшихся. Аттикус держался так мирно и доброжелательно, будто тут судились из-за какой-нибудь пустячной недвижимости. У него был особый дар успокаивать разгоравшиеся страсти, так что и дело об изнасиловании оказывалось сухим и скучным, как проповедь. Я уже не вспоминала с ужасом запах водочного перегара и хлева, сонных, угрюмых незнакомцев, хриплый голос, окликнувший в темноте: «Мистер Финч! Они ушли?» При свете дня наш дурной сон рассеялся, всё кончится хорошо.

В публике все почувствовали себя так же непринуждённо, как судья Тейлор, — все, кроме Джима. Он многозначительно усмехнулся, поглядел по сторонам и сказал что-то такое про прямые и косвенные улики — ну и задаётся, подумала я.

— Роберт Ли Юэл! — громко вызвал секретарь суда.

Вскочил человек, похожий на бентамского петуха, и с гордым видом прошествовал на свидетельское место, у него даже шея покраснела, когда он услышал своё имя. А когда он повернулся и стал присягать на Библии, мы увидели, что и лицо у него совсем красное. И ни капельки он не похож на генерала, в честь которого его назвали. Надо лбом торчит клоч редких, недавно вымытых волос; нос тонкий, острый и блестит; а подбородка

почти не видать — он совсем сливается с тощей морщинистой шеей.

— ...и да поможет мне бог, — хрипло прокаркал он.

В каждом небольшом городе вроде Мейкомба найдутся свои юэлы. Никакие экономические приливы и отливы не меняют их положения — такие семьи живут, точно гости в своём округе, всё равно, процветает он или переживает глубочайший упадок. Ни один самый строгий школьный инспектор не заставит их многочисленных отпрысков ходить в школу; ни один санитарный инспектор не избавит их от следов вырождения, от всевозможных паразитов и болезней, которые всегда одолевают тех, кто живёт в грязи.

Мейкомбские Юэлы жили за городской свалкой в бывшей негритянской лачуге. Деревянные стены были все в заплатках из рифлёного железа, крыша вместо черепицы выложена расплюснутыми консервными банками, и только по общим очертаниям можно догадаться, какова была эта лачуга вначале — квадратная, в четыре крохотные каморки, которые все выходили в длинный и узкий коридор, она неуклюже стояла на четырёх неровных глыбах песчаника. Окна были не окна, а просто дыры в стене, летом их затягивали грязной марлей от мух, которые кишели на гудах отбросов.

Мухам приходилось туго, потому что Юэлы каждый день перерывали всю свалку и свою добычу (ту, что была несъедобна) стаскивали к лачуге; казалось, тут играл какой-то сумасшедший ребёнок: вместо изгороди торчали обломанные сучья, палки от старых мётел, швабр и тому подобных орудий, и всё это было увенчано ржавыми молотками, кривыми граблями, поломанными лопатами, топорами и мотыгами, прикрученными к палкам обрывками колючей проволоки. За этими заграждениями виднелся грязный двор, где на чурбаках и камнях были расставлены и разложены жалкие останки древнего «фордика», поломанное зубоврачебное кресло, старый-престарый холодильник и ещё всякая всячина: рваные башмаки, отжившие свой век радиоприёмники, рамы от картин, жестянки из-под консервов, и кругом усердно копались в земле тощие рыжие куры.

Впрочем, один угол этого двора своим видом приводил весь Мейкомб в недоумение. Вдоль изгороди стояли в ряд шесть облупившихся эмалированных вёдер, а в них пышно цвели алые герани, так заботливо ухоженные, как будто они принадлежали самой мисс Моды Эткинсон (если бы только мисс Моды стала терпеть у себя в саду какую-то герань!). Говорили, что их развела Мэйелла Юэл.

Никто толком не знал, сколько в этом доме детей. Одни говорили — шестеро, другие — девять; когда кто-нибудь шёл мимо, в окнах всегда

торчали чумазые физиономии. Мимо почти никто и не ходил, разве только на рождество, когда приходский совет раздавал подарки беднякам, а мэр Мейкомба просил нас немножко помочь городскому мусорщику, и мы сами свозили на свалку осыпавшиеся ёлки и всякий хлам, оставшийся после праздника.

В минувшее рождество Аттикус и нас взял с собой. Грунтовая дорога бежала от шоссе стороной мимо свалки к небольшому негритянскому посёлку, который начинался ярдах в пятистах за домом Юэлов. К свалке можно было попасть по шоссе либо проехать до самого посёлка и уже после этого повернуть; почти все выбирали именно этот путь, мимо негритянских домишек. В холодных декабрьских сумерках они казались чистенькими и уютными, синеватый дымок поднимался из труб, двери были отворены и ярко светились от огня, пылавшего в очаге. И пахло в морозном воздухе превкусно — курами, поджаренным до хруста салом. Мы с Джимом различили ещё запах жареной белки, а наш отец сумел учуять ещё и опоссума и кролика — недаром он вырос вдали от города; однако все эти ароматы развеялись, когда мы поехали обратно мимо владений Юэлов.

Человек, стоявший сейчас на возвышении для свидетелей, обладал одним лишь преимуществом перед своими ближайшими соседями: если его долго отмывать дегтярным мылом в очень горячей воде, кожа его становилась белой.

— Вы мистер Роберт Юэл? — спросил мистер Джилмер.

— Будто сами не знаете, — ответил свидетель.

Мистер Джилмер насторожённо выпрямился, и мне стало его жалко. Наверно, пора кое-что объяснить. Я слышала, дети юристов, глядя, как ожесточённо спорят их родители в суде, начинают думать, будто адвокат противной стороны — личный враг их отца, и тяжело переживают яростные прения сторон, а потом страшно изумляются, когда в первый же перерыв отец выходит из зала суда под руку со своим мучителем. Мы с Джимом на этот счёт не заблуждались. Выигрывал наш отец дело или проигрывал, это не было для нас трагедией. К сожалению, я не могу описать никаких наших бурных переживаний на эту тему, а если бы и пыталась, это было бы неправдой. Мы, конечно, сразу замечали, если прения становились более жёлчными, чем того требовала профессиональная этика, но так бывало, когда выступал не наш отец, а другие адвокаты. В жизни своей я не слышала, чтобы Аттикус повысил голос, разве что свидетель был туг на ухо. Мистер Джилмер делал своё дело, Аттикус — своё. К тому же Юэл был свидетель Джилмера и мог бы

отвечать ему повежливее.

— Вы отец Мэйеллы Юэл? — задал мистер Джилмер следующий вопрос.

— Может, и нет, только теперь уж этого не узнать, мать-то померла, — был ответ.

Судья Тейлор зашевелился. Он медленно повернул своё вертящееся кресло и снисходительно посмотрел на свидетеля.

— Вы отец Мэйеллы Юэл? — повторил он вопрос, но таким голосом, что в зале разом перестали смеяться.

— Да, сэр, — кротко ответил Юэл.

— Вы сегодня первый раз в суде? Помнится, я прежде вас не видал. — Юэл кивнул, что да, первый раз, и судья продолжал: — Так вот, давайте условимся. Пока я тут судья, в этом зале никто больше не произнесёт ни одного непристойного слова ни по какому поводу. Понятно?

Юэл кивнул, но я не уверена, что он и правда понял. Судья вздохнул и сказал:

— Продолжайте, мистер Джилмер.

— Благодарю вас, сэр. Мистер Юэл, не будете ли вы так добры рассказать нам своими словами, что произошло вечером двадцать первого ноября?

Джим усмехнулся и откинул волосы со лба. «Своими словами» — это была вечная присказка мистера Джилмера. Мы часто думали, чьими ещё словами, по его мнению, может заговорить свидетель.

— Стал-быть, вечером двадцать первого иду я из лесу с охапкой хворосту, дошёл до забора — и слышу, Мэйелла визжит в доме, как свинья недорезанная...

Тут судья Тейлор пронзительно глянул на свидетеля, но, видно, решил, что слова эти сказаны без злого умысла, и только спросил сонным голосом:

— В какое время это было, мистер Юэл?

— Да перед закатом. Так вот, стал-быть, слышу, Мэйелла визжит так, что чертям тошно... — и мистер Юэл осёкся под новым грозным взглядом судьи.

— Итак, она громко кричала, — подсказал мистер Джилмер.

Мистер Юэл в растерянности поглядел на судью.

— Ну, услышал я, как она орёт, бросил хворост и побежал со всех ног, да наскочил на забор, насилу выпутался из проволоки, подбежал к окошку и вижу... — Юэл весь побагровел, выпрямился и ткнул пальцем в Тома Робинсона, — вижу, этот черномазый брюхатит мою Мэйеллу!

В зале суда у мистера Тейлора всегда царил тишина и спокойствие, и

ему не часто приходилось пускать в ход свой молоток, но тут он колотил по столу добрых пять минут. Аттикус подошёл к нему и что-то ему говорил, мистер Гек Тейт — первое официальное лицо округа — стоял в проходе и призывал битком набитый зал к порядку. Среди негров позади нас прошёл глухой ропот.

Преподобный Сайкс перегнулся через нас с Диллом и дёрнул Джима за рукав.

— Мистер Джим, — сказал он, — вы бы лучше отвели мисс Джин Луизу домой. Мистер Джим, вы меня слышите?

Джим повернул голову.

— Иди домой, Глазастик. Дилл, отведи её домой.

— Ты меня заставь попробуй, — сказала я, с гордостью вспомнив спасительное разъяснение Аттикуса.

Джим свирепо посмотрел на меня.

— Я думаю, это не беда, ваше преподобие, она всё равно ничего не понимает.

Я была смертельно оскорблена.

— Пожалуйста, но задавайся! Я всё понимаю не хуже тебя!

— Да ладно тебе. Она этого не понимает, ваше преподобие, ей ещё и девяти нет.

В чёрных глазах преподобного Сайкса была тревога.

— А мистер Финч знает, что вы все здесь? Неподходящее это дело для мисс Джин Луизы, да и для вас тоже, молодые люди.

Джим покачал головой.

— Мы слишком далеко, он нас тут не увидит. Да вы не беспокойтесь, ваше преподобие.

Я знала: Джим возьмёт верх, его сейчас никакими силами не заставишь уйти. До поры до времени мы с Диллом в безопасности, но если Аттикус поднимет голову, он может нас заметить.

Судья Тейлор отчаянно стучал молотком, а мистер Юэл самодовольно расселся в свидетельском кресле и любовался тем, что натворил. Стоило ему сказать два слова, и беззаботная публика, которая пришла сюда развлечься, обратилась в мрачную, насторожённую толпу — она ворчала, медленно затихая, будто загипнотизированная всё слабее ударами молотка, и, наконец, в зале суда стало слышно только негромкое тук-тук-тук, будто судья легонько постукивал по скамье карандашом.

Судья Тейлор убедился, что публика опять стала послушная, и откинулся на спинку кресла. Вдруг стало видно, что он устал и что ему уже много лет, недаром Аттикус сказал — они с миссис Тейлор не так уж часто

целуются, ему, наверно, уже под семьдесят.

— Меня просили очистить зал от публики или по крайней мере удалить женщин и детей, — сказал судья Тейлор. — До поры до времени я отклонил эту просьбу. Люди обычно видят и слышат то, что они хотят увидеть и услышать, и если им угодно приводить на подобные спектакли своих детей, это их право. Но одно я вам говорю твёрдо: вы будете смотреть и слушать молча, иначе придётся вам покинуть этот зал, а прежде чем вы его покинете, я призову всё это сборище к ответу за оскорбление суда. Мистер Юэл, соблаговолите, по возможности, давать показания, не выходя из рамок благопристойности. Продолжайте, мистер Джилмер.

Мистер Юэл походил на глухонемого. Я уверена, он никогда раньше не слыхивал таких слов, с какими к нему обратился судья Тейлор, и не мог их повторить, хотя беззвучно шевелил губами, — но суть он, видно, понял. Самодовольное выражение сползло с его лица и сменилось тупой сосредоточенностью, но это не обмануло судью Тейлора: всё время, пока Юэл оставался на возвышении для свидетелей, судья не сводил с него глаз, будто бросал вызов — попробуй-ка сделай что-нибудь не так!

Мистер Джилмер и Аттикус переглянулись. Аттикус уже опять сидел на своём месте, подперев кулаком щёку, и нам не видно было его лица. Мистер Джилмер явно приуныл. Он приободрился, только когда услышал вопрос судьи Тейлора:

— Мистер Юэл, видели ли вы, что обвиняемый вступил в половые отношения с вашей дочерью?

— Видел.

Публика хранила молчание, но обвиняемый что-то негромко сказал. Аттикус пошептал ему на ухо, и Том Робинсон умолк.

— Вы сказали, что подошли к окну? — спросил мистер Джилмер.

— Да, сэр.

— Насколько высоко оно от земли?

— Фута три.

— И вам хорошо видна была комната?

— Да, сэр.

— Как же выглядела комната?

— Ну, стал-быть, всё раскидано, как после драки.

— Как вы поступили, когда увидели обвиняемого?

— Стал-быть, побежал я кругом, к двери, да не поспел, он вперёд меня из дому выскочил. Я его хорошо разглядел. А догнать не стал, уж больно за Мэйеллу расстроился. Вбегаю в дом, а она валяется на полу и ревёт белугой...

— И как вы тогда поступили?

— Стал-быть, я во всю прыть за Тейтом. Черномазого-то я враз признал, он по ту сторону в осином гнезде живёт, мимо нас всякий день ходит. Вот что я вам скажу, судья, я уж пятнадцать лет требую с наших окружных властей: выкурите, мол, оттуда черномазых, с ними по соседству и жить-то опасно, да и моему имению один вред...

— Благодарю вас, мистер Юэл, — торопливо прервал его мистер Джилмер.

Свидетель почти сбежал с возвышения и налетел на Аттикуса, который встал со своего места, чтобы задать ему вопрос. Судья Тейлор позволил всем присутствующим немного посмеяться.

— Одну минуту, сэр, — дружелюбно сказал Аттикус. — Вы разрешите задать вам два-три вопроса?

Мистер Юэл попятился к свидетельскому креслу, сел и устоялся на Аттикуса высокомерным и подозрительным взглядом — в округе Мейкомб свидетели всегда так смотрят на адвоката противной стороны.

— Мистер Юэл, — начал Аттикус, — в тот вечер, видимо, вы много бегали. Помнится, вы сказали, что бежали к дому, подбежали к окну, вбежали в дом, подбежали к Мэйелле, побежали за мистером Тейтом. А за доктором вы заодно не сбегали?

— А на что он мне сдался. Я и сам видел, что к чему.

— Одного я всё-таки не понимаю, — сказал Аттикус. — Разве вас не беспокоило состояние Мэйеллы?

— Ещё как, — сказал мистер Юэл. — Я ведь сам видел, кто тут виноватый.

— Нет, я не о том. Вы не подумали, что характер нанесённых ей увечий требует немедленного медицинского вмешательства?

— Чего это?

— Вы не подумали, что к ней сейчас же надо позвать доктора?

Свидетель отвечал: нет, не подумал, он отродясь не звал в дом докторов, а если их звать, выкладывай пять долларов.

— Это всё? — спросил он.

— Не совсем, — небрежно заметил Аттикус. — Мистер Юэл, вы ведь слышали показания шерифа, не так ли?

— Чего это?

— Вы находились в зале суда, когда мистер Гек Тейт сидел на вашем теперешнем месте, не так ли? И вы слышали всё, что он говорил, не так ли?

Мистер Юэл подумал-подумал и, видно, решил, что ничего опасного в этом вопросе нет.

— Да, слышал, — сказал он.

— Вы согласны, что он правильно описал увечья, нанесённые Мэйелле?

— Чего ещё?

Аттикус обернулся к мистеру Джилмеру и улыбнулся. Мистер Юэл, видно, решил не баловать защитника вежливым обхождением.

— Мистер Тейт показал, что правый глаз у Мэйеллы был подбит, и лицо...

— Ну да, — сказал свидетель, — Тейт правильно говорил, я со всем согласный.

— Значит, согласны? — мягко сказал Аттикус. — Я только хотел удостовериться.

Он подошёл к секретарю, сказал что-то, и секретарь несколько минут подряд развлекал нас показаниями мистера Тейта, читал он их так выразительно, точно это были цифры из биржевого бюллетеня: «...который глаз... левый... а да верно стало быть это правый... у неё правый глаз был подбит мистер Финч теперь я припоминаю и щека и вся... (секретарь перевернул страницу) вся эта сторона в ссадинах и распухла... шериф повторите пожалуйста что вы сказали... я сказал у неё подбит был правый глаз...»

— Благодарю вас, Берт, — сказал Аттикус. — Вы слышали это ещё раз, мистер Юэл. Имеете вы что-либо к этому добавить? Согласны ли вы с показаниями шерифа?

— Тейт всё верно говорил. У неё под глазом был фонарь, и сама вся избитая.

Этот человек, видно, уже позабыл, как его сперва пристыдил судья. Он явно решил, что Аттикус противник не опасный. Он опять покраснелся, напыжился, выгнул грудь колесом и больше прежнего стал похож на рыжего петуха. Мне показалось, он сейчас лопнет от важности, и тут Аттикус спросил:

— Мистер Юэл, умеете ли вы читать и писать?

— Протестую, — прервал мистер Джилмер. — Непонятно, при чём тут грамотность свидетеля, вопрос несущественный и к делу не относится.

Судья Тейлор хотел что-то сказать, но Аттикус его опередил:

— Ваша честь, если вы разрешите задать этот вопрос и в дополнение ещё один, вы всё поймёте.

— Хорошо, попробуем, — сказал судья Тейлор, — но смотрите, чтобы мы действительно поняли, Аттикус. Протест отклоняется.

Мистер Джилмер, кажется, с таким же любопытством, как и все мы,

ждал ответа: при чём тут образование мистера Юэла?

— Повторяю вопрос, — сказал Аттикус. — Умеете вы читать и писать?

— Ясно, умею.

— Не будете ли вы любезны доказать нам это и написать свою фамилию?

— Ясно, докажу. А как же, по-вашему, я расписываюсь, когда получаю пособие?

Ответ мистера Юэла пришёлся по вкусу его согражданам. Внизу зашептались, захихикали — видно, восхищались его храбростью.

Я забеспокоилась. Аттикус как будто знает, что делает, а всё-таки мне казалось — он дал маху. Никогда, никогда, никогда на перекрёстном допросе не задавай свидетелю вопрос, если не знаешь заранее, какой будет ответ, — это правило я усвоила с колыбели. А то ответ может оказаться совсем не такой, как надо, и погубит всё дело.

Аттикус полез во внутренний карман и достал какой-то конверт, потом из жилетного кармана вынул самопишущую ручку. Он двигался медленно, с ленцой и повернулся так, чтобы его хорошо видели все присяжные. Он снял колпачок самописки и аккуратно положил на стол. Легонько встряхнул ручку и вместе с конвертом подал её свидетелю.

— Не будете ли вы так любезны расписаться вот здесь? — сказал он. — И, пожалуйста, чтобы все присяжные видели, как вы это делаете.

Мистер Юэл расписался на обратной стороне конверта, очень довольный собой, поднял голову — и встретил изумлённый взгляд судьи Тейлора: судья уставился на него так, будто на свидетельском месте вдруг пышно зацвела гардения; мистер Джилмер тоже смотрел удивлённо, даже привстал. И все присяжные смотрели на Юэла, один даже подался вперёд и обеими руками ухватился за барьер.

— Чего не видали? — спросил свидетель.

— Вы, оказывается, левша, мистер Юэл, — сказал судья Тейлор.

Мистер Юэл сердито обернулся к нему и сказал: при чём тут левша, он человек богобоязненный, и нечего Аттикусу Финчу над ним измываться. Всякие жулики адвокатишки вроде Аттикуса Финча всегда над ним измывались и его обжуливали. Он уже говорил, как было дело, и ещё хоть сорок раз скажет то же самое. Так он и сделал. На новые вопросы Аттикуса он твердил одно: он заглянул в окно, спугнул черномазого, потом подбежал к шерифу. В конце концов Аттикус его отпустил.

Мистер Джилмер задал ему ещё один вопрос:

— Кстати, насчёт того, что вы подписываетесь левой рукой: может быть, вы одинаково пользуетесь обеими руками, мистер Юэл?

— Ясно, нет. Я и одной левой управляюсь не хуже всякого другого. Не хуже всякого другого, — повторил он, злобно глянув в сторону защиты.

Джим втихомолку ужасно веселился. Он легонько постукивал кулаком по перилам и один раз прошептал:

— Теперь мы его припёрли к стенке.

Я вовсе так не думала. По-моему, Аттикус старался доказать, что мистер Юэл мог и сам исколотить Мэйеллу. Это я поняла. Раз у неё подбит правый глаз и разбита правая сторона лица, значит её исколотил левша. Шерлок Холмс и Джим Финч тоже так подумали бы. Но, может быть, и Том Робинсон тоже левша. Как и мистер Гек Тейт, я представила, что передо мной кто-то стоит, вообразила себе стремительную схватку и решила: наверно, Том Робинсон держал Мэйеллу правой рукой, а колотил левой. Я сверху посмотрела на него. Он сидел к нам спиной, но видно было, какие у него широкие плечи и крепкая шея. Конечно, он без труда бы с ней справился. Напрасно Джим цыпляет до осени считает.

Но тут кто-то прогудел:

— Мэйелла Вайолет Юэл!

На свидетельское место пошла молодая девушка. Пока она с поднятой рукой клялась говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, и да поможет ей бог, она казалась тоненькой и хрупкой, а потом села в кресло лицом к нам, и стало видно, что она крепкая и, наверно, привыкла к тяжёлой работе. У нас в округе сразу узнаешь, кто моется часто, а кто раз в год. Мистер Юэл был весь как ошпаренный, будто кожа у него стала особенно чувствительной и беззащитной, когда с неё содрали слой за слоем всю грязь. А Мэйелла, видно, старалась быть опрятной, и я вспомнила про красные герани во дворе Юэлов.

Мистер Джилмер попросил Мэйеллу рассказать присяжным своими словами, что произошло вечером двадцать первого ноября прошлого года — своими словами, пожалуйста.

Мэйелла сидела и молчала.

— Где вы были в тот вечер в сумерки? — терпеливо начал мистер Джилмер.

— На крыльце.

— На каком крыльце?

— У нас только одно крыльцо, парадное.

— Что вы делали на крыльце?

— Ничего.

Вмешался судья Тейлор:

— Вы просто нам расскажите, что произошло. Вы разве не можете рассказать?

Мэйелла вытаращила на него глаза и вдруг заплакала. Она зажала рот руками и всхлипывала всё громче. Судья Тейлор дал ей поплакать, потом сказал:

— Ну, хватит. Только говори правду, и никого не надо бояться. Я понимаю, тебе всё это непривычно, но стыдного тут ничего нет и страшного тоже. Чего ты так испугалась?

Мэйелла что-то сказала себе в ладони.

— Что такое? — переспросил судья.

— Вон его, — всхлипнула она и показала на Аттикуса.

— Мистера Финча?

Она закивала изо всех сил.

— Не хочу я. Он меня допечёт, вон как папашу допёк — левша да левша...

Судья Тейлор почесал седую голову. Видно, ему ещё не случалось сталкиваться с такой трудной задачей.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Девятнадцать с половиной, — сказала Мэйелла.

Судья Тейлор откашлялся и безуспешно попробовал смягчить голос.

— Мистер Финч совсем не хотел тебя пугать, — пробурчал он, — а если бы и захотел, я ему не дам. Для того я тут и сижу. Ты уже взрослая девушка, сядь-ка прямо и расскажи су... скажи нам, что с тобой случилось. Просто возьми и расскажи, ладно?

— Она дурочка? — шёпотом спросила я Джима.

Джим искоса поглядел вниз, на свидетельницу.

— Кто её знает, — сказал он. — Разжалобить судью у неё ума хватило, но, может, она просто... ну, не знаю я.

Мэйелла успокоилась, ещё раз испуганно поглядела на Атикуса и повернулась к мистеру Джилмеру.

— Значит, сэр, была я на крыльце, и... и он шёл мимо, а у нас во дворе стоял старый гардароб, папаша его купил на растопку... папаша велел мне его расколоть, а сам пошёл в лес, а мне чего-то немогло, и тут он идёт...

— Кто он?

Мэйелла ткнула пальцем в сторону Тома Робинсона.

— Я бы вас просил выражаться яснее, — сказал мистер Джилмер. — Секретарю трудно заносить в протокол жесты.

— Вон тот, — сказала Мэйелла. — Робинсон.

— Что же было дальше?

— Я ему и говорю — поди сюда, черномазый, расколи гардароб, а я тебе дам пяточок. Ему это раз плюнуть. Он вошёл во двор, а я пошла в дом за деньгами, оборотилась, а он на меня и набросился. Он за мной шёл по пятам, вон что. И как схватил меня за горло, и давай ругаться, и говорить гадости... Я давай отбиваться и кричать, а он меня душит. И давай меня бить...

Мистер Джилмер дал Мэйелле немного прийти в себя; она всё скручивала жгутом носовой платок, потом развернула и стала утирать лицо, а платок был весь мятый-перемятый от её потных рук. Она ждала, что мистер Джилмер опять задаст ей вопрос, но он ничего не спросил, и она сказала:

— Ну, он повалил меня на пол, и придушил, и одолел.

— А вы кричали? — спросил мистер Джилмер. — Кричали и отбивались?

— Ещё как, я орала во всё горло и брыкалась, я орала во всю мочь.

— А дальше что было?

— Дальше я не больно помню, а потом смотрю, папаша стоит надо мной и орёт: «Это кто тебя? Это кто тебя?» А потом я вроде обмерла, а потом очнулась, а мистер Тейт меня поднимает с полу и ведёт к ведру с водой.

Пока Мэйелла рассказывала, она словно почувствовала себя уверенней, но не так, как её отец: он был нахальный, а она какая-то себе на уме, точно кошка — сидит и щурится, а хвост ходит ходуном.

— Так вы говорите, что отбивались как могли? Сопrotивлялись изо всех сил? — спрашивал мистер Джилмер.

— Ясное дело, — сказала она, в точности как её отец.

— И вы уверены, что он всё-таки вас одолел?

Лицо Мэйеллы скривилось, и я испугалась, что она опять заплачет. Но она сказала:

— Он чего хотел, то и сделал.

Мистер Джилмер отёр ладонью лысину и этим напомнил, что день выдался жаркий.

— Пока достаточно, — приветливо сказал он, — но вы оставайтесь на месте. Я думаю, страшный зубастый мистер Финч тоже захочет вас кое о чём спросить.

— Обвинителю не положено настраивать свидетелей против защитника, — чопорно сказал судья Тейлор. — Во всяком случае, сегодня это ни к чему.

Аттикус встал, улыбнулся, но не подошёл к свидетельскому возвышению, а расстегнул пиджак, сунул большие пальцы в проймы жилета и медленно направился к окну. Выглянул на улицу, но, наверно, ничего интересного не увидел, повернулся и подошёл к свидетельнице. По долголетнему опыту я поняла — он старается молча что-то решить.

— Мисс Мэйелла, — сказал он с улыбкой, — я пока совсем не собираюсь вас пугать. Давайте-ка лучше познакомимся. Сколько вам лет?

— Я уж говорила, девятнадцать, я вон судье говорила. — Мэйелла сердито мотнула головой в сторону судьи Тейлора.

— Да, да, мэм, совершенно верно. Вы уж будьте ко мне снисходительны, мисс Мэйелла, память у меня уже не прежняя, старость подходит, и если я вдруг спрошу то, что вы уже говорили, вы ведь мне всё-таки ответите, правда? Вот и хорошо.

По лицу Мэйеллы я не могла понять, с чего Аттикус взял, будто она согласна ему отвечать. Она смотрела на него злыми глазами.

— Словечка вам не скажу, коли вы надо мной насмехаетесь, — объявила она.

— Как вы сказали, мэм? — переспросил ошарашенный Аттикус.

— Коли вы меня на смех подняли.

Судья Тейлор сказал:

— Мистер Финч вовсе не поднимал тебя на смех. Что это ты выдумала?

Мэйелла исподтишка поглядела на Аттикуса.

— А чего он меня обзывает мэм да мисс Мэйелла! Я не нанималась насмешки терпеть, больно надо!

Аттикус опять неторопливо направился к окнам и предоставил судье Тейлору управляться самому. Не такой человек был судья Тейлор, чтоб его жалеть, но мне прямо жалко его стало: он так старался растолковать Мэйелле, что к чему.

— У мистера Финча просто привычка такая, — сказал он. — Мы с ним работаем тут в суде уже сколько лет, и мистер Финч всегда со всеми разговаривает вежливо. Он не хочет над тобой насмеяться, он только хочет быть вежливым. Такая уж у него привычка.

Судья откинулся на спинку кресла.

— Продолжайте, Аттикус, и пусть из протокола будет ясно, что над свидетельницей никто не насмеялся, хоть она и думает иначе.

Интересно, называл её кто-нибудь когда-нибудь мэм и мисс Мэйелла? Наверно, нет, раз она обижается на самое обыкновенное вежливое обращение. Что же это у неё за жизнь? Очень быстро я это узнала.

— Итак, вы говорите, вам девятнадцать лет, — сказал Аттикус. — Сколько у вас братьев и сестёр?

Он отвернулся от окна и подошёл к свидетельскому возвышению.

— Семеро, — сказала Мэйелла, и я подумала — неужели все они такие же, как тот, которого я видела в свой первый школьный день?

— Вы старшая? Самая большая?

— Да.

— Давно ли скончалась ваша матушка?

— Не знаю... давно.

— Ходили вы когда-нибудь в школу?

— Читать и писать умею не хуже папаши.

Мэйелла разговаривала прямо как мистер Джингл^[6] в книжке, которую я когда-то читала.

— Долго ли вы ходили в школу?

— Две зимы... а может, три... сама не знаю.

Медленно, но верно я стала понимать, к чему клонит Аттикус: задавая вопросы, которые мистер Джилмер не мог счесть настолько несущественными и не относящимися к делу, чтобы протестовать, он понемногу наглядно показал присяжным, что за жизнь была в доме Юэлов. Вот что узнали присяжные: на пособие семье всё равно не прокормиться, да скорее всего папаша его просто пропивает... иной раз он по несколько дней пропадает где-то на болоте и возвращается хмельной; вообще-то холода бывают не часто, можно и разутыми бегать, а уж если захладевает, из обрезков старой автомобильной шины можно смастерить шикарную обувь; воду в дом носят ведрами из ручья, который бежит сбоку свалки... у самого дома мусор не кидают... ну, а насчёт чистоты, так это каждый сам для себя старается: хочешь помыться — притащи воды; меньшие ребяташки из простуды не вылезают, и у всех у них чесотка; была одна леди, она всё приходила и спрашивала, почему, мол, больше не ходишь в школу, и записывала, что ответишь; так ведь двое в доме умеют читать и писать, на что ещё и остальным учиться... они папаше и дома нужны.

— Мисс Мэйелла, — словно против воли сказал Аттикус, — у такой молодой девушки, как вы, наверно, есть друзья и подруги. С кем вы дружите?

Свидетельница в недоумении нахмурила брови.

— Дружу?

— Ну да. Разве вы не встречаетесь со своими сверстниками или с кем-нибудь немного постарше или помоложе? Есть у вас знакомые юноши и девушки? Самые обыкновенные друзья?

До сих пор Мэйелла отвечала недружелюбно, но спокойно, а тут вдруг снова разозлилась.

— Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер Финч?

Аттикус счёл это достаточно ясным ответом на свой вопрос.

— Вы любите своего отца, мисс Мэйелла? — спросил он затем.

— То есть как это — люблю?

— Я хочу сказать — он добрый, вам легко с ним ладить?

— Да он ничего, покладистый, вот только когда...

— Когда — что?

Мэйелла перевела взгляд на своего отца — он всё время сидел, откачнувшись на стуле, так что стул спинкой опирался на барьер. А теперь он выпрямился и ждал, что она ответит.

— Когда ничего, — сказала Мэйелла. — Я ж говорю, он покладистый.

Мистер Юэл опять откачнулся на стуле.

— Только тогда не очень покладистый, когда выпьет? — спросил Аттикус так мягко, что Мэйелла кивнула.

— Он когда-нибудь преследовал вас?

— Чего это?

— Когда он бывал... сердитый, он вас никогда не бил?

Мэйелла поглядела по сторонам, потом вниз, на секретаря суда, потом подняла глаза на судью.

— Отвечайте на вопрос, мисс Мэйелла, — сказал судья Тейлор.

— Да он меня отродясь и пальцем не тронул, — решительно заявила Мэйелла. — Даже и не дотронулся.

Очки Аттикуса сползли на кончик носа, он их поправил.

— Мы с вами приятно побеседовали, мисс Мэйелла, а теперь, я думаю, пора перейти к делу. Вы сказали, что просили Тома Робинсона расколоть... что расколоть?

— Гардароб, такой старый комод, у него сбоку ящички.

— Том Робинсон был вам хорошо знаком?

— Чего это?

— Я говорю: вы знали, кто он такой, где он живёт?

Мэйелла кивнула.

— Кто он — знала, он мимо дома всякий день ходил.

— И тогда вы в первый раз попросили его зайти к вам во двор?

От этого вопроса Мэйелла даже немножко подскочила. Аттикус опять пропутешествовал к окну, он всё время так делал: задаст вопрос, отойдёт, выглянет в окно и стоит, ждёт ответа. Он не видал, как она подскочила, но, кажется, догадался. Обернулся к ней и поднял брови. И опять начал:

— И тогда...

— Да, в первый раз.

— А до этого вы никогда не просили его войти во двор?

Теперь он уже не застал Мэйеллу врасплох.

— Ясно, не просила, никогда не просила.

— Довольно ответить и один раз, — спокойно заметил Аттикус. — И вы никогда не поручали ему никакой случайной работы?

— Может, и поручала, — снисходительно ответила Мэйелла. — Мало ли кругом черномазых!

— Не припомните ли ещё какой-нибудь такой случай?

— Нет.

— Ну хорошо, перейдём к тому, что произошло в тот вечер. Вы сказали, что, когда вы вошли в комнату и обернулись, Том Робинсон стоял

позади вас — так?

— Да.

— И вы сказали, что он схватил вас за горло, и начал ругаться, и говорить гадости — так?

— Так.

Вдруг оказалось, что память у Аттикуса совсем не плохая.

— Вы сказали: он схватил меня, и придушил, и одолел — так?

— Так и сказала.

— И вы помните, что он бил вас по лицу?

Свидетельница замялась.

— Вы как будто хорошо помните, что он вас душил. И вы всё время отбивались, не так ли? Вы «брыкались и орали во всю мочь». А помните вы, как он бил вас по лицу?

Мэйелла молчала. Казалось, она старается что-то понять. Я даже подумала: может, она, как мы с мистером Тейтом, старается представить себе, как против неё стоит человек. Потом она посмотрела на мистера Джилмера.

— Это ведь очень простой вопрос, мисс Мэйелла, послушайте ещё раз. Помните ли вы, как обвиняемый бил вас по лицу? — Теперь Аттикус говорил уже не так мягко и добродушно; голос у него стал юридический — сухой, бесстрастный. — Помните ли вы, как он бил вас по лицу?

— Нет, чтоб ударил, не помню. То, бишь, да, ударил.

— Последние слова можно считать вашим окончательным ответом?

— А? Ну да, ударил... не помню я, ничего я не помню... всё получилось так быстро...

Судья Тейлор сурово посмотрел на Мэйеллу.

— Не надо плакать, молодая особа... — начал он.

Но Аттикус сказал:

— Дайте ей поплакать, если ей хочется, ваша честь. Времени у нас сколько угодно.

Мэйелла сердито потянула носом и посмотрела на Аттикуса.

— Я вам на всё отвечу... вытащил меня сюда и ещё насмехается! Я вам на всё отвечу...

— Вот и прекрасно, — сказал Аттикус. — Не так уж много и осталось. Итак, мисс Мэйелла, вы свидетельствуете, что подсудимый ударил вас, схватил за шею, придушил и одолел. Я хотел бы знать, вполне ли вы уверены, что указали настоящего виновника. Не опознаете ли вы перед нами человека, который совершил над вами насилие?

— А конечно, вот он самый и есть.

Аттикус повернулся к своему подзащитному.

— Встаньте, Том. Пусть мисс Мэйелла хорошенько на вас посмотрит. Это и есть тот самый человек, мисс Мэйелла?

Том Робинсон повёл широкими плечами, обтянутыми простой бумажной рубашкой. Встал и опёрся правой рукой на спинку стула. Вид у него был какой-то странный, будто он покривился на один бок, но это не потому, что он криво стоял. Левая рука у него была на добрый фут короче правой и висела, как неживая. Кисть руки была маленькая, сухая, даже с галереи было видно, что он ею ничего делать не может.

— Смотри, Глазастик! — выдохнул Джим. — Смотри! Ваше преподобие, да он калека!

Преподобный Сайкс перегнулся через меня и шёпотом сказал Джиму:

— У него рука попала в машину — он ещё мальчиком был, убирал хлопок у мистера Дольфуса Реймонда, и рука попала в машину... он тогда чуть кровью не истёк... всё мясо с костей сорвало.

— Это и есть тот самый человек, который совершил над вами насилие, мисс Мэйелла?

— Ясно, он самый.

Аттикус задал ещё один вопрос, одно только слово:

— Как?

Мэйелла пришла в ярость.

— Уж не знаю как, а только насильничал... я ж говорю, всё получилось больно быстро...

— Давайте рассуждать спокойно, — начал Аттикус, но мистер Джилмер прервал его: он протестует, на этот раз не потому, что вопрос несущественный и к делу не относится, а потому, что Аттикус запугивает свидетельницу.

Судья Тейлор захохотал.

— Бросьте, Хорейс, сидите и не выдумывайте. Уж если кто кого запугивает, так скорее свидетельница — Аттикуса.

Кроме судьи Тейлора, в зале не засмеялась ни одна душа. Даже младенцы притихли, я вдруг подумала — может, они задохнулись у груди матерей.

— Итак, мисс Мэйелла, — сказал Аттикус, — вы свидетельствуете, что подсудимый вас бил и душил... вы не говорили, что он потихоньку подкрался сзади и ударил вас так, что вы потеряли сознание, вы сказали — вы обернулись, а он сзади стоит... — Аттикус отошёл к своему столу и теперь постукивал по нему костяшками пальцев в такт каждому слову. — Не угодно ли вам пересмотреть какую-либо часть ваших показаний?

— Вы хотите, чтоб я говорила, чего не было?

— Нет, мэм, я хочу, чтобы вы сказали то, что было. Пожалуйста, скажите нам ещё раз, как было дело?

— Я уж сказала.

— Вы сказали, что обернулись и увидели его сзади себя. И тогда он начал вас душить?

— Да.

— А потом перестал душить и ударил по лицу?

— Ну да, я уж говорила.

— И подбил вам правый глаз кулаком правой руки?

— Я пригнулась, и... и у него кулак соскользнул, вон как было. Я пригнулась, и кулак соскользнул.

Мэйелла наконец поняла, что к чему.

— Вы вдруг всё это очень ясно припомнили. Совсем недавно ваши воспоминания были не так отчётливы, не правда ли?

— Я сказала: он меня ударил.

— Ну, хорошо. Он вас душил, ударил, а потом изнасиловал — так?

— Ну ясно!

— Вы девушка крепкая, что же вы делали всё это время — стояли смирно?

— Я ж вам говорила, я орала во всю мочь, и брыкалась, и отбивалась...

Аттикус медленно снял очки, уставился на Мэйеллу здоровым правым глазом и засыпал её вопросами. Судья Тейлор прервал его.

— Задавайте по одному вопросу зараз, Аттикус. Дайте свидетельнице ответить.

— Хорошо. Почему вы не убежали?

— Я старалась, но...

— Старались? Что же вам помешало?

— Я... он сбил меня с ног. Вон как было, он меня сбил с ног и навалился на меня.

— И вы всё время кричали?

— Ясно, кричала.

— Как же вас не услышали братья и сёстры? Где они были? На свалке? Никакого ответа.

— Где они были? Почему они не сбежались на ваши крики? Ведь от вашего дома до свалки не так далеко, как до леса?

Никакого ответа.

— А может быть, вы закричали только тогда, когда увидели в окне своего отца? А до той минуты вы и не думали кричать, так?

Никакого ответа.

— Может быть, вы начали кричать не из-за Тома Робинсона, а из-за своего отца? Так было дело?

Никакого ответа.

— Кто вас избил? Том Робинсон или ваш отец?

Никакого ответа.

— Что увидел в окно ваш отец — преступное насилие или полнейшее нежелание его совершить? Почему бы вам не сказать правду, девочка, — разве не Боб Юэл вас избил?

Аттикус отвернулся от Мэйеллы, лицо у него стало такое, будто у него разболелся живот, а у Мэйеллы лицо было испуганное и злобное. Аттикус сел на своё место и начал протирать очки платком.

Мэйелла вдруг обрела дар речи:

— Мне надо кой-чего сказать.

Аттикус поднял голову.

— Вы хотите рассказать нам, как всё было на самом деле?

Но она не услышала сочувствия в его голосе.

— Мне надо кой-чего сказать, а потом я больше ни словечка не скажу. Этот черномазый меня одолел, и коли все вы, благородные господа, так ему это и спустите, стал быть, все вы просто вонючие, подлые трусы, вот вам и весь сказ, подлые вы трусы, вся ваша шайка! И зазря вы тут благородничали, мистер Финч, и зазря вы меня обзывали «мэм», и «мисс Мэйелла», и по-всякому...

Тут она расплакалась по-настоящему. Плечи её тряслись от гневных рыданий. Больше она ни на один вопрос не стала отвечать, даже мистеру Джилмеру, который пытался хоть чего-то от неё добиться. Я думаю, не будь она такая бедная и тёмная, судья Тейлор её арестовал бы за оскорбление суда и всех присутствующих. Аттикус каким-то образом — я не очень понимала, как именно — больно её задел, но ему это вовсе не доставило никакого удовольствия. Он сидел за своим столом, понутив голову, а Мэйелла спустилась с возвышения и пошла мимо него на своё место и поглядела на него с такой злобой и ненавистью — я никогда в жизни не видала, чтоб кто-нибудь так смотрел.

Мистер Джилмер сказал судье, что пока у него больше вопросов нет, и судья Тейлор сказал:

— Нам всем пора отдохнуть. Сделаем перерыв на десять минут.

Аттикус и мистер Джилмер сошлись перед креслом судьи, пошептались о чём-то и вышли в дверь позади свидетельского возвышения, и это было как сигнал, что всем нам можно немного размяться. Только тут я

заметила, что сижу на самом краешке скамьи и ноги у меня онемели. Джим встал, потянулся и зевнул, за ним Дилл, а преподобный Сайкс стал утирать лицо шляпой. Жара невыносимая, сказал он.

Мистер Бракстон Андервуд, который всё время смиренно сидел в кресле, отведённом для представителя печати, и впитывал, как губка, показания свидетелей, теперь обвёл сердитым взглядом галерею для цветных и встретился со мной глазами. Фыркнул и отвернулся.

— Джим, — сказала я, — мистер Андервуд нас видел.

— Это ничего. Аттикусу он не скажет, он просто напечатает про это в хронике в своей «Трибюн».

И Джим опять стал что-то объяснять Диллу — наверно, что до сих пор было самое интересное, а мне казалось, ничего такого и не было. Аттикус и мистер Джилмер не вели друг с другом долгих споров; мистер Джилмер как будто даже нехотя выступал в роли обвинителя; свидетели отвечали послушно и почти не упирались. Но Аттикус когда-то сказал нам, что всякий юрист, который вздумает толковать на свой лад свидетельские показания, в конце концов получает от судьи Тейлора суровую отповедь. Аттикус хотел, чтоб я поняла: с виду судья Тейлор ленивый и сонный, но его не проведёшь, а это главное. Аттикус сказал — он хороший судья.

Скоро судья Тейлор вернулся и опять забрался в своё вертящееся кресло. Вытащил из жилетного кармана сигару и стал задумчиво её разглядывать. Я ткнула Дилла локтем в бок. Осмотрев сигару, судья свирепо куснул её.

— Мы иногда нарочно приходим на него смотреть, — объяснила я Диллу. — Теперь ему до вечера хватит. Ты только смотри.

Не подозревая, что за ним наблюдают с галереи, судья Тейлор ловко выдвинул губами откушенный кончик сигары... хлоп! — кончик сигары попал прямо в плевательницу, мы даже слышали, как «снаряд» плюхнулся в самую серёдку.

— Пари держу, если на меткость, так его никто не переплюнет, — пробормотал Дилл.

Обычно во время перерыва публика расходилась из зала, а сегодня никто с места не двинулся. Даже Бездельники остались, хотя им не удалось пристыдить людей помоложе, чтоб уступили место, и пришлось всё время стоять у стен. В общественную уборную мистер Гек Тейт, кажется, распорядился никого не пускать, кроме судейских.

Аттикус с мистером Джилмером вернулись, и судья Тейлор посмотрел на свои часы.

— Скоро четыре, — сказал он.

Загадочно и непонятно: часы на здании суда за это время должны были пробить два раза по меньшей мере, а я их ни разу не слышала.

— Попробуем сегодня же и закончить? — спросил судья Тейлор. — Как ваше мнение, Аттикус?

— Пожалуй, можно и закончить, — сказал Аттикус.

— Сколько у вас свидетелей?

— Один.

— Что ж, слушаем его.

Томас Робинсон подошёл к свидетельскому месту и правой рукой приподнял левую. Он положил эту неживую руку на переплёт библии. Но едва он отнял правую руку, искалеченная левая соскользнула с библии и ударилась о стол секретаря. Том опять стал поднимать её, но судья Тейлор буркнул:

— И так хорошо, Том.

Том принёс присягу и занял место для свидетелей. Аттикус быстро-быстро стал его спрашивать, и вот что мы узнали: Тому двадцать пять лет, женат, трое детей; к суду привлекался: один раз был приговорён к месяцу тюрьмы за нарушение общественного порядка.

— Значит, было нарушение порядка, — сказал Аттикус. — В чём оно выразилось?

— Подрался с одним человеком, он хотел пырнуть меня ножом.

— И это ему удалось?

— Да, сэр, самую малость. Вы видите, я... — Том неловко повёл левым плечом.

— Вижу, — сказал Аттикус. — Осудили вас обоих?

— Да, сэр, и мне пришлось отбывать срок — штраф-то я не мог заплатить. А он за себя заплатил.

Дилл перегнулся через меня и спросил Джима, что же это Аттикус делает. Джим сказал — Аттикус показывает присяжным, что Тому скрывать нечего.

— Вы знакомы с Мэйеллой Вайолет Юэл? — спросил Аттикус.

— Да, сэр. Мне мимо них всякий день ходить на плантацию и обратно.

— На чью плантацию?

— Я собираю хлопок у мистера Линка Диза.

— Вы и в ноябре собирали хлопок?

— Нет, сэр, осенью и зимой я работаю у мистера Диза в саду. Я у него работаю круглый год. У него там и pekanовые деревья и ещё много всякого дела.

— Вы сказали, что вам приходится каждый день ходить мимо дома Юэлов на работу и обратно. А другой дороги нет?

— Нет, сэр, другой я не знаю.

— Мисс Юэл когда-нибудь заговаривала с вами, Том?

— А как же, сэр. Я как иду мимо, всегда кланяюсь, а один раз она

велела мне войти во двор и порубить гардароб.

— Когда она велела вам порубить этот... гардароб?

— Прошлый год, мистер Финч, по весне. Я почему помню, была самая пора окапывать хлопок, и у меня была при себе мотыга. Я говорю, у меня инструмента-то нет, одна мотыга, а она говорит — дам тебе топор. Дала она мне топор, я и порубил гардароб. Она тогда говорит: «Что ж, придётся дать тебе пятак, а?» А я говорю — нет, мэм, ничего мне не надо. И пошёл домой. Той весной это было, мистер Финч, больше года прошло.

— А ещё когда-нибудь вы туда заходили?

— Да, сэр.

— Когда?

— Да сколько раз.

Судья Тейлор потянулся было за молотком, но так его и не поднял. Ропот в зале стих сам собою.

— При каких обстоятельствах это было?

— Не пойму, сэр.

— Почему вы много раз заходили к ним во двор?

Лоб у Тома Робинсона разгладился.

— Она меня звала, сэр. Я мимо иду, а у неё всегда какая-никакая работа для меня, то дров наколоть, то лучины нащепать, то воды натаскать. Цветы эти красные, она их всякий день поливала...

— Вам платили за эти услуги?

— Нет, сэр, только в тот первый раз она хотела дать пятак. Так ведь я не для платы. Мистер-то Юэл, видать, ей не больно помогал, и ребятишки тоже, а лишние-то пятаки откуда ей взять.

— А где были другие дети?

— Так они всегда тут же, во дворе. Я работаю, а они глядят — которые тут же, которые в окно высунутся.

— Мисс Мэйелла разговаривала с вами?

— Да, сэр, разговаривала.

Том Робинсон давал показания, а я вдруг подумала: видно, эта Мэйелла Юэл всё равно что одна на свете. Страшила Рэдди — и то не такой одинокий, хоть он и сидит двадцать пять лет взаперти. Когда Аттикус спросил, есть ли у неё друзья, она даже и не поняла, а потом подумала — он над ней насмеяется. Она такая жалкая, всё равно как мулаты, про которых говорил Джим: белые с ней не знают, потому что она живёт со свиньями, а негры — потому что она белая. Она не может водить компанию с неграми, как мистер Дольфус Реймонд, у неё ведь нет своей земли на берегу и она не из хорошей семьи. Про Юэлов никто не скажет: «Это у них

в роду». Мейкомб им даёт пособие, подарки на рождество — и поворачивается спиной. Один Том Робинсон, наверно, и обходился с ней по-человечески. А она говорила — он её одолел, и, когда показания давала, смотрела на него, как на самую грязную грязь. Тут я услышала голос Аттикуса:

— Случалось ли вам когда-либо вторгаться на участок Юэлов? Заходили вы когда-нибудь на их участок без особого приглашения от кого-либо из хозяев?

— Нет, сэр, никогда, мистер Финч. Как можно, сэр!

Аттикус нам не раз объяснял, как понять, говорит свидетель правду или лжёт: тут главное даже не смотреть на него, но слушать. Так я и сделала — на один вопрос Том три раза сказал «нет», но сказал спокойно, не хныкал, не канючил, и я ему поверила, хоть он и говорил больше чем надо. Видно было, что он порядочный негр, а порядочный негр никогда не пойдёт в чужой двор, если его не звали.

— Что произошло с вами, Том, вечером двадцать первого ноября прошлого года?

Внизу в зале все разом вздохнули и подались вперёд. И негры позади нас тоже.

Кожа у Тома была совсем чёрная, но не блестящая, а как тусклый бархат. На чёрном лице блестели белки глаз, и, когда он говорил, зубы так и сверкали. Не будь он калекой, он был бы прямо красивый.

— Иду я в тот вечер домой, мистер Финч, — начал он. — А мисс Мэйелла стоит на крыльце, она вам так и сказала. У них было больно тихо, а почему — я не знал. Я иду и удивляюсь, отчего это тихо, а она меня кликнула, велела зайти помочь. Я и вошёл во двор, поглядел кругом, думал, надо дров нарубить, а их не видать, а она говорит — нет, — говорит, — у меня для тебя в доме дело есть. Дверь соскочила с петель, а зима на носу. Я спросил у мисс Мэйеллы отвёртку. А она говорит, отвёртка найдётся. Ну, я поднялся на крыльцо, а она говорит — иди в дом. Вошёл я, поглядел дверь и говорю — мисс Мэйелла, а дверь вроде в порядке. Отворил дверь, затворил — и петли в порядке. А она взяла да и захлопнула дверь. Я всё думал, мистер Финч, почему это так тихо, а тут понял, ребяташек-то ни одного нет, и спрашиваю — мисс Мэйелла, а куда ж все ребяташки подевались?

Чёрное лицо Тома начало блестеть, и он провёл рукой по лбу.

— Я спрашиваю, куда, мол, все детишки подевались? — повторил он. — А она эдак засмеялась... и говорит, в город пошли, мороженое есть. Полный год я им копила семь пятаков, а всё ж таки накопила. Все пошли в

город.

Тому было явно не по себе, и не оттого, что он вспотел.

— А вы ей что на это ответили, Том? — спросил Аттикус.

— Я ответил вроде того, что ловко это вы с ними, мисс Мэйелла. А она говорит: ты так думаешь? Только она, видно, меня не поняла... Я-то думал, какая она ловкая, что накопила денег, и какая добрая к детишкам.

— Понимаю вас, Том, — сказал Аттикус. — Продолжайте.

— Ну, я сказал — я пойду, раз у вас для меня работы нет, а она говорит, есть. Я спросил, какая, а она велела: влезь вон на стул и сними тот ящик с гардероба.

— Не с того гардероба, который вы порубили на дрова? — спросил Аттикус.

Том улыбнулся.

— Нет, сэр, это другой. Высокий, под самый потолок. Я снял ящик, стал слезать, а она... она вдруг взяла да... да и обхватила меня, мистер Финч. Я до того напугался, спрыгнул, стул и опрокинулся... Только этот один стул и опрокинулся, а другое всё по местам стояло, когда я уходил, мистер Финч. Бог свидетель.

— А после того, как вы опрокинули стул, что было?

У Тома будто язык отнялся. Он поглядел на Аттикуса, потом на присяжных, потом на мистера Андервуда, который сидел напротив него.

— Том, вы поклялись говорить всю правду. Мы ждём.

Том растерянно провёл рукой по губам.

— Что же было дальше?

— Отвечай на вопрос, — сказал судья Тейлор. Он уже на треть сжевал свою сигару.

— Я спрыгнул со стула, мистер Финч, повернулся, а она как накинется на меня...

— Накинулась на вас? С кулаками?

— Нет, сэр, она... она меня обняла. Обеими руками обхватила.

На этот раз судья Тейлор громко стукнул своим молотком, и в ту же минуту в зале зажёгся свет. Ещё не стемнело, но солнце уже не светило в окна. Судья Тейлор живо навёл порядок.

— А потом что она сделала?

Том через силу глотнул.

— Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щёку. И говорит, отродясь ни с кем не целовалась, хоть черномазого поцелую. А что отец с ней делает, так это, мол, не в счёт. Поцелуй и ты меня, черномазый, — говорит. Я говорю — отпустите меня, мисс Мэйелла, и хотел бежать, а она

загородила дверь, — не толкать же мне её. Не хотел я её толкать, мистер Финч, и говорю — пропустите меня! А тут как раз мистер Юэл заглянул в окно и давай кричать.

— Что он кричал?

Том Робинсон опять глотнул и вытаращил глаза.

— Не могу я это сказать... ну никак не могу... тут народ, дети...

— Что он сказал, Том? Вы должны повторить присяжным, что он сказал.

Том Робинсон крепко зажмурился.

— Он сказал: «Чёртова шлюха, я тебя убью».

— А потом что было?

— Я сразу убежал, мистер Финч, не знаю я, что потом было.

— Том, вы изнасиловали Мэйеллу Юэл?

— Нет, сэр.

— Нанесли вы ей какие-нибудь побои?

— Нет, сэр.

— Вы противились её заигрываньям?

— Я старался, мистер Финч. Я старался, только я не хотел быть грубым. Не хотел быть грубым, не хотел её толкать.

Тут мне пришло в голову — Том очень воспитанный, прямо как Аттикус. Только после отец мне объяснил, и я поняла, в какое трудное положение попал Том: что бы там ни было, а посмей он ударить белую женщину — и ему конец, вот он и кинулся бежать, а раз бежит, значит виноват.

— Давайте вернёмся к мистеру Юэлу, Том, — сказал Аттикус. — Он вам что-нибудь сказал?

— Нет, сэр. Может, он что и сказал, да меня-то уже не было...

— Достаточно, — оборвал Аттикус. — А то, что вы слышали, кому он говорил?

— Он говорил мисс Мэйелле, мистер Финч, и смотрел на неё.

— И потом вы убежали?

— Да, сэр.

— Почему вы убежали?

— Напугался, сэр.

— Почему вы испугались?

— Были бы вы чёрный, мистер Финч, вы бы тоже напугались.

Аттикус сел. К свидетельскому месту пошёл мистер Джилмер, но в это время в публике поднялся мистер Линк Диз и объявил:

— Вот что я вам всем скажу. Этот малый работает у меня восемь лет, и

ни разу я его ни в чём дурном не заметил. Ни разу.

— Попридержите язык, сэр! — загремел судья Тейлор. Сейчас он был ни капельки не сонный и весь покраснел. Удивительное дело, несмотря на сигару, он говорил очень внятно. — Линк Диз, — заорал он, — если вам есть что сказать, извольте это говорить в положенное время и под присягой, а пока чтоб вашего духа тут не было! Понятно? Чёрт меня подери, стану я тут слушать этого фрукта!

Судья Тейлор свирепо поглядел на Аттикуса — попробуй, мол, скажи хоть слово, но Аттикус наклонил голову и только посмеивался про себя. Аттикус когда-то говорил: судья Тейлор очень любит метать громы и молнии, иногда даже хватает через край, но адвокаты пропускают его грозные тирады мимо ушей. Я поглядела на Джима, а он только покачал головой.

— Это ведь не то что присяжный встал да заговорил, — сказал он. — Тогда бы он, наверно, так не разъярился. А мистер Линк просто нарушает порядок.

Судья Тейлор велел секретарю вычеркнуть из протокола всё после слов: «Были бы вы чёрный, мистер Финч, вы бы тоже напугались», а присяжным сказал не обращать внимания на всякие неуместные выкрики. Он сердито глядел на проход — наверно, ждал, чтоб мистер Линк Диз закрыл за собой дверь. Потом сказал:

— Давайте, мистер Джилмер.

— Был ты приговорён к месяцу тюрьмы за нарушение общественного порядка, Робинсон? — спросил мистер Джилмер.

— Да, сэр.

— И здорово ты отделал того черномазого?

— Он меня поколотил, мистер Джилмер.

— Да, но осудили-то тебя, верно?

Аттикус поднял голову.

— Это был мелкий проступок, и это уже записано в протоколе, ваша честь. — Мне показалось, голос у него усталый.

— Всё равно, пускай свидетель ответит, — сказал судья Тейлор тоже усталым голосом.

— Да, сэр, меня посадили на месяц.

Теперь мистер Джилмер станет уверять присяжных, что раз человека осудили за нарушение общественного порядка, значит, и замыслить насилие над Мэйеллой Юэл он тоже может; только для этого мистер Джилмер и завёл этот разговор. Такие доводы всегда годятся.

— Робинсон, ты отлично умеешь одной рукой и гардеробы рубить и

дрова колоть, верно?

— Да, сэр, сдаётся мне, что так.

— У тебя хватает силы придушить женщину и повалить её на пол?

— Я никогда этого не делал, сэр.

— Но силы у тебя на это хватит?

— Сдаётся мне, что так, сэр.

— Давно на неё заглядывался, а, парень?

— Нет, сэр, никогда я на неё не глядел.

— Так ты что же, из одной любезности ей и дрова колол и вещи перетаскивал, а, парень?

— Я ей старался помочь, сэр.

— Ишь ты, какой благородный! Ведь ты и на плантации работал, да и дома всегда дела найдутся, а?

— Да, сэр.

— Почему ж ты свои дела не делал, а работал на мисс Юэл?

— Я и свои дела делал, сэр.

—хлопот, значит, было по горло. А чего ради?

— Что «чего ради», сэр?

— Чего ради ты для неё так старался?

Том Робинсон ответил не сразу.

— Да вот, я уж говорил, помочь-то ей вроде некому, — сказал он неуверенно.

— А мистер Юэл, а семеро ребят?

— Да ей вроде никто не помогал...

— И ты колол ей дрова и делал всякую другую работу просто так, по доброте сердечной, а, парень?

— Да вот, хотел ей помочь...

Мистер Джилмер криво усмехнулся и поглядел на присяжных.

— Смотри ты, какой добрый!... Столько работал, и всё задаром?

— Да, сэр. Я её жалел, она вроде одна за них за всех старалась...

— Ах, вот оно что, жалел? Это ты-то её жалел? — Мистер Джилмер чуть не подпрыгнул под потолок.

Свидетель понял, что сказал не то, и беспокойно переступил с ноги на ногу. Но ничего уже нельзя было поправить. Всем сидящим внизу ответ Тома Робинсона сильно не понравился. А чтобы его получше запомнили, мистер Джилмер долго не задавал следующего вопроса.

— Итак, — заговорил он наконец, — двадцать первого ноября ты, как всегда, шёл мимо дома Юэлов и она позвала тебя и попросила расколоть гардероб?

— Нет, сэр.

— Ты отрицаешь, что шёл мимо дома?

— Нет, сэр... Она сказала, у неё есть для меня работа в доме...

— Она говорит, что попросила тебя расколоть гардероб, так?

— Нет, сэр, не так.

— Значит, ты говоришь, что она лжёт?

Аттикус вскочил, но Том обошёлся без его помощи.

— Я не говорю — она лжёт, мистер Джилмер, просто она ошибается.

Мистер Джилмер задал ещё десяток вопросов, он хотел, чтоб Том подтвердил рассказ Мэйеллы. Но Том стоял на своём: мисс Мэйелла ошибается.

— А разве мистер Юэл не выгнал тебя из дому, парень?

— Нет, сэр, не думаю.

— Что значит «не думаю»?

— Он не успел меня выгнать, я сам сразу убежал.

— Насчёт этого ты очень откровенен. А почему, собственно, ты так сразу убежал?

— Так вот, сэр, я напугался.

— Чего же ты напугался, если у тебя совесть чиста?

— Я уж говорил, сэр, чёрному опасно попасть в такую... в такую переделку.

— Но ведь ты не попал в переделку, ты утверждаешь, что устоял перед мисс Юэл. Или, может, ты убежал со страху, что она тебя поколотит, эдакого детину?

— Нет, сэр, я боялся попасть под суд, а всё равно попал.

— Боялся, что тебя арестуют, боялся, что придётся отвечать за то, что натворил?

— Нет, сэр, боялся — придётся отвечать за то, чего не делал.

— Ты это что же, парень, дерзишь мне?

— Нет, сэр, что вы!

Дальше я уже не слушала вопросов мистера Джилмера — Джим велел мне увести Дилла. Дилл почему-то расплакался и никак не мог перестать; сперва он всхлипывал тихонько, а потом громче, громче, и все вокруг услышали. Джим сказал, если я не уведу Дилла, он меня всё равно заставит, и преподобный Сайкс тоже сказал, что надо бы мне пойти, — и я пошла. Дилл в тот день был вроде здоров, ничего у него не болело, наверно, он просто ещё не пришёл в себя после своего побега.

— Ты что, заболел? — спросила я, когда мы сошли вниз.

Мы сбежали с крыльца. Дилл изо всех сил старался взять себя в руки.

На крыльце одиноко сидел мистер Линк Диз.

— Что-нибудь случилось, Глазастик? — спросил он, когда мы проходили мимо.

— Нет, сэр, — сказала я на ходу. — Только вон Дилл чего-то скис.

— Пойдём под деревья, — сказала я Диллу. — Это ты, наверно, от жары.

Мы выбрали самый тенистый виргинский дуб и уселись под ним.

— Нет, просто я не мог его слушать, — сказал Дилл.

— Кого, Тома?

— Да нет же, этого противного Джилмера, как он его мучает.

— Так ведь это его работа, Дилл. А как же. Ведь если б у нас не было обвинителей, так, наверно, и защитников не было бы.

Дилл терпеливо вздохнул.

— Знаю, Глазастик. Но он уж так придирался — оттого мне и тошно стало.

— Ему так полагается, Дилл, он вёл перекрёстный...

— Но ведь с другими он не так...

— Так то были его свидетели, а не защиты.

— А всё равно мистер Финч Мэйеллу и старика Юэла совсем не так допрашивал. А этот всё время называет Тома «парень» и насмехается над ним, и, что тот ни скажет, он всё оборачивается к присяжным — видали, мол, как врёт.

— Ну, знаешь, Дилл, в конце концов Том ведь просто негр.

— А мне наплевать. Всё равно это нечестно. Нечестно с ними так обращаться. Нельзя так разговаривать с человеком... Меня прямо тошнит.

— Да мистер Джилмер вообще такой, он со всеми так, Дилл. Ты ещё не знаешь, какой он бывает злой, а тут... знаешь, мистер Джилмер, по моему, вовсе не так и старался. Нет, они все так, все юристы.

— Мистер Финч не такой.

— Он не в счёт, Дилл, он... — Я старалась вспомнить, как тогда хорошо сказала мисс Моды Эткинсон. Ага, вот: — Он всегда одинаковый — что в суде, что на улице.

— Я не про то, — сказал Дилл.

— Я понимаю, про что ты, малыш, — сказал кто-то у нас за спиной.

Нам показалось — это заговорил дуб, но это был мистер Дольфус Реймонд. Он выглянул из-за дерева.

— Ты ведь не плакса, просто тебе от этого тошно, так я говорю?

— Поди сюда, сынок, у меня есть одно снадобье, от которого тебе полегчает.

Мистер Дольфус Реймонд был нехороший человек, и его приглашение мне не очень понравилось, но я пошла за Диллом. Почему-то мне казалось, Аттикусу не понравится, если мы заведём дружбу с мистером Реймондом, а уж о тёте Александре и говорить нечего.

— На, — сказал он и протянул Диллу бумажный пакет с двумя торчащими соломинками. — Глотни-ка, тебе сразу полегчает.

Дилл пососал соломинку, улыбнулся и стал тянуть вовсю.

— Ха-ха, — сказал мистер Реймонд; видно, ему нравилось совращать ребёнка.

— Ты поосторожней, Дилл, — предостерегающе сказала я.

Дилл отпустил соломинку и ухмыльнулся.

— Да это просто кока-кола, Глазастик.

Мистер Реймонд сел и прислонился к дубу. Раньше он лежал на траве.

— Только смотрите, малыши, теперь не выдайте меня, ладно? Не то погибло моё честное имя.

— Так что же, вы пьёте из этого пакета просто кока-колу? Самую обыкновенную кока-колу?

— Совершенно верно, мэм, — сказал мистер Реймонд. От него хорошо пахло: кожей, лошадьми, хлопковым семенем. И на нём были высокие сапоги, таких в Мейкомбе никто больше не носил. — Только это я и пью... как правило.

— Значит, вы просто притворяетесь пья... — Я прикусила язык. — Прошу прощенья, сэр. Я не хотела быть невеж...

Мистер Реймонд фыркнул, он ни капельки не обиделся, и я постаралась найти слова повежливее:

— А почему же вы так всё делаете не так?

— Почему... а, ты хочешь, знать, почему я притворяюсь? Что ж, это очень просто, — сказал он. — Некоторым не нравится, как я живу. Конечно, я могу послать их к чёрту: не нравится — и не надо, мне плевать. Мне и в самом деле плевать. Но я не посылаю их к чёрту, понятно?

— Нет, сэр, непонятно, — сказали мы с Диллом.

— Понимаете, я стараюсь дать им повод, чтоб они не зря бранились. Людям куда приятней браниться, если у них есть повод. Приедешь в город

— а приезжаю я не часто, — идёшь и качаешься, нет-нет да и отхлебнёшь вон из этого пакета, ну, люди и говорят: опять этот Дольфус Реймонд под мухой; где же пьянице отказаться от своих привычек. Где уж ему с собой сладить, вот он и живёт не как люди.

— Это нечестно, мистер Реймонд, представляться ещё хуже, чем вы есть...

— Верно, нечестно, зато людям так куда удобней. Скажу тебе по секрету, мисс Финч, не такой уж я пьяница, но ведь им вовек не понять, что я живу, как живу, просто потому, что мне так нравится.

Наверно, мне не следовало слушать этого грешника, ведь у него дети — мулаты, а ему даже не совестно, но уж очень мне было интересно. Никогда ещё я не встречала человека, который нарочно возводил бы на себя напраслину. Но почему он доверил нам свой самый большой секрет? Я так и спросила.

— Потому что вы дети и можете это понять, — сказал он, — и потому что я слышал вон его...

Он кивнул на Дилла.

— Ему ещё пока невтерпёж смотреть, если кому-то плохо приходится. Вот подрастёт, тогда не станет из-за этого ни плакать, ни расстраиваться. Может, ему что и покажется, ну, скажем, не совсем справедливым, но плакать он не станет, ещё несколько лет — и не станет.

— О чём плакать, мистер Реймонд? — Дилл вспомнил, что он мужчина.

— О том, как люди измываются друг над другом и даже сами этого не замечают. О том, как белые измываются над цветными и даже не подумают, что цветные ведь тоже люди.

— Аттикус говорит, обмануть цветного в десять раз хуже, чем белого, — пробормотала я. — Говорит, хуже этого нет ничего на свете.

— Ну, бывает и хуже, — сказал мистер Реймонд. — Мисс Джин Луиза, твой папа не такой, как все, ты этого ещё не понимаешь, ты пока слишком мало видела на своём веку. Ты даже наш город ещё толком не разглядела, но для этого тебе достаточно сейчас вернуться в зал суда.

И тут я спохватилась: ведь мистер Джилмер, наверно, уже всех допросил. Я поглядела на солнце, оно быстро опускалось за крыши магазинов на западной стороне площади. Я сама не знала, что выбрать, что интереснее — мистер Реймонд или пятая сессия окружного суда.

— Пошли, Дилл, — сказала я. — Ты уже ничего?

— Ага. Рад был познакомиться, мистер Реймонд, спасибо за питье, оно отлично помогает.

Мы перебежали площадь, взлетели на крыльцо, потом по лестнице и пробрались на галерею. Преподобный Сайкс сберёг наши места.

В зале было тихо, и я опять подумала, куда же подевались все младенцы? От сигары судьи Тейлора виднелся только один кончик; мистер Джилмер за своим столом что-то писал на жёлтых листках, кажется, он старался обогнать секретаря — у того рука так и бегала по бумаге.

— Ах, чтоб тебе! — пробормотала я. — Прозевали.

Аттикус уже сказал половину своей речи. У него на столе лежали какие-то бумаги — наверно, он их достал из своего портфеля, который стоял на полу возле стула. И Том Робинсон теребил их.

— ...и, несмотря на отсутствие прямых улик, этот человек обвинён в преступлении, наказан смертию, и предстал перед судом...

Я ткнула Джима в бок.

— Давно он говорит?

— Только разобрал улики, — прошептал Джим. — Вот увидишь, Глазастик, мы выиграем. Непременно выиграем. Он в пять минут ничего от них не оставил. Он так всё просто объяснил, ну... прямо как я бы стал объяснять тебе. Ты и то бы поняла.

— А мистер Джилмер?

— Ш-шш... Ничего нового, всё одно и то же. Теперь молчи.

Мы опять стали смотреть вниз. Аттикус говорил спокойно, равнодушно, так он обычно диктовал письма. Он неторопливо расхаживал перед скамьями присяжных, и они, кажется, слушали со вниманием: они все на него смотрели — и, по-моему, одобрительно. Наверно, потому, что он не кричал.

Аттикус замолчал на минуту и вдруг повёл себя как-то очень странно. Он положил часы с цепочкой на стол и сказал:

— Если позволите, ваша честь...

Судья Тейлор кивнул, и тогда Аттикус сделал то, чего никогда не делал ни прежде, ни после, ни на людях, ни дома: расстегнул жилет, расстегнул воротничок, оттянул галстук и снял пиджак. Дома, пока не придёт время ложиться спать, он всегда ходил застёгнутый на все пуговицы, и сейчас для нас с Джимом он был всё равно что голый. Мы в ужасе переглянулись.

Аттикус сунул руки в карманы и пошёл к присяжным. На свету блеснули золотая запонка и колпачки самопишущей ручки и карандаша.

— Джентльмены, — сказал он. И мы с Джимом опять переглянулись: так он дома говорил — Глазастик.

Теперь голос у него был уже не сухой и не равнодушный, он говорил с присяжными, будто встретил знакомых на углу возле почты.

— Джентльмены, — говорил он, — я буду краток, но я бы хотел употребить оставшееся время, чтобы напомнить вам, что дело это несложное, вам не надо вникать в запутанные обстоятельства, вам нужно другое: уяснить себе, виновен ли обвиняемый, уяснить настолько, чтобы не осталось и тени сомнения. Начать с того, что дела этого вообще не следовало передавать в суд. Дело это простое и ясное, как дважды два.

Обвинение не представило никаких медицинских доказательств, что преступление, в котором обвиняют Тома Робинсона, вообще имело место. Обвинитель ссылается лишь на двух свидетелей, а их показания вызывают серьёзные сомнения, как стало ясно во время перекрёстного допроса, более того, обвиняемый решительно их опровергает. Обвиняемый не виновен, но в этом зале присутствует тот, кто действительно виновен.

Я глубоко сочувствую главной свидетельнице обвинения, но как ни глубоко моё сочувствие, ему есть пределы — я не могу оправдать свидетельницу, когда она старается переложить свою вину на другого, зная, что это будет стоить ему жизни.

Я говорю «вина», джентльмены, потому что свидетельница виновата. Она не совершила преступления, она просто нарушила суровый, освящённый временем закон нашего общества, закон столь непреклонный, что всякого, кто его нарушил, изгоняют из нашей среды, как недостойного. Она жертва жестокой нужды и невежества, но я не могу её жалеть: она белая. Она прекрасно знала, как непозволительно то, что она совершает, но желание оказалось для неё важнее закона — и, упорствуя в своём желании, она нарушила закон. Она уступила своему желанию, а затем повела себя так, как хоть раз в жизни ведёт себя каждый. Она поступила так, как поступают дети, — пыталась избавиться от обличающей её улики. Но ведь перед нами не ребёнок, который прячет краденое лакомство: она нанесла своей жертве сокрушительный удар — ей необходимо было избавиться от того, кто обо всём знал. Он не должен больше попадаться ей на глаза, не должен существовать. Она должна уничтожить улику.

Что же это за улика? Том Робинсон, живой человек. Она должна избавиться от Тома Робинсона. Том Робинсон самим своим существованием напоминал ей о том, что она совершила. Что же она совершила? Она хотела соблазнить негра. Она — белая — хотела соблазнить негра. Она совершила поступок, который наше общество не прощает: поцеловала чёрного. И не какого-нибудь старика негра, а молодого, полного сил мужчину. До этой минуты для неё не существовало закона, но, едва она его преступила, он безжалостно обрушился на неё.

Её отец увидел это. Что он на это сказал, мы знаем из показаний

обвиняемого. Что же сделал её отец? Мы не знаем, но имеются косвенные улики, указывающие, что Мэйелла Юэл была зверски избита кем-то, кто действовал по преимуществу левой рукой. Отчасти мы знаем, что сделал мистер Юэл: он поступил так, как поступил бы на его месте каждый богобоязненный христианин, каждый почтенный белый человек. Он добился ареста Тома Робинсона, дав соответствующие показания, которые, несомненно, подписал левой рукой, и вот Том Робинсон оказался на скамье подсудимых, и вы все видели, как он присягал на библии, видели, что у него действует только одна рука — правая.

Итак, тихий, порядочный, скромный негр, который был столь неосторожен, что позволил себе пожалеть белую женщину, вынужден оспаривать слова двух белых. Не стану вам напоминать, как они выглядели и как вели себя, когда давали показания, — вы сами это видели. Свидетели обвинения, за исключением шерифа округа Мейкомб, предстали перед вами, джентльмены, перед судом, в бесстыдной уверенности, что в их показаниях никто не усомнится, в уверенности, что вы, джентльмены, как и они, исходите из предположения — порочного предположения, вполне естественного для людей подобного сорта, — будто **все негры** лгут, **все негры** безнравственны от природы, **всех негров** должны опасаться наши женщины. А это по самой сути своей, джентльмены, есть ложь, чёрная, как кожа Тома Робинсона, и вы не хуже меня знаете, что это ложь. А между тем вам известна и правда, вот она: некоторые негры лгут, некоторые негры безнравственны, некоторых негров должны опасаться женщины — и белые и чёрные. Но ведь то же самое можно сказать обо всём человечестве, а не только об одной какой-то расе. В этом зале не найдётся ни одного человека, который бы ни разу за всю свою жизнь не солгал, ни разу не поступил безнравственно, и нет на свете мужчины, который хоть раз не посмотрел бы на женщину с вожделением.

Аттикус замолчал и достал носовой платок. Потом снял очки и протёр их, и мы сделали ещё одно открытие: никогда до этой минуты мы не видели, чтобы он вспотел, — он был из тех, на чьём лице никогда не увидишь испарины, а сейчас оно блестело, как от загара.

— Ещё одно, джентльмены, и я заканчиваю. Томас Джефферсон сказал однажды, что все люди созданы свободными и равными; янки и моралисты из Вашингтонских департаментов вечно нам об этом твердят. Ныне, в тысяча девятьсот тридцать пятом году, есть люди, которые склонны повторять эти слова к месту и не к месту по любому поводу. Вот вам один из самых нелепых примеров: педагоги переводят из класса в класс тупиц и лентяев наравне со способными учениками и пресерьёзно объясняют, что

иначе нельзя, ибо все люди созданы равными и дети, оставляемые на второй год, невыносимо страдают от сознания своей неполноценности. Но мы знаем, люди не созданы равными в том смысле, как кое-кто хочет нас уверить: одни выделяются умом, у других по воле случая больше возможностей, третьи умеют больше заработать, иным женщинам лучше удаются пироги, — короче говоря, некоторые люди рождаются значительно более одарёнными, чем остальные.

Но в одном отношении в нашей стране все люди равны, есть у нас одно установление, один институт, перед которым все равны — нищий и Рокфеллер, тупица и Эйнштейн, невежда и ректор университета. Институт этот, джентльмены, не что иное, как суд. Всё равно, будь то верховный суд Соединённых Штатов, или самый скромный мировой суд где-нибудь в глуши, или вот этот достопочтенный суд, где вы сейчас заседаете. У наших судов есть недостатки, как у всех человеческих установлений, но суд в нашей стране великий уравниватель, и перед ним поистине все люди равны.

Я не идеалист и вовсе не считаю суд присяжных наилучшим из судов, для меня это не идеал, но существующая, действующая реальность. Суд в целом, джентльмены, не лучше, чем каждый из вас, присяжных. Суд разумен лишь постольку, поскольку разумны присяжные, а присяжные в целом разумны лишь постольку, поскольку разумен каждый из них. Я уверен, джентльмены, что вы беспристрастно рассмотрите показания, которые вы здесь слышали, вынесете решение и вернёте обвиняемого его семье.

Бога ради, исполните свой долг.

Последние слова Аттикус произнёс едва слышно и, уже отвернувшись от присяжных, сказал ещё что-то, но я не расслышала. Как будто он говорил не суду, а сам себе. Я толкнула Джима в бок.

— Что он сказал?

— По-моему, он сказал — бога ради, поверьте ему.

Тут через мои колени перегнулся Дилл и дёрнул Джима за рукав.

— Гляди-ка! — и показал пальцем.

Мы поглядели, и сердце у нас ушло в пятки. Через зал, по среднему проходу, прямо к Аттикусу шла Кэлпурния.

Она застенчиво остановилась у барьера и ждала, пока её заметит судья Тейлор. На ней был свежий фартук, в руках — конверт.

Наконец судья Тейлор увидел её и сказал:

— Да это, кажется, Кэлпурния?

— Я самая, сэр, — сказала она. — Пожалуйста, сэр, можно я передам записку мистеру Финчу? Она к этому... к этому делу не относится...

Судья Тейлор кивнул, и Аттикус взял у Кэлпурнии письмо. Открыл его, прочёл и сказал:

— Ваша честь, я... это от сестры. Она пишет, что пропали мои дети, их нет с двенадцати часов... я... разрешите...

— Я знаю, где они, Аттикус, — перебил мистер Андервуд. — Вон они, на галерее для цветных... Они там ровно с восемнадцати минут второго.

Отец обернулся и поглядел наверх.

— Джим, — окликнул он, — иди вниз!

Потом что-то сказал судье, но мы не услышали. Мы протиснулись мимо преподобного Сайкса и пошли к лестнице. Внизу нас ждали Аттикус и Кэлпурния. У Кэлпурнии лицо было сердитое, у Аттикуса измученное.

— Мы выиграли, да? — Джим даже подпрыгивал от радости.

— Не знаю, — коротко сказал Аттикус. — Вы всё время были здесь? Ступайте с Кэлпурнией, поужинайте и оставайтесь дома.

— Ой, Аттикус, позволь нам вернуться! — взмолился Джим. — Пожалуйста, позволь нам послушать приговор. Ну, пожалуйста, сэр!

— Неизвестно, когда это будет, присяжные могут вернуться в любую минуту. — Но мы уже чувствовали, что Аттикус немного смягчился. — Что ж, вы уже столько слышали, можете дослушать до конца. Вот что, пойдите поужинайте и можете вернуться. Только ешьте не спеша, ничего важного вы не упустите, и, если присяжные ещё будут совещаться, вы дождётесь их вместе с нами. Но думаю, что всё кончится ещё до вашего возвращения.

— Ты думаешь, его так быстро оправдают? — спросил Джим.

Аттикус открыл было рот, но так ничего и не сказал, повернулся и ушёл.

Я стала молить бога, чтобы преподобный Сайкс сберёг наши места, да вспомнила, что, как только присяжные удаляются на совещание, публика валом валит из зала суда, и бросила молиться: сейчас все, наверно, толпятся в аптеке, в забегаловке, в гостинице — разве что они и ужин с

собой прихватили.

Кэлпурния повела нас домой.

— ...всех вас надо выдрать как следует. Слыханное ли дело, детям — и такое слушать! Мистер Джим, как же это вы додумались, маленькую сестрёнку на такой процесс повели? Мисс Александра как узнает, её прямо удар хватит. Да разве годится детям такое слушать?...

На улицах уже горели фонари, и фонарь за фонарём освещал разгневанный профиль Кэлпурнии.

— Я-то думала, у вас какая-никакая голова на плечах, мистер Джим. Слыханное ли дело, потащить туда сестрёнку! Слыханное ли дело, сэр! И вам не совестно, неужто у вас совсем никакого соображения нету?

Я ликовала. Столько всего случилось за один день, сразу и не разберёшься, а теперь вот Кэлпурния даёт жару своему драгоценному Джиму — какие ещё чудеса нас ждут сегодня?

Джим только хихикал.

— Кэл, а тебе самой разве не интересно, что там было?

— Придержите язык, сэр! Вам бы от стыда глаз не подымать, а у вас всё хиханьки да хаханьки... — Кэлпурния снова обрушилась на Джима, грозила ему самыми страшными карами, но он и ухом не повёл. — Извольте идти в дом, сэр! Если мистер Финч вас не выдерет, так я сама выдеру, — привычно закончила она и поднялась на крыльцо.

Джим ухмыльнулся, вошёл в дом, и Кэлпурния молча кивнула в знак, что Дилл может ужинать с нами.

— Только сейчас же позвони мисс Рейчел и скажи, что ты у нас, — велела она Диллу. — Она с ног сбилась, всюду бегала, тебя искала... Смотри, утром возьмёт да и отправит тебя назад в Меридиан!

Нас встретила тётя Александра и чуть в обморок не упала, когда Кэлпурния сказала, где мы были. Мы сказали, что Аттикус позволил нам вернуться, и она за весь ужин ни слова не вымолвила — наверно, очень на него обиделась. Она уныло уставилась в свою тарелку и стала ковырять в ней вилкой, а Кэлпурния щедро накладывала Джиму, Диллу и мне картофельный салат с ветчиной, наливала нам молоко и всё время ворчала себе под нос: постыдились бы...

— Да ешьте потихоньку, не торопитесь, — скомандовала она под конец.

Преподобный Сайкс сберёг для нас места. Удивительное дело, мы проужинали целый час, а ещё удивительнее, что в зале суда почти ничего не изменилось; только скамьи присяжных опустели и подсудимого нет.

Судья Тейлор тоже уходил, но, как раз когда мы усаживались, он вернулся.

— Почти никто и с места не двинулся, — сказал Джим.

— Когда присяжные ушли, некоторые из публики тоже вышли, — сказал преподобный Сайкс. — Мужчины принесли жёнам поесть, и матери покормили детей.

— А они давно ушли? — спросил Джим.

— С полчаса. Мистер Финч и мистер Джилмер говорили ещё немного, а потом судья Тейлор напутствовал присяжных.

— Ну и как он? — спросил Джим.

— Что он сказал? О, он говорил прекрасно! Я на него ничуть не в обиде, он всё сказал по справедливости. Вроде как — если вы верите в одно, значит, должны вынести такой приговор, а если в другое, значит, эдакий. Кажется мне, он немного склонялся в нашу сторону... — Преподобный Сайкс почесал в затылке.

Джим улыбнулся.

— Ему не положено склоняться ни в какую сторону, ваше преподобие, но не беспокойтесь, мы всё равно выиграли, — сказал он с видом знатока. — Никакой состав присяжных не может обвинить на основании таких показаний...

— Не будьте так уверены, мистер Джим, я на своём веку ни разу не видел, чтобы присяжные решили в пользу цветного против белого...

Но Джим заспорил и стал разбирать все показания в свете своих собственных взглядов на закон об изнасиловании: если она не против, это уже не изнасилование, но надо, чтоб ей исполнилось восемнадцать (это у нас, в Алабаме), а Мэйелле все девятнадцать. А если ты против, так брыкайся и кричи, а уж тогда надо, чтоб тебя осилили, совладали с тобой, а лучше всего так стукнули, чтоб свалить без сознания. А если тебе восемнадцати нет, тогда и без этого будут судить.

— Мистер Джим, — несмело перебил преподобный Сайкс, — маленькой леди не стоило бы слушать про такие вещи...

— Да она ж не понимает, о чём речь, — возразил Джим. — Это всё дела взрослые, верно, Глазастик?

— Ничего подобного, прекрасно я всё понимаю. — Наверно, я сказала это уж очень убедительно: Джим замолчал и больше про это не заговаривал.

— Который час, мистер Сайкс? — спросил он.

— Скоро восемь.

Я поглядела вниз и увидела Аттикуса, он шагал вдоль окон, потом пошёл вдоль барьера к скамьям присяжных. Посмотрел на скамьи, на

судью Тейлора и пошёл назад к окнам.

Я поймала его взгляд и помахала ему. Он кивнул в ответ и пошёл своей дорогой.

Мистер Джилмер разговаривал у окна с мистером Андервудом. Берт, секретарь суда, курил сигарету за сигаретой; он откинулся на стуле, задрал ноги на стол. Одни только судейские — Аттикус, мистер Джилмер, спавший крепким сном судья Тейлор и Берт — вели себя, как обычно. Никогда ещё я не видела, чтобы в переполненном зале суда было так тихо. Иногда заикается младенец, пробежит кто-нибудь из детей, а взрослые сидят, будто в церкви. И на галерее вокруг нас негры ждали не шевелясь, с истинно библейским терпением.

Дряхлые часы, поднатужась, пробили восемь гулких ударов, которые отдались у нас во всём теле.

Когда пробило одиннадцать, я уже ничего не чувствовала, я давно устала бороться со сном, прислонилась к уютному боку преподобного Сайкса и задремала. Но тут разом проснулась и, чтобы не заснуть снова, принялась старательно считать головы внизу: оказалось шестнадцать лысых, четырнадцать могли сойти за рыжих, сорок чёрных и каштановых и... тут я вспомнила: один раз, когда Джим ненадолго увлёкся психологическими опытами, он сказал, если много народу, ну, хоть полный стадион, изо всех сил станет думать про одно и то же, ну, хоть чтоб загорелось дерево в лесу, это дерево возьмёт и загорится само собой. Я вдруг обрадовалась: вот бы попросить всех, кто сидит внизу, изо всех сил думать, чтоб Тома Робинсона освободили, но потом сообразила — если все так же устали, как я, ничего у нас не получится.

Дилл положил голову на плечо Джима и спал крепким сном, и Джим сидел совсем тихо.

— Как долго, правда? — сказала я.

— Ясно, долго, Глазастик, — весело ответил Джим.

— А ведь по-твоему выходило — они всё решат в пять минут.

Джим поднял брови.

— Ты ещё кое-чего не понимаешь, — сказал он, а я так устала, мне даже не захотелось спорить.

Но, наверно, я была не очень сонная, потому что стала чувствовать себя как-то странно. Совсем как прошлой зимой, меня даже дрожь пробрала, а ведь было жарко.

Чувство это делалось всё сильнее, и, наконец, в зале суда стало совсем как в холодное февральское утро, когда замолчали пересмешники, и плотники, которые строили мисс Моды новый дом, перестали стучать

молотками, и все двери у всех соседей закрылись наглухо, точно в доме Рэдди. Безлюдная, пустынная, замершая в ожидании улица — и набитый битком зал суда. Эта душная летняя ночь всё равно, что то зимнее утро. Вошёл мистер Гек Тейт и говорит с Аттикусом, и мне кажется: на нём высокие сапоги и охотничья куртка. Аттикус уже не расхаживает по залу, он поставил ногу на перекладину стула, слушает мистера Тейта и медленно поглаживает коленку. Вот-вот мистер Тейт скажет:

— Стреляйте, мистер Финч...

Но вместо этого он властно крикнул!

— К порядку!

И все поспешно подняли головы. Мистер Тейт вышел из зала и вернулся с Томом Робинсоном. Он провёл его на место возле Аттикуса и остановился рядом. Судья Тейлор очнулся, выпрямился и насторожённо уставился на пустые скамьи присяжных.

Дальше всё было как во сне: вернулись присяжные, они двигались медленно, будто пловцы под водой, и голос судьи Тейлора доносился слабо, словно издалека. И тут я увидела то, что замечаешь, на что обращаешь внимание, только если у тебя отец адвокат, и это было всё равно, что смотреть, как Аттикус выходит на середину улицы, вскидывает ружьё, спускает курок, — и всё время знать, что ружьё не заряжено.

Присяжные никогда не смотрят на подсудимого, если они вынесли обвинительный приговор. Когда эти присяжные вернулись в зал, ни один из них не взглянул на Тома Робинсона. Старшина передал мистеру Тейту лист бумаги, мистер Тейт передал его секретарю, а тот — судье.

Я зажмурилась. Судья Тейлор читал: «Виновен... виновен... виновен... виновен». Я украдкой поглядела на Джима: он так вцепился в перила, что пальцы побелели, и от каждого «виновен» плечи у него вздрагивали, как от удара.

Судья Тейлор что-то говорил. Он зачем-то сжимал в руке молоток, но не стучал им. Будто в тумане я увидела — Аттикус собрал со стола бумаги и сунул в портфель. Щёлкнул замком, подошёл к секретарю суда, что-то ему сказал, кивнул мистеру Джилмеру, потом подошёл к Тому Робинсону и стал ему что-то шептать. И положил руку ему на плечо. Потом снял со спинки стула свой пиджак и накинул его. И вышел из зала, но не в ту дверь, как всегда. Он быстро прошёл через весь зал к южному выходу — видно, хотел поскорей попасть домой. Я всё время смотрела на него. Он так и не взглянул наверх.

Кто-то легонько толкнул меня, но мне не хотелось оборачиваться, я не отрываясь смотрела на людей внизу, на Аттикуса, который одиноко шёл по

проходу.

— Мисс Джин Луиза.

Я оглянулась. Все стояли. Вокруг нас и по всей галерее негры вставали с мест.

Голос преподобного Сайкса прозвучал издалека, как перед тем голос судьи Тейлора:

— Встаньте, мисс Джин Луиза. Ваш отец идёт.

Настал черёд Джима плакать. Мы пробирались сквозь шумную весёлую толпу, а по его лицу бежали злые слёзы. Несправедливо это, твердил он всю дорогу до угла площади, где нас ждал Аттикус. Аттикус стоял под уличным фонарём, и лицо у него было такое, словно ничего не случилось, жилет застёгнут, воротничок и галстук на месте, цепочка от часов блестит, весь он спокойный и невозмутимый, как всегда.

— Несправедливо это, Аттикус, — сказал Джим.

— Да, сын, несправедливо.

Мы пошли домой.

Тётя Александра ещё не ложилась. Она была в халате, и — вот честное слово — корсета она не снимала.

— Мне очень жаль, брат, — негромко сказала она.

Она никогда ещё не называла Аттикуса братом, и я покосилась на Джима, но он не слушал. Он смотрел то на Аттикуса, то в пол — может, он думал, Аттикус тоже виноват, что Тома Робинсона осудили.

— Что с ним? — спросила тётя про Джима.

— Ничего, он скоро придёт в себя, — ответил Аттикус. — Ему это не так-то легко далось. — И вздохнул. — Я иду спать. Если утром не выйду к завтраку, не будите меня.

— Прежде всего неразумно было разрешать детям...

— Здесь их родной дом, сестра, — сказал Аттикус. — Так уж мы для них его устроили, пусть учатся в нём жить.

— Но им совершенно незачем ходить в суд и пачкаться в этой...

— Это в такой же мере характерно для округа Мейкомб, как и собрания миссионерского общества.

— Аттикус, — глаза у тёти Александры стали испуганные, — я никак не ожидала, что ты способен из-за этого ожесточиться.

— Я не ожесточился, просто устал. Я иду спать.

— Аттикус... — угрюмо сказал Джим.

Аттикус приостановился в дверях.

— Что, сын?

— Что же они сделали, как они могли?

— Не знаю как, но смогли. Они делали так прежде и сделают ещё не раз, и плачут при этом, видно, одни только дети. Покойной ночи.

Но утром всегда всё кажется не так страшно. Аттикус по обыкновению

поднялся ни свет ни заря, и, когда мы понуро вошли в гостиную, он уже сидел, уткнувшись в «Мобил реджистер». На сонном лице Джима был написан вопрос, который он ещё не мог толком выговорить.

— Погоди волноваться, — успокоил его Аттикус, когда мы все вошли в столовую. — Мы ещё повоюем. Подадим апелляцию, ещё не всё потеряно. Господи боже мой, Кэл, это ещё что такое? — Аттикус во все глаза уставился на свою тарелку.

— Папаша Тома Робинсона прислал вам сегодня цыплёнка, а я его зажарила.

— Скажи ему, что для меня это большая честь, ведь даже у президента наверняка не подают к завтраку цыплят. А это что такое?

— Булочки, — сказала Кэлпурния. — Их прислала Эстелла, которая кухаркой в гостинице.

Аттикус посмотрел на неё в недоумении, и она сказала:

— А вы подите поглядите, что в кухне делается, мистер Финч.

Мы тоже пошли. Кухонный стол ломился от всякой снеди: толстые ломти копчёной свинины, помидоры, бобы, даже виноград. Аттикус увидел банку засоленных свиных ножек и усмехнулся.

— Как вы думаете, тётя позволит мне есть это в столовой?

— Прихожу утром, а у нас всё заднее крыльцо завалено. Они... они очень благодарны вам за всё, что вы сделали, мистер Финч. Это... это ведь не слишком дерзко с их стороны?

В глазах Аттикуса стояли слёзы. Он ответил не сразу.

— Передай им, что я очень признателен, — сказал он наконец. — Передай им... передай, чтоб они никогда больше этого не делали. Времена слишком тяжёлые...

Он заглянул в столовую, извинился перед тётей Александрой, надел шляпу и отправился в город.

В прихожей послышались шаги Дилла, и Кэлпурния не стала убирать со стола завтрак, к которому Аттикус так и не притронулся. Дилл, как всегда, жевал передними зубами и рассказывал нам, что сказала после вчерашнего вечера мисс Рейчел: если Аттикус Финч желает прошибать стену лбом — что ж, лоб-то его, не чей-нибудь.

— Я бы ей сказал, — проворчал Дилл, обгладывая куриную ножку, — да с ней сегодня не очень-то поспоришь. Говорит, полночи из-за меня проволновалась, хотела заявить шерифу, чтоб меня разыскивали, да он был в суде.

— Ты больше не бегай никуда, не сказавшись. Ты её только хуже злишь, — сказал Джим.

Дилл покорно вздохнул.

— Да я ей сорок раз говорил, куда иду... Просто ей слишком мерещатся змеи в шкафу. Вот спорим, она каждое утро за завтраком выпивает полкварти — два полных стакана, я точно знаю. Своими глазами видел.

— Не говори так, Дилл, — сказала тётя Александра. — Детям не пристало так говорить. Это... это бесстыдство.

— Я не бесстыдник, мисс Александра. Разве говорить правду бесстыдно?

— Так, как ты говоришь, — бесстыдно.

Джим сверкнул на неё глазами, но только сказал Диллу:

— Пошли. Виноград возьми с собой.

Когда мы вышли на веранду, мисс Стивени Кроуфорд, захлёбываясь, рассказывала про суд мистеру Эйвери и мисс Моды Эткинсон. Они оглянулись на нас и опять заговорили. Джим издал воинственный клич. А я пожалела, что у меня нет оружия.

— Ненавижу, когда большие на меня смотрят, — сказал Дилл. — Сразу кажется, будто что-нибудь натворил.

— Поди сюда, Джим Финч! — закричала мисс Моды.

С тяжёлым вздохом Джим слез с качелей.

— И мы с тобой, — сказал Дилл.

Мисс Стивени так и нацелилась на нас своим любопытным носом. Кто же это нам позволил пойти в суд? Она-то нас не видала, но сегодня с утра в городе только и разговору, что мы сидели на галерее для цветных. Это что же, Аттикус усадил нас туда, чтобы?... Там, верно, дышать было нечем среди всех этих?... И неужели Глазастик поняла всё это?... А досадно, верно, нам было, когда нашего папочку разбили в пух и прах?

— Помолчи, Стивени, — ледяным тоном сказала мисс Моды. — Я не намерена всё утро торчать на крыльце... Джим Финч, я позвала тебя, чтобы узнать, не желаешь ли ты и твои коллеги отведать пирога. Я поднялась в пять часов, чтобы его испечь, так что лучше соглашайся. Прошу нас извинить, Стивени. До свиданья, мистер Эйвери.

На кухонном столе у мисс Моды красовался большой пирог и два маленьких. Маленьких нужно бы три. Не похоже было на мисс Моды, чтоб она забыла про Дилла, и, наверно, лица у нас стали удивлённые. Но тут она отрезала кусок от большого пирога и протянула его Джиму.

Мы ели и понимали — это мисс Моды показывает нам, что её отношение к нам ни капельки не изменилось. Она молча сидела на табурете и смотрела на нас.

И вдруг сказала:

— Не горюй, Джим. В жизни всё не так плохо, как кажется.

Когда дома, не на улице, мисс Моды собиралась произнести длинную речь, она упиралась ладонями в колени и языком поправляла вставные зубы. Так она сделала и сейчас, а мы сидели и ждали.

— Вот что я хочу вам сказать: есть на свете люди, которые для того и родились, чтобы делать за нас самую неблагодарную работу. Ваш отец тоже такой.

— Ладно уж, — безнадёжным голосом сказал Джим.

— Никаких «ладно уж», сэр, — сказала мисс Моды. — Ты ещё недостаточно взрослый, чтоб уразуметь мои слова.

Джим уставился на свой недоеденный пирог.

— Чувствуешь себя, как гусеница в коконе, вот что, — сказал он. — Будто спал спелёнатый в тёплом углу и ветерок ни разу на тебя не подул. Я всегда думал, мейкомбцы самые лучшие люди на свете, по крайней мере с виду-то они такие.

— Мы самые благополучные люди на свете, — сказала мисс Моды. — Не часто обстоятельства призывают нас доказать, что мы и в самом деле христиане, но уж когда это случится, у нас есть на то люди вроде Аттикуса.

Джим горько улыбнулся.

— Хорошо, если бы все в нашем округе так думали.

— Ты и не подозреваешь, как нас много.

— Разве? — Джим повысил голос. — Кто хоть чем-нибудь помог Тому Робинсону, ну кто?

— Прежде всего его друзья цветные и люди вроде нас. Вроде судьи Тейлора, вроде мистера Гека Тейта. Перестань жевать, Джим Финч, и пошевели мозгами. Тебе не приходило в голову, что судья Тейлор не случайно назначил Аттикуса защитником Тома? Что у судьи Тейлора могли быть на это свои причины?

Вот это мысль! Если обвиняемый не мог нанять адвоката, защитником обычно назначали Максвелла Грина, самого молодого из мейкомбских адвокатов, так как ему надо было набираться опыта. И, значит, Тома Робинсона должен был бы защищать Максвелл Грин.

— Подумай-ка об этом, — продолжала мисс Моды. — Это ведь не случайно. Вчера вечером я сидела на крыльце и ждала. Я всё ждала вас из суда, ждала и думала: Аттикус Финч не выиграет дело, не может выиграть, но он единственный в наших краях способен заставить присяжных так долго ломать голову над таким делом. И я говорила себе: что ж, мы идём вперёд... Это один только шаг, крохотный, младенческий, а всё-таки шаг

вперёд.

— Это всё разговоры... Но неужели наши просвещённые судьи и адвокаты не могут справиться с дикарями присяжными? — пробормотал Джим. — Вот я вырасту...

— Об этом уж ты потолкуй с отцом, — сказала мисс Моды.

Мы спустились по прохладным новым ступенькам, вышли на солнце и увидели, что мистер Эйвери и мисс Стивени Кроуфорд всё ещё стоят и разговаривают. Они прошли по тротуару и стояли теперь у дома мисс Стивени. И к ним шла мисс Рейчел.

— А я когда вырасту, наверно, стану клоуном, — сказал Дилл.

Мы с Джимом от удивления стали как вкопанные.

— Да, клоуном, — сказал он. — Ничего у меня с людьми не получается, я только и умею, что смеяться над ними, вот я и пойду в цирк и буду смеяться до упаду.

— Ты всё перепутал, Дилл, — сказал Джим. — Сами клоуны грустные, а вот над ними все смеются.

— Ну и пусть, а я буду другой клоун. Буду стоять посреди арены и смеяться всем в лицо. Вон погляди туда, — мотнул он головой. — Это разве люди? Им только на помеле летать. Тётя Рейчел уже и летает.

Мисс Стивени и мисс Рейчел нетерпеливо махали нам — верно сказал Дилл: настоящие ведьмы.

— О, чтоб вас! — выдохнул Джим. — А не подойти нельзя, невежливо.

Что-то случилось. Мистер Эйвери был весь красный — он так расчихался, чуть не сбил нас с ног, когда мы подошли. Мисс Стивени прямо вся тряслась, мисс Рейчел схватила Дилла за плечо.

— Иди сейчас же во двор и носа не высовывай. На улице опасно, — сказала она.

— А почему? — спросила я.

— Вы что, не слыхали? Весь город только об этом и говорит...

Тут на пороге появилась тётя Александра и позвала нас, но было уже поздно. Мисс Стивени, захлёбываясь, сообщила нам, что сегодня утром мистер Боб Юэл остановил Аттикуса на углу у почты, плюнул ему в лицо и сказал — дай только срок, он ещё с этим адвокатишкой расправится.

— Я бы предпочёл, чтобы Боб Юэл не жевал табак, — только и сказал об этом Аттикус.

По словам мисс Стивени Кроуфорд, дело было так: Аттикус выходил с почты, к нему подошёл мистер Юэл, обругал его, плюнул ему в лицо и погрозился убить. Мисс Стивени сказала (а когда она рассказывала это второй раз, уже выходило, будто она всё видела своими глазами по дороге из бакалейной лавки) — Аттикус и бровью не повёл, только вынул платок, утёрся и стоял и слушал, как мистер Юэл честил его, да такими словами, что она их нипочём не повторит, скорей язык себе откусит. Мистер Юэл ну и разошёлся, а тут ещё Аттикус никак не отвечал на его брань, он и говорит: что, говорит, черномазым пятки лизать не гордый, а драться гордый? Нет, сказал Аттикус, просто старьёй, сунул руки в карманы и пошёл прочь, рассказывала мисс Стивени. Уж в этом Аттикусу Финчу не откажешь — он иной раз так срежет...

Но мы с Джимом выслушали всё это без всякого удовольствия.

— А всё-таки прежде он был самый меткий стрелок во всём округе, — сказала я. — Он мог...

— Не станет он ходить с ружьём, Глазастик, — сказал Джим. — Да у него и ружья-то нет... Ты же знаешь, он и у тюрьмы тогда без ружья сторожил. Он мне сказал: ходить с оружием — значит только набиваться, чтоб в тебя стреляли.

— Сейчас другое дело, — сказала я. — Давай попросим его, пускай у кого-нибудь одолжит ружьё.

Мы попросили, и Аттикус сказал — чепуха.

Дилл сказал — нам надо взывать к доброму сердцу Аттикуса: ведь если мистер Юэл его убьёт, мы помрём с голоду и ещё достанемся тёте Александре, и ведь, ясное дело, как только Аттикуса схоронят, она сразу уволит Кэлпурнию. Джим сказал — может, на Аттикуса подействует, если я стану реветь и кататься по полу, ведь я ещё маленькая, да к тому же девочка. Это тоже не помогло.

Но потом Аттикус увидел, что мы уныло бродим вокруг дома, не едим, забросили все игры, и понял, до чего мы напуганы. Как-то вечером он принёс Джиму новый футбольный журнал, Джим нехотя перелистал его и бросил. Тогда Аттикус спросил:

— Что тебя тревожит, сын?

— Мистер Юэл, — напрямик сказал Джим.

— А что случилось?

— Ничего. Мы за тебя боимся, надо, чтоб ты с ним что-то сделал.

Аттикус невесело усмехнулся.

— Что же с ним сделать? Заставить его подписать пакт о ненападении?

— Когда человек говорит, что он с тобой расправится, это не шутка.

Аттикус сказал:

— Он и не шутил тогда. Попробуй-ка на минуту влезть в шкуру Боба Юэла, Джим. На суде я окончательно доказал, что ни одному его слову верить нельзя, если ему до этого хоть кто-нибудь верил. Ему необходимо было на ком-нибудь это выместить, такие люди иначе не могут. Что ж, если оттого, что он плюнул мне в лицо и пригрозил убить, на долю Мэйеллы досталось меньше побоев, пусть так. Должен же он был на ком-то сорвать зло, так уж лучше на мне, чем на своих ребятах. Понимаешь?

Джим кивнул.

— Нам нечего бояться Боба Юэла, он уже отвёл душу, — сказал Аттикус.

И тут вошла тётя Александра.

— Я в этом совсем не так уверена, Аттикус, — сказала она. — Такой на всё пойдёт, лишь бы отомстить за обиду. Ты же знаешь этих людей.

— Но что мне такого может сделать Юэл, сестра?

— Какую-нибудь гадость исподтишка, — сказала тётя Александра. — Уж не сомневайся.

— В Мейкомбе мало что можно сделать исподтишка, — возразил Аттикус.

Больше мы не боялись. Лето кончалось, и мы не теряли времени даром. Аттикус объяснил нам, что Тому Робинсону ничто не грозит, пока его дело не рассмотрят в следующей инстанции, и что его скорее всего освободят или в крайнем случае назначат новое разбирательство. А пока он на тюремной ферме, в Честерском округе, в семидесяти милях от Мейкомба. Я спросила, позволяют ли жене и детям навещать Тома, но Аттикус сказал — не позволяют.

— А что с ним будет, если апелляция не поможет? — спросила я как-то вечером.

— Тогда его посадят на электрический стул, — сказал Аттикус, — если только губернатор не смягчит приговор. Подожди волноваться, Глазастик. Мы вполне можем выиграть это дело.

Джим растянулся на диване и читал журнал «Популярная механика». Тут он поднял голову и сказал:

— Это всё несправедливо. Даже если он виноват, он никого не убил. Он никого не лишил жизни.

— Ты же знаешь, по законам штата Алабама за изнасилование полагается смертная казнь, — сказал Аттикус.

— Да, сэр, но всё равно присяжные не должны были присуждать его к смерти... Если уж решили, что он виновен, присудили бы двадцать лет.

— К двадцати годам, — поправил Аттикус. — Том Робинсон — цветной, Джим. Ни один состав присяжных в наших краях, разбирая подобное дело, не скажет: «Мы считаем, что ты виноват, но не очень». Тут могло быть либо оправдание, либо самый суровый приговор.

Джим помотал головой.

— Нет, это всё неправильно, только я не пойму, в чём ошибка... может, изнасилование не надо считать таким тяжким преступлением...

Аттикус уронил газету на пол. Он согласен с законом об изнасиловании, вполне согласен, но весьма опасно, когда на основании одних лишь косвенных улик прокурор требует смертного приговора и присяжные его выносят.

Тут он увидел, что я тоже слушаю, и объяснил:

— Иными словами, для того чтобы человека приговорили к смерти, скажем, за убийство, требуются один или два очевидца. Надо, чтобы кто-то мог сказать: «Да, я там был, я сам видел, как он спустил курок».

— Но ведь очень многих казнили на основании косвенных улик, — возразил Джим.

— Знаю, и многие из них, вероятно, этого заслуживали... Но если нет очевидцев, всегда остаётся сомнение, пусть хотя бы тень сомнения. Закон называет это «допустимое сомнение», но, по-моему, мы не имеем права даже на тень сомнения. В противном случае всегда остаётся вероятность, пусть самая малая, что осуждённый не виновен.

— Значит, опять выходит, что во всём виноваты присяжные. Тогда надо с ними покончить, — убеждённо сказал Джим.

Аттикус очень старался сдержать улыбку, но не сумел.

— Уж слишком ты с нами крут, сын. Я думаю, можно найти лучший выход: изменить закон. Так изменить, чтобы для самых тяжких преступлений определять наказание мог только судья.

— Тогда поезжай в Монтгомери, пускай изменят закон.

— Ты даже не подозреваешь, как это трудно. Мне не дожить до того времени, когда изменят закон, а ты, если и доживёшь, будешь уже стариком.

Джиму это не понравилось.

— Нет, сэр, с присяжными надо покончить. Ведь вот Том не виновен, а они сказали — виновен.

— Будь на месте этих присяжных ты и ещё одиннадцать таких, как ты, Том уже вышел бы на свободу, — сказал Аттикус. — Жизнь не успела ещё отучить тебя рассуждать ясно и здраво. Двенадцать присяжных, которые осудили Тома, в повседневной жизни люди вполне разумные, но ты сам видел: что-то помешало им рассуждать здраво. То же самое ты видел и в ту ночь перед тюрьмой. Они ушли тогда не потому, что в них верх взял разум, но потому, что они натолкнулись на нас. Есть в нашей жизни что-то такое, от чего люди теряют облик человеческий: они бы и хотели быть справедливыми, да не могут. Когда у нас в суде белый выступает против чёрного, выигрывает всегда белый. Такова неприкрашенная правда жизни.

— Всё равно несправедливо, — упрямо сказал Джим. Кулаком он постукивал себя по коленке. — При таких уликах нельзя осудить человека, нельзя — и всё.

— По-твоему, нельзя, и ты бы не осудил, а вот они осудили. И чем старше ты будешь становиться, тем больше такого увидишь. В суде, более чем где бы то ни было, с человеком должны поступать по справедливости, какого бы цвета ни была его кожа, но люди ухитряются приносить с собой на скамью присяжных все свои предрассудки. Становясь старше, ты всё больше будешь замечать, как белые каждый день на каждом шагу обманывают чёрных. Но вот что я тебе скажу, сын, и ты это запомни: если белый так поступает с чёрным, кто бы ни был этот белый, как бы он ни был богат, из какой бы хорошей семьи ни вышел, всё равно он — подонок.

Аттикус говорил совсем тихо, но это последнее слово нас оглушило. Я подняла голову — глаза его горели.

— Белый негодяй, который пользуется невежеством негра, — что может быть гнуснее? Не надо обманывать себя — счёт всё растёт, и рано или поздно расплаты, не миновать. Надеюсь, вам не придётся это пережить.

Джим почесал в затылке. И вдруг широко раскрыл глаза.

— Аттикус, — сказал он, — почему люди вроде нас и мисс Моды никогда не бывают присяжными? Наши городские никогда не бывают, а всё только какие-то из самой глуши.

Аттикус откинулся в своей качалке. Почему-то он был очень доволен Джимом.

— Я всё ждал, когда ты до этого додумаешься, — сказал он. — На то есть много причин. Прежде всего мисс Моды не может быть присяжной, потому что она женщина...

Я возмутилась.

— Разве в Алабаме женщины не могут?...

— Вот именно. Как я подозреваю, это для того, чтобы оберечь нежных дам от грязных дел, таких вот, как дело Тома. И потом, — Аттикус усмехнулся, — боюсь, мы бы ни одно разбирательство не довели до конца: дамы всё время задавали бы вопросы.

Мы с Джимом расхохотались. Мисс Моды присяжная — вот бы поглядеть! А миссис Дюбоз в своём кресле на колёсах: «Прекрати этот стук, Джон Тейлор, я хочу кой о чём спросить этого человека!» Пожалуй, наши предки рассудили мудро.

— Ну, а что до людей вроде нас, нам тоже придётся платить по тому счёту, — продолжал Аттикус. — Мы получаем таких присяжных, каких заслужили. Во-первых, наши доблестные мейкомбцы слишком равнодушны. Во-вторых, они боятся. Потом они...

— Почему боятся? — спросил Джим.

— Ну... допустим, мистеру Линку Дизу придётся решать, сколько должна мисс Рейчел уплатить мисс Моды, если она, скажем, сбила её машиной. Линку ведь не захочется терять ни одну из своих покупательниц, правда? Вот он и говорит судье Тейлору, что не может заседать в суде, ему не на кого оставить магазин. И судья Тейлор его освобождает. Иной раз и сердится, а всё-таки освобождает.

— А почему мистер Диз думает, что мисс Моды или мисс Рейчел перестанут у него покупать? — спросила я.

— Мисс Рейчел перестанет, а мисс Моды нет, — сказал Джим. — Аттикус, но ведь это тайна, кто из присяжных за что голосует.

Отец усмехнулся.

— Тебе предстоит ещё многое уразуметь, сын. Да, предполагается, что это тайна. Став присяжным, человек должен принимать решения и высказывать их. Люди этого не любят. Это ведь не всегда приятно.

— Насчёт Тома присяжные, уж конечно, решали наспех, — пробормотал Джим.

Аттикус взялся за кармашек для часов.

— Нет, не наспех, — сказал он почти про себя. — Понимаешь, именно потому я и подумал: может быть, это всё-таки начало. Присяжные совещались не один час. Приговор, вероятно, всё равно был предрешён, но обычно такие дела отнимают всего несколько минут. А на этот раз... — Аттикус замолчал на полуслове и посмотрел на нас. — Вам, наверно, интересно будет узнать, что был там один присяжный, которого насилу уломали... вначале он требовал безоговорочного оправдания.

— Кто же это? — удивился Джим.

Глаза Аттикуса весело блеснули.

— Не надо бы говорить, но я вам всё-таки скажу. Это один ваш приятель из Старого Сарэма.

— Из Канингемов? — заорал Джим. — Из... я их никого не видел... Нет, ты шутишь! — Он исподлобья смотрел на Аттикуса.

— Это их родич. Я как почуял — и не отвёл его. Прямо как почуял. Мог бы отвести, но не отвёл.

— Одуреть можно! — изумился Джим. — Только что они его чуть не убили, а через минуту чуть не выпустили... Нет, ввек мне не понять, что это за народ за такой.

Аттикус сказал — просто надо их узнать. Он сказал — с тех самых пор, как Канингемы переселились в Новый Свет, они ни у кого ничего не брали и не перенимали. И ещё: уж если заслужил их уважение, они за тебя в огонь и в воду. А ему кажется, нет, вернее сказать, мерещится, сказал Аттикус, что в ту ночь, когда они повернули от тюрьмы, они преисполнились уважения к Финчам. И потом, сказал он, переубедить Канингема может только чудо, да и то в паре с другим Канингемом.

— Будь у нас в этом составе два Канингема, присяжные так никогда и не вынесли бы приговора.

— И ты не отвёл из присяжных человека, который накануне хотел тебя убить? — медленно сказал Джим. — Как же ты мог пойти на такой риск, Аттикус, как ты мог?

— Если разобраться, риск был не так уж велик. Какая разница между двумя людьми, если оба они готовы засудить обвиняемого? А вот между человеком, который готов осудить, и человеком, несколько сбитым с толку, разница всё-таки есть, согласен? Из всего списка только о нём одном я не знал наверняка, как он проголосует.

— А кем он приходится мистеру Уолтеру Канингему? — спросила я.

Аттикус встал, потянулся и зевнул. Даже нам ещё не время было спать, но ему хотелось почитать газету. Он поднял её с полу, сложил и легонько хлопнул меня по макушке.

— Сейчас прикинем, — прогудел он. — Ага, вот. Дважды двоюродный брат.

— Это как же?

— Две сестры вышли за двух братьев. Больше ничего не скажу, соображай сама.

Я думала-думала и решила: если б я вышла за Джима, а у Дилла была бы сестра и он на ней женился, наши дети были бы дважды двоюродные.

— Вот это да, Джим, — сказала я, когда Аттикус ушёл. — Ну и чудные

эти Канингемы. Тётя, вы слышали?

Тётя Александра крючком вязала коврик и не смотрела на нас, но прислушивалась. Она сидела в своём кресле, рабочая корзинка стояла рядом на полу, коврик расправлен на коленях. Я никогда не могла понять, почему настоящие леди вяжут шерстяные коврики в самую жару.

— Да, слышала, — сказала она.

Мне вспомнилась та давняя злополучная история, когда я кинулась на выручку Уолтеру Канингему-младшему. Как хорошо, что я тогда это сделала.

— Вот пойдём в школу, и я позову Уолтера к нам обедать, — объявила я, совсем забыв, что поклялась себе при первой же встрече его отлупить. — А то можно позвать его к нам и после уроков. А потом Аттикус отвезёт его в Старый Сарэм. А когда-нибудь он, может, и переночует у нас, ладно, Джим?

— Там видно будет, — сказала тётя Александра.

Эти слова у неё всегда означали угрозу, а вовсе не обещание. Я удивилась:

— А почему нет, тётя? Они хорошие люди.

Она поглядела на меня поверх своих рабочих очков.

— Я несколько не сомневаюсь, что они хорошие люди, Джин Луиза. Но они не нашего круга.

— Тётя хочет сказать, они неотёсанные, Глазастик, — объяснил Джим.

— А что это — неотёсанный?

— Ну, грубый, любит музыку погромче и всякое такое.

— Подумаешь, я тоже люблю...

— Не говори глупостей, Джин Луиза, — сказала тётя Александра. — Суть в том, что, если даже отмыть Уолтера Канингема до блеска, надеть на него башмаки и новый костюм, он всё равно не будет таким, как Джим. К тому же все Канингемы чересчур привержены к спиртному. Женщины из рода Финчей не интересуются подобными людьми.

— Тё-о-тя, — протянул Джим, — ей же ещё и девяти нет.

— Всё равно, пусть знает.

Спорить с тётей Александрой было бесполезно. Я сразу вспомнила, как она в последний раз стала мне поперёк дороги. Почему — я так и не поняла. Я тогда мечтала побывать дома у Кэлпурнии — мне было до смерти интересно, я хотела быть её гостьей, поглядеть, как она живёт, увидеть её друзей. Но это оказалось так же невозможно, как достать луну с неба. На этот раз тактика тёти Александры была другая, но цель та же. Может, для того она и поселилась у нас, чтобы помогать нам в выборе

друзей?

— Ну раз они хорошие люди, почему мне нельзя хорошо обходиться с Уолтером?

— Я не предлагала тебе обходиться с ним плохо. Будь с ним учтивой и приветливой, со всеми надо быть любезной, милочка. Но совершенно незачем приглашать его в дом.

— Тётя, а если б он был нам родня?

— Но он нам не родня, а если бы и так, всё равно я сказала бы тебе то же самое.

— Тётя, — вмешался Джим, — Аттикус говорит, друзей выбираешь, а родных-то не выберешь, и признавай их, не признавай — всё равно они тебе родня, и не признавать их просто глупо.

— Узнаю вашего отца, — сказала тётя Александра, — и всё-таки, повторяю, Джин Луизе незачем приглашать Уолтера Канингема в этот дом. Будь он ей хоть дважды и трижды двоюродный, всё равно его незачем принимать у себя в доме, разве только он придёт к Аттикусу по делу. И хватит об этом.

Запрет окончательный и бесповоротный, но всё-таки теперь ей придётся дать объяснение.

— Тётя, а я хочу играть с Уолтером, почему нельзя?

Тётя Александра сняла очки и посмотрела на меня в упор.

— А вот почему, — сказала она. — Потому, что он — по-до-нок. Вот почему я не позволяю тебе с ним играть. Я не потерплю, чтобы ты водила с ним компанию, и перенимала его привычки, и училась у него бог весть чему. Твоему отцу и без того хватает с тобой хлопот.

Уж не знаю, что бы я сделала, если бы не Джим. Он удержал меня за плечи, обхватил одной рукой и повёл к себе. Аттикус услышал, как я реву от злости, и заглянул в дверь.

— Это ничего, сэр, — сердито сказал Джим, — это просто так.

Аттикус скрылся.

— На, держи, Глазастик, — Джим порылся в кармане и вытащил пакетик жевательной резинки. Не сразу я её разжевала и почувствовала вкус.

Джим стал наводить порядок у себя на столике. Волосы у него надо лбом и на затылке торчали торчком. Наверно, они никогда не улягутся, как у настоящего мужчины, разве что он их сбреет, тогда, может, новые отрастут аккуратно, как полагается. Брови у него стали гуще, а сам он сделался какой-то тонкий и всё тянулся и тянулся кверху.

Он оглянулся и, наверно, подумал, что я опять зареву, потому что

сказал:

— Сейчас я тебе кое-что покажу. Только никому не говори.

Я спросила: а что? Он смущённо улыбнулся и расстегнул рубашку.

— Ну и что?

— Ну разве не видишь?

— Да нет.

— Да волосы же.

— Где?

— Да вон же!

Он только что меня утешал, и я сказала — какая прелесть, но ничего не увидела.

— Правда, очень мило, Джим.

— И под мышками тоже, — сказал он. — На будущий год уже можно будет играть в футбол. Глазастик, ты не злишь на тётю.

Кажется, только вчера он говорил мне, чтобы я сама её не злила.

— Понимаешь, она не привыкла к девочкам. По крайней мере к таким, как ты. Она хочет сделать из тебя леди. Может, ты бы занялась шитьём или чем-нибудь таким?

— Чёрта с два! Просто она меня терпеть не может. Ну и пускай. Это я из-за Уолтера Канингема взбесилась — зачем она его обозвала подонком, а вовсе не потому, что она сказала, будто Аттикусу со мной и так много хлопот. Мы с ним один раз всё это выяснили. Я спросила, правда, ему со мной много хлопот? А он сказал, не так уж много, пускай я не выдумываю, что ему со мной трудно. Нет, это из-за Уолтера... Джим, он никакой не подонок. Он не то что Юэл.

Джим скинул башмаки и задрал ноги на постель. Сунул за спину подушку и зажёл лампочку над изголовьем.

— Знаешь что, Глазастик? Теперь я разобрался. Я всё думал, думал и вот разобрался. На свете есть четыре сорта людей. Обыкновенные — вот как мы и наши соседи; потом такие, как Канингемы, — лесные жители; потом такие, как эти Юэлы со свалки; и ещё негры.

— А как же китайцы и канадцы, которые в Болдуинском округе?

— Я говорю про Мейкомбский округ. Вся штука в том, что мы не любим Канингемов, Канингемы не любят Юэлов, а Юэлы просто терпеть не могут цветных.

Я сказала — а почему же тогда эти присяжные, которые все были вроде Канингемов, не оправдали Тома назло Юэлам?

Джим от меня отмахнулся, как от маленькой.

— Знаешь, я сам видел, когда по радио музыка, Аттикус притопывает

ногой, — сказал Джим, — и он ужасно любит подбирать поскребышки со сковороды...

— Значит, мы вроде Канингемов, — сказала я. — Тогда почему же тётя...

— Нет, погоди, вроде-то вроде, да не совсем. Аттикус один раз сказал, тётя потому так похваляется семьёй, что у нас всего и наследства — хорошее происхождение, а за душой ни гроша.

— Всё-таки я не пойму, Джим... Аттикус мне один раз сказал — все эти разговоры про старинный род одна глупость, все семьи одинаково старинные. А я спросила — и у цветных и у англичан? И он сказал — конечно.

— Происхождение — это не то, что старинный род, — сказал Джим. — Я думаю, тут всё дело в том, давно ли твоя семья умеет читать и писать. Глазастик, я над этим знаешь сколько голову ломал, и, по-моему, в этом вся суть. Давным-давно, когда Финчи ещё жили в Египте, кто-нибудь из них, наверно, выучил два-три иероглифа, а потом научил своего сына. — Джим рассмеялся. — Представляешь, тётя гордится тем, что её прапрадедушка умел читать и писать... Прямо смех с этими женщинами, чем гордятся!

— Ну и очень хорошо, что умел, а то кто бы научил Аттикуса и всех предков, а если б Аттикус не умел читать, мы б с тобой пропали. Нет, Джим, по-моему, хорошее происхождение это что-то не то.

— Тогда чем же, по-твоему, мы всё-таки отличаемся от Канингемов? Мистер Уолтер и подписывается-то с трудом, я сам видел. Просто мы читаем и пишем дольше, чем они.

— Но ведь никто не рождается грамотный, всем надо учиться с самого начала. Уолтер знаешь какой способный, он только иногда отстаёт, потому что пропускает уроки, ведь ему надо помогать отцу. А так он человек как человек. Нет, Джим, по-моему, все люди одинаковые. Просто люди.

Джим отвернулся и стукнул кулаком по подушке. А когда опять обернулся, он был уже чернее тучи. Опять на него нашло, я знала — когда он такой, надо быть поосторожнее. Брови сдвинуты, губы в ниточку. Он долго молчал.

— В твои годы я тоже так думал, — сказал он наконец. — Если все люди одинаковые, почему ж они тогда не могут ужиться друг с другом? Если все одинаковые, почему они так задаются и так презирают друг друга? Знаешь, Глазастик, я, кажется, начинаю кое-что понимать. Кажется, я начинаю понимать, почему Страшила Рэдди весь век сидит взаперти... Просто ему не хочется на люди.

Кэлпурния уж так накрахмалила свой фартук, что он на ней колом стоял. Руки у неё были заняты подносом с шарлоткой. Спиной она осторожно открыла дверь. Просто чудо, как легко и ловко она управлялась с тяжёлыми подносами, полными всяких лакомств. Тёте Александре это тоже, наверно, очень нравилось, потому что она позволила сегодня Кэлпурнии подавать на стол.

Сентябрь уже на носу. Завтра Дилл уезжает в Меридиан, а сегодня они с Джимом пошли к Заводи. Джим с негодованием обнаружил, что до сих пор никто не потрудился научить Дилла плавать, а это, на его взгляд, всё равно что не уметь ходить. Уже второй день они после обеда уходили к ручью, а меня с собой не брали, сказали — голышом им удобнее, и я коротала время то с Кэлпурнией, то с мисс Моды.

Сегодня наш дом был во власти тёти Александры и миссионерского общества. К нам в кухню доносился голос миссис Грейс Мерриуэзер; она рассказывала про ужасную жизнь мрунов — так мне по крайней мере слышалось. Они выставляют женщин в отдельные хижины, когда приходит их срок, уж не знаю, что за срок такой; они лишены чувства семьи — это, конечно, для тёти большое огорчение; и, когда детям исполняется тринадцать лет, они их подвергают чудовищным испытаниям; они все в парше и уховёртках; они жуют хинную кору, выплёвывают жвачку в общий котёл, варят, а потом упиваются.

Тут дамы решили сделать перерыв и подкрепиться.

Я не знала, идти мне в столовую или не идти. Тётя Александра велела мне прийти к чаю; пока обсуждаются дела, я могу с ними не сидеть, сказала она, мне это будет неинтересно. На мне было розовое воскресное платье, туфли и нижняя юбка, и, если я что-нибудь на себя пролью, Кэлпурнии придётся к завтрашнему дню всё это стирать. А у неё и так сегодня много хлопот. Так что лучше уж я не пойду.

— Помочь тебе, Кэл? — Мне очень хотелось быть полезной.

Кэлпурния приостановилась в дверях.

— Сиди тут в уголке тихо, как мышка, — сказала она. — Вот я вернусь, и ты поможешь мне ставить всё на подносы.

Она отворила дверь, и деловитое жужжанье стало громче, доносились голоса: ах, какая шарлотка, право, Александра, я такой не видывала... Что за прелесть... У меня никогда так не подрумянивается, ну, никогда... И

таргалетки с ежевикой — вы подумайте... Кэлпурния?... вы только подумайте... Вам уже говорили, что жена священника опять... Ну да, конечно, а её младшенький даже ещё и не ходит...

Разговоры смолкли — значит, там принялись за угощение. Вернулась Кэлпурния и поставила на поднос массивный серебряный кофейник, оставшийся от нашей мамы.

— Такой кофейник нынче в диковинку, — сказала Кэлпурния, — таких больше не делают.

— Можно, я его понесу?

— Только осторожнее, смотри не урони. Поставь его в конце стола возле мисс Александры. Там, где чашки с блюдцами. Она будет разливать.

Я попробовала тоже отворить дверь задом, но дверь ни капельки не поддавалась. Кэлпурния ухмыльнулась и отворила мне дверь.

— Осторожнее, он тяжёлый. Не гляди на него, тогда не разольёшь.

Я прибыла благополучно; тётя Александра наградила меня ослепительной улыбкой.

— Посиди с нами, Джин Луиза, — сказала она. Она не сдавалась, она хотела непременно сделать из меня настоящую леди.

Так уж повелось у нас в Мейкомбе — глава каждого дамского кружка приглашает соседок на чашку чая, всё равно, пресвитерианки они, баптистки или ещё кто — вот почему здесь были и мисс Рейчел (совсем трезвая, ни в одном глазу!), и мисс Моды, и мисс Стивени Кроуфорд. Мне стало как-то неудобно, и я села около мисс Моды и подумала — зачем это наши леди надевают шляпы, просто чтобы перейти через дорогу? Настоящие леди, когда их много сразу, всегда меня немножко пугают, и мне очень хочется сбежать, но тётя Александра говорит — это потому, что я избалованная.

Все они были в неярких ситцевых платьях и казались такими свеженькими, будто никакой жары не было и в помине, почти все сильно напудренные, но без румян; и у всех одинаковая губная помада — натуральная. Лак на ногтях тоже натуральный, и только кое у кого из молодых — ярко-розовый. И пахли все восхитительно. Я придумала наконец, куда девать руки: покрепче ухватилась за ручки кресла и, пока со мной никто не заговорил, сидела тихо и молчала.

— Какая ты сегодня нарядная, мисс Джин Луиза! — сказала мисс Моды и улыбнулась, блеснув золотыми зубами. — А где же сегодня твои штаны?

— Под платьем.

Я вовсе не хотела шутить, но все засмеялись. Я тут же поняла свою

оплошность, даже щекам стало горячо, но мисс Моды смотрела на меня серьёзно. Она никогда не смеялась надо мной, если я не шутила.

Потом вдруг стало тихо, и мисс Стивени Кроуфорд спросила меня через всю комнату:

— А кем ты будешь, когда вырастешь, Джин Луиза? Адвокатом?

— Не знаю, мэм, я ещё не думала... — благодарно сказала я. Как это хорошо, что она заговорила о другом. И я поспешно начала выбирать, кем же я буду. Сестрой милосердия? Лётчиком? — Знаете...

— Да ты не смущайся, говори прямо! Я думала, ты хочешь стать адвокатом, ты ведь уже бываешь в суде.

Дамы опять засмеялись.

— Ох, уж эта Стивени! — сказал кто-то.

И мисс Стивени, очень довольная успехом, продолжала:

— Разве тебе не хочется стать адвокатом?

Мисс Моды тихонько тронула мою руку, и я ответила довольно кротко:

— Нет, мэм, просто я буду леди.

Мисс Стивени поглядела на меня подозрительно, решила, что я не хотела ей дерзить, и сказала только:

— Ну, для этого надо прежде всего почаще надевать платье.

Мисс Моды сжала мою руку, и я промолчала. Рука у неё была тёплая, и мне стало спокойно.

Слева от меня сидела миссис Грейс Мерриуэзер, надо было быть вежливой и занять её разговором. Под её влиянием мистер Мерриуэзер обратился в ревностного методиста и только и делал, что распевал псалмы. Весь Мейкомб сходился на том, что это миссис Мерриуэзер сделала из него человека и добропорядочного члена общества. Ведь миссис Мерриуэзер самая благочестивая женщина в городе, это всякий знает. О чём бы с ней поговорить?

— Что вы сегодня обсуждали? — спросила я наконец.

— Несчастных мрунов, деточка, — сказала она, и пошла, и пошла. Больше вопросов не понадобилось.

Когда миссис Мерриуэзер рассказывала о каких-нибудь несчастных, её большие карие глаза сразу наполнялись слезами.

— Они живут там у себя в джунглях, и никто о них не заботится, кроме Граймса Эверетта, — сказала она. — И знаешь, поблизости ни одного белого, только этот святой человек, Граймс Эверетт.

Миссис Мерриуэзер разливалась соловьём, каждое слово она произносила с необыкновенным чувством.

— Нищета... невежество... безнравственность — никто, кроме

мистера Граймса Эверетта, не знает, как они живут. Когда наш приход послал меня в загородный дом миссии, мистер Граймс Эверетт сказал мне...

— Разве он здесь, мэм? Я думала...

— Он приезжал в отпуск. Граймс Эверетт сказал мне: миссис Мерриуэзер, вы не представляете, не представляете себе, с чем мы там вынуждены бороться. Вот как он сказал.

— Да, мэм.

— И я ему сказала: мистер Эверетт, все мы, прихожанки методистской епископальной церкви в городе Мейкомбе, штат Алабама, единодушно вас поддерживаем. Вот как я ему сказала. И знаешь, сказала я так и тут же в сердце своём дала клятву. Я сказала себе: как только вернусь домой, я всем расскажу о мрунах, всем поведаю о миссии Граймса Эверетта. И вот видишь, я держу слово.

— Да, мэм.

Миссис Мерриуэзер покачала головой, и её чёрные кудряшки запрыгали.

— Джин Луиза, — сказала она, — тебе посчастливилось. Ты живёшь в христианской семье, в христианском городе, среди христиан. А в том краю, где трудится Граймс Эверетт, царят грех и убожество.

— Да, мэм.

— Грех и убожество... Что вы говорите, Гертруда? — сказала миссис Мерриуэзер совсем другим голосом и повернулась к своей соседке слева. — А, да, да! Что ж, я всегда говорю: простим и забудем, простим и забудем. Долг церкви помочь ей отныне жить, как подобает христианке, и в истинно христианском духе воспитывать детей. Кому-нибудь из наших мужчин следует пойти туда и сказать их священнику, чтобы он её подбодрил.

— Прошу прощения, миссис Мерриуэзер, — перебила я, — это вы про Мэйеллу Юэл?

— Мэй... Нет, деточка! Про жену этого чёрного. Тома... Тома...

— Робинсона, мэм.

Миссис Мерриуэзер опять повернулась к своей соседке.

— В одно я глубоко верю, Гертруда, — продолжала она, — только, к сожалению, не все со мной согласны. Если мы дадим им понять, что мы их прощаем, что всё забыто, это пройдет само собой.

— Э-э... миссис Мерриуэзер, — ещё раз перебила я, — что пройдет само собой?

Она опять повернулась ко мне. Как многие бездетные люди, она с детьми всегда разговаривала каким-то не своим голосом.

— Ничего, Джин Луиза, — медленно и величаво сказала она. — Просто кухарки и работники на плантациях недовольны, но они уже успокаиваются, после этого суда они целый день ворчали.

И она повернулась к миссис Фарроу.

— Вот что я вам скажу, Гертруда, нет на свете ничего противнее надутой чёрной физиономии. Надуют губы, прямо смотреть тошно. Зайдёшь в кухню — и всё настроение портится. Знаете, что я сказала своей Софи, Гертруда? Софи, сказала я, ты сегодня плохая христианка. Иисус Христос никогда не ворчал и не жаловался... И знаете, Гертруда, ей это пошло на пользу. То она всё смотрела в пол, а тут подняла глаза и говорит: «Да, мэм, миссис Мерриуэзер, Иисус никогда не ворчал». Никогда не надо упускать случая направить грешную душу на стезю господню — вот что я вам скажу, Гертруда.

Мне вспомнился старинный маленький орган в часовне на «Пристани Финча». Я тогда была совсем маленькая, и, если весь день вела себя хорошо, Аттикус позволял мне нагнетать воздух в мехи, а сам в это время одним пальцем подбирал какую-нибудь песенку. Последняя нота звучала до тех пор, пока в органе хватало воздуха. У миссис Мерриуэзер, видно, кончился весь воздух, и, пока она запасалась новым, миссис Фарроу приготовилась заговорить.

У миссис Фарроу была прекрасная фигура, бесцветные глаза и маленькие ножки. И седая голова вся в тугих колечках — видно, только-только от парикмахера. После миссис Мерриуэзер она считалась самой благочестивой женщиной в Мейкомбе. У неё была смешная привычка — она как-то присвистывала, перед тем как заговорить.

— С-с-с... То же самое я на днях говорила брату Хатсону. С-с-с... Брат Хатсон, — говорю я, — мы, кажется ведём безнадежную борьбу, безнадежную. С-с-с... а их это ничуть не трогает. Мы наставляем их до изнеможения, мы выбиваемся из сил, пытаюсь обратить их на путь истинный, и всё равно ни одна порядочная женщина в наши дни не может спокойно спать в своей постели. И он мне сказал: «Уж не знаю, миссис Фарроу, к чему мы идём». С-с-с... Совершенно справедливо, вы совершенно правы, — говорю.

Миссис Мерриуэзер понимающе кивнула. Её голос перекрыл позвякивание чашек и деликатное чавканье гостей, жующих сласти. Она сказала:

— Говорю вам, Гертруда, есть в нашем городе неплохие люди, которые глубоко заблуждаются. Хорошие люди, но они глубоко заблуждаются. А ведь они думают, что поступают правильно. Я не намерена называть имена,

но кое-кто в нашем городе совсем недавно воображал, будто поступает правильно, а на самом деле только их взбудоражил. Только того и добился. Может быть, тогда казалось, что это правильно, я уж, конечно, не знаю, я в этом не так уж разбираюсь, но когда эти все ходят надутые... недовольные... Если б моя Софи и на другой день пришла такая, мне пришлось бы её уволить, вот что я вам скажу. Этой чёрной дурёхе и невдомёк, что сейчас депрессия, а ей без моего доллара с четвертью в неделю не прожить, я её только потому и держу.

— Его кусок вам поперёк горла не становится, нет?

Это сказала мисс Моды. И в углах рта у неё появились две сердитые складки. Она всё время молча сидела рядом со мной и держала на коленке чашку кофе. Я давно уже не прислушивалась к разговору, с тех пор, как перестали говорить про жену Тома Робинсона, гораздо интересней было вспоминать «Пристань Финча» и реку. Тётя Александра перепутала: пока они говорили о делах, было страшно и увлекательно, а за кофе я чуть не умерла со скуки.

— Право, я не понимаю, что вы имеете в виду, Моды, — сказала миссис Мерриуэзер.

— Прекрасно понимаете, — отрезала мисс Моды.

И больше не прибавила ни слова. Когда мисс Моды сердилась, она говорила мало, но так, что пробирала дрожь. Сейчас её что-то очень рассердило, и её серые глаза стали такие же ледяные, как и голос. Миссис Мерриуэзер покраснела, глянула на меня и отвела глаза. Её соседку, миссис Фарроу, мне было не видно.

Тётя Александра поднялась из-за стола, быстро подошла к ним с каким-то угощением и оживлённо заговорила с миссис Мерриуэзер и с миссис Гейтс. В разговор вступила миссис Перкинс, и тётя Александра стусевалась. Она с благодарностью посмотрела на мисс Моды, и я подумала — странный народ женщины. Тётя Александра никогда особенно не дружила с мисс Моды, а тут вдруг она её за что-то молча благодарит. А за что — непонятно. Хорошо хоть, тётя Александра может быть благодарной за помощь, значит, её всё-таки можно пронять. Скоро и я войду в этот мир, где благоухающие леди, кажется, только и делают, что лениво покачиваются в качалках, медленно обмахиваются веерами и пьют прохладительные напитки — этого не миновать.

Но с отцом и вообще среди мужчин мне куда лучше. Ведь мистер Гек Тейт ни за что не станет заманивать тебя в ловушку невинными вопросами, а потом поднимать на смех; Джим и тот не станет чересчур насмехаться, разве что ляпнешь какую-нибудь глупость. Дамы, по-моему, побаиваются

мужчин и не очень-то их одобряют. А мне мужчины нравятся. Пускай они сколько угодно ругаются, и пьют, и в азартные игры играют, и табак жуют, а всё равно в них что-то есть; пускай они плохие, а мне они всё равно нравятся... Они не...

— Лицемеры, миссис Перкинс, прирождённые лицемеры, — говорила миссис Мерриуэзер. — Мы здесь, на Юге, по крайней мере хоть в этом не грешны. А там их освободили, а за один стол с ними не садятся. Мы по крайней мере не обманываем их, не говорим: да, вы ничуть не хуже нас, но только держитесь от нас подальше. Мы просто говорим: вы живите по-своему, а мы будем жить по-своему. Эта самая миссис Рузвельт, видно, сошла с ума — надо было просто-напросто сойти с ума, чтобы поехать в Бирмингем и заседать там вместе с ними... Будь я мэром Бирмингема, я бы...

Мэром Бирмингема никто из нас не был, а вот если бы мне на денёк стать губернатором штата Алабама, я бы мигом выпустила Тома Робинсона на свободу — миссионерское общество и ахнуть бы не успело. На днях Кэлпурния говорила кухарке мисс Рейчел, что Том совсем отчаялся, и, когда я вошла в кухню, она не замолчала. Она сказала, ему тяжело в тюрьме, и тут уж Аттикус ничем ему помочь не может, и, перед тем как Тома увезли, он напоследок сказал Аттикусу: «Прощайте, мистер Финч, теперь вы ничего для меня сделать не можете, так что и не старайтесь зря». Кэлпурния сказала — Аттикус ей говорил — в тот день, как Тома взяли в тюрьму, он сразу потерял надежду. Она сказала — Аттикус его всё уговаривал, держись, мол, изо всех сил, не теряй надежду, а уж сам-то Аттикус изо всех сил старается, чтоб его освободили. Кухарка мисс Рейчел спросила, а почему Аттикус просто не сказал: тебя наверняка выпустят, — и всё, ведь это было бы для Тома большое утешение. А Кэлпурния сказала — ты так говоришь, потому что не знаешь закона. Поживи в доме у законника, первым делом узнаешь — ни на что нельзя отвечать прямо «да» или «нет». Мистер Финч не мог его обнадежить, раз ещё сам не знал наверняка.

Хлопнула парадная дверь, и я услышала в прихожей шаги Аттикуса. Который же это час? Он никогда не возвращается в такую рань. А уж в дни, когда у тёти собирается миссионерское общество, задерживается в городе до поздней ночи.

Он остановился в дверях. Шляпу он держал в руке, лицо у него было совсем белое.

— Прошу прощенья, сударыни, — сказал он. — Пожалуйста, продолжайте, я не хочу вам мешать. Александра, ты не выйдешь на минуту

в кухню? Мне ненадолго нужна Кэлпурния.

Он прошёл не через столовую, а через коридор и вошёл в кухню с чёрного хода. Мы с тётёй уже его ждали. Почти тотчас отворилась дверь столовой, и вошла мисс Моды. Кэлпурния приподнялась с табуретки.

— Кэл, — сказал Аттикус, — ты мне нужна, мы сейчас поедem к Элен Робинсон...

— Что случилось? — испуганно спросила тётя Александра, не сводя с него глаз.

— Том умер.

Тётя Александра обеими руками зажала рот.

— Его застрелили, — сказал Аттикус. — Он пытался бежать. Во время прогулки. Говорят, он вдруг как безумный кинулся к забору и стал на него карабкаться. У всех на глазах.

— Неужели его не попытались остановить? Неужели стреляли без предупреждения? — Голос тётки Александры дрожал.

— Нет, конечно, часовые кричали, чтоб он вернулся. Несколько раз стреляли в воздух, а уж потом в него. Его убили, когда он был уже на самом верху. Говорят, если б не искалеченная рука, он убежал бы — так быстро это произошло. В него попало семнадцать пуль. Вовсе незачем было столько стрелять. Идём, Кэл, ты можешь мне сказать Элен.

— Да, сэр, — пробормотала Кэл, руки её тряслись, она никак не могла развязать фартук.

Мисс Моды подошла и помогла ей.

— Это последняя капля, Аттикус, — сказала тётя Александра.

— Всё зависит от точки зрения, — сказал он. — У них там двести негров, не всё ли равно — одним больше, одним меньше. Для них он не Том, а только арестант, который пытается удрать.

Аттикус прислонился к холодильнику, сдвинул очки на лоб и потёр глаза.

— Мы вполне могли выиграть дело, — сказал он. — Я ему это говорил, но, по совести, я не мог обещать наверняка. А Том уже ничего хорошего не ждал от белых, вот он и решился на такой отчаянный шаг. Готова, Кэл?

— Да, сэр, мистер Финч.

— Тогда идём.

Тётя Александра опустилась на табуретку Кэлпурнии и закрыла лицо руками. Она не шевелилась, она сидела так тихо, я даже подумала — вдруг она сейчас упадёт в обморок. Мисс Моды дышала так, будто только что поднялась по лестнице, а в столовой весело щебетали гости.

Я думала, тётя Александра плачет, но потом она отняла руки, а глаза были сухие. Только лицо усталое. Она заговорила ровным голосом, без всякого выражения:

— Не могу сказать, чтобы я одобряла всё, что он делает, Моды, но он мой брат, и я хочу знать одно: когда же всё это кончится? — Она повысила голос. — У него сердце разрывается. Он старается не подавать виду, но у него сердце разрывается. У него было такое лицо, когда... Чего ещё им от него надо, Моды, чего им ещё надо?

— Кому, Александра? — спросила мисс Моды.

— Этому городу. Они с удовольствием предоставляют ему делать за них всё то, что не желают делать сами, потому что боятся потерять пятак! Они с удовольствием предоставляют ему делать то, что боятся делать сами, и пускай он загубит на этом своё здоровье, они...

— Тише, Александра, услышат, — сказала мисс Моды. — А ты никогда не думала об этом иначе? Понимают это у нас в Мейкомбе или не понимают, но мы ему платим самую высокую дань, какой только можно удостоить человека. Мы доверяем ему отстаивать справедливость.

— Кто «мы»? — Тётя Александра и не подозревала, что спрашивает, как её двенадцатилетний племянник.

— Горсточка людей, которые убеждены, что правда существует не только для белых; горсточка людей, которые убеждены, что суд должен быть справедливым для всех, не только для нас; горсточка людей, у которых довольно смирения, чтобы, глядя на негра, говорить себе: если б не милость божья, я мог бы очутиться на его месте. — Голос мисс Моды опять звучал решительно. — Горсточка мейкомбцев из хороших семей, вот кто!

Если бы я слушала повнимательней, я бы теперь немножко лучше поняла то, что толковал Джим о хорошем происхождении, но меня вдруг затрясло, и я никак не могла унять дрожь. Я один раз видела ту тюремную ферму, и Аттикус показал мне двор для прогулок. Он был большой, как футбольное поле.

— Перестань дрожать, — скомандовала мисс Моды, и я перестала. — Поднимайся, Александра, мы и так оставили их слишком надолго.

Тётя Александра встала и оправила платье. Вынула из-за корсажа платок и вытерла нос. Потом пригладила волосы и спросила:

— По мне что-нибудь заметно?

— Ровным счётом ничего, — сказала мисс Моды. — Ты взяла себя в руки, Джин Луиза?

— Да, мэм.

— Тогда идёмте к нашим дамам, — хмуро сказала она.

Она отворила дверь столовой, и голоса стали громче. Тётя Александра шла впереди меня, переступая порог, она высоко подняла голову.

— У вас пустая чашка, миссис Перкинс, — сказала она. — Позвольте, я налью вам ещё кофе.

— Кэлпурнию послали ненадолго по делу, Грейс, — сказала мисс Моды. — Позвольте предложить вам тарталеток с ежевикой. Слыхали вы, что сделал мой двоюродный брат, тот, который увлекается рыбной ловлей?...

Так они обходили столовую — от одной смеющейся гостьи к другой, наливали кофе, угощали сладостями, как будто только и было огорчений, что приходится пока хозяйничать без Кэлпурнии.

Вся столовая уже снова негромко жужжала.

— Да-с, миссис Перкинс, этот Граймс Эверетт — святой мученик... Надо было жениться, они и сбежали... Каждую субботу в косметическом кабинете... Как только зайдёт солнце... Он ложится в постель с... с курами, целая корзина с больными курами, Фред говорит, что с этого всё и началось. Фред говорит...

Тётя Александра посмотрела на меня через стол и улыбнулась. И кивком показала на блюдо с домашним печеньем. Я осторожно подняла блюдо и тихонько двинулась к миссис Мерриуэзер. Так любезно, как только умела, я спросила, не угодно ли ей печенья. В конце концов, если в такую минуту тётя может оставаться настоящей леди, так и я могу.

— Не надо, Глазастик. Отнеси её за порог.

— Джим, ты что, спятил?

— Сказано тебе, отнеси её за порог.

Я вздохнула, подобрала гусеницу с полу, отнесла на заднее крыльцо и вернулась на свою раскладушку. Был уже сентябрь, но ночи всё ещё стояли тёплые, и мы по-прежнему спали на задней веранде. Ещё не исчезли светляки, и всякие ночные жучки и мотыльки, которые всё лето вечерами бьются в сетку, ещё не переселились куда-то, как всегда осенью. Гусеница, наверно, вползла по ступенькам, а потом под дверью. Я увидела её, когда положила книжку на пол возле раскладушки. Эта гусеница не длинней дюйма, а если до неё дотронуться, она сразу сворачивается в тугой серый клубок. Я растянулась на животе и ткнула в гусеницу пальцем. Она свернулась. Потом, наверно, решила, что опасность миновала, и медленно развернулась. Все её сто ног задвигались, она немножко проползла, и я опять её тронула. Она свернулась. Мне хотелось спать, и я решила её прикончить. Я уже протянула руку, и тут меня остановил Джим.

Он смотрел сердито. Наверно, это тоже потому, что у него такая полоса; уж скорей бы он с ней разделался. Конечно, животных Джим никогда не мучил, но я понятия не имела, что он жалеет ещё и насекомых.

— А почему нельзя её раздавить? — спросила я.

— Потому, что она тебе не мешает, — в темноте ответил Джим. Он уже погасил свою лампу.

— Значит, ты теперь не убиваешь ни мух, ни москитов, такая, значит, у тебя полоса, — сказала я. — Когда передумаешь, ты мне скажи. Только я не дам, чтоб меня кусали муравьи, так и знай.

— А, заткнись ты... — сонным голосом отозвался Джим.

Это Джим с каждым днём всё больше становился похож на девчонку, а совсем не я. Я удобно улеглась на спину и собралась спать, а пока что думала про Дилла. Он уехал первого сентября и пообещал вернуться в ту же минуту, как начнутся каникулы: кажется, до его родных наконец дошло, что он любит проводить лето в Мейкомбе. Мисс Рейчел взяла нас с собой в такси на станцию, и Дилл махал нам из окна вагона, пока совсем не исчез с глаз долой. Но не из сердца вон: я по нему скучала. За последние два дня Джим научил его плавать...

Учил его плавать. Я вспомнила, что мне тогда рассказал Дилл, и

всякий сон прошёл.

К Заводи ведёт просёлочная дорога, которая сворачивает от Меридианского шоссе примерно в миле от города. По шоссе всегда подвезут — или на фургоне с хлопком, или на попутной машине, а по просёлку дойти совсем недалеко; но возвращаться домой в сумерки, когда машин почти уже нет и приходится всю дорогу идти пешком, не так-то приятно, и поэтому купальщики стараются не задерживаться допоздна.

Дилл рассказывал: они только вышли с Джимом на шоссе и вдруг видят — навстречу едет Аттикус. Он вроде их и не заметил, и они замахали руками. Тогда он затормозил. Они к нему подбежали, а он говорит:

— Вы лучше подождите какую-нибудь машину, которая идёт в город. А я не скоро вернусь.

Сзади сидела Кэлпурния.

Джим заспорил, потом стал просить, и Аттикус сказал:

— Ладно, поезжайте с нами, только уговор: из машины не выходить.

По дороге к дому Тома Робинсона Аттикус рассказал им, что случилось.

Свернули с шоссе и мимо свалки, мимо Юэлов медленно поехали к негритянскому посёлку. Во дворе у Тома целая куча чёрных ребятишек играла в камешки. Аттикус остановил машину и вышел. Кэлпурния пошла за ним во двор.

Дилл слышал — Аттикус спросил одного из мальчишек:

— Где твоя мама, Сэм?

И Сэм ответил:

— Она у Стивенсов, мистер Финч. Сбежать за ней?

Аттикус сперва вроде не знал, как быть, потом сказал — ладно, и Сэм побежал со всех ног.

— Играйте, играйте, мальчики, — сказал Аттикус ребятам.

Из дома вышла совсем маленькая девочка и уставилась на Аттикуса. Во все стороны у неё торчали тоненькие косички, и на каждой — яркий бант. Она улыбнулась во весь рот и заковыляла к Аттикусу, но она была совсем маленькая и не умела сойти со ступенек. Дилл сказал — Аттикус подошёл к ней, снял шляпу и протянул ей палец. Она уцепилась за палец, и Аттикус помог ей сойти с крыльца. Потом подвёл её к Кэлпурнии.

Тут пришла Элен, за ней вприпрыжку бежал Сэм. Элен сказала:

— Добрый вечер, мистер Финч. Не присядете ли?

И замолчала. И Аттикус стоит и молчит.

— И вдруг она упала, Глазастик, — сказал Дилл. — Как стояла, так и упала, будто какой-то великан наступил на неё и раздавил. Вот так — хлоп!

— Дилл топнул ногой. — Прямо как букашку.

Кэлпурния с Аттикусом подняли Элен и повели в дом, а у неё ноги не идут. Их долго не было, потом вышел один Аттикус. Когда ехали обратно мимо свалки, кто-то из Юэлов что-то заорал вслед, но что — Дилл не разобрал. О смерти Тома в Мейкомбе говорили два дня; за два дня о случившемся успел узнать весь округ. «Слыхали?... Нет?... Говорят, он как помчится со всех ног...» Жителей Мейкомба ничуть не удивила смерть Тома. Ясное дело, сдуру дал тягу. Черномазые — они все безмозглые, где уж им думать о будущем, вот и кинулся бежать очертя голову, себе же на погибель. И ведь вот что забавно, Аттикус Финч, наверно, вызволил бы его, но ждать?... Чёрта с два. Все они такие. Никакой положительности в них нет. И ведь этот самый Робинсон был женат по закону, говорят, содержал себя чисто, церковь посещал, всё как полагается, а как дошло до дела, так и выходит — всё одна только видимость. Черномазый — он черномазый и есть.

Собеседник, в свою очередь, сообщал кое-какие подробности, а потом уже и говорить стало не о чем до самого четверга, когда вышла «Мейкомб трибюн». В колонке, посвящённой жизни цветных, появился коротенький некролог, но была ещё и передовая.

Мистер Б. Андервуд не пожалел резких слов и нисколько не опасался, что потеряет на этом подписчиков и объявления. (Впрочем, жители Мейкомба не таковы: мистер Андервуд может драть глотку сколько влезет и писать всё, что в голову взбредёт, подписчики и объявления останутся при нём. Хочешь выставлять на посмешище себя и свою газету — сделай милость.) Мистер Андервуд не вдавался в рассуждения о судебных ошибках, он писал так ясно, что его понял бы и ребёнок. Он просто объяснял, что убивать калек — грех, всё равно стоят ли они, сидят или бегут. Он сравнивал смерть Тома с бессмысленным убийством певчих птиц, которых истребляют охотники и дети, — ударился в поэзию, решил Мейкомб, надеется, что его передовую перепечатают «Монтгомери эдвертайзер».

Как же это так, думала я, читая передовую мистера Андервуда. Бессмысленное убийство?... До последнего часа в деле Тома всё шло по закону, его судили открытым судом, и приговор вынесли двенадцать хороших честных людей; мой отец защищал его как мог. Но потом я поняла, что хотел сказать мистер Андервуд: Аттикус изо всех сил старался спасти Тома Робинсона, старался доказать этим людям, что Том не виновен, но всё было напрасно, ведь в глубине души каждый из них уже вынес приговор. Том был обречён в ту самую минуту, когда Мэйелла Юэл подняла

крик.

Всему Мейкомбу сразу же стало известно мнение мистера Юэла о кончине Тома, а по каналу, по которому всегда безотказно передавались сплетни — через мисс Стивени Кроуфорд, — оно докатилось и до нас. При Джиме (глупости, он уже не маленький, пускай слушает!) мисс Стивени рассказала тётке Александре, что мистер Юэл сказал: один готов, осталось ещё двое. Джим сказал — я зря трушу, этот Юэл просто трепло. Джим сказал — если я проболтаюсь Аттикусу, если хоть как-то покажу ему, что я знаю, он, Джим, никогда больше не станет со мной разговаривать.

Опять начались занятия, а с ними наши ежедневные походы мимо дома Рэдли. Джим был теперь в седьмом классе и учился в другой школе, а я — в третьем классе, и расписание у нас было совсем разное, так что мы только утром ходили вместе в школу да встречались за столом. Он бегал на футбол, но ему ещё не хватало ни лет, ни силы, и он пока только таскал команде вёдрами воду. Но и это он делал с восторгом и почти каждый день пропадал там до темноты.

Дом Рэдли стоял под гигантскими дубами всё такой же мрачный, угрюмый и неприветливый, но я его больше не боялась. В погожие дни мистер Натан Рэдли по-прежнему ходил в город; Страшила, конечно, всё ещё сидел там у себя — ведь никто пока не видел, чтобы его оттуда вынесли. Иногда, проходя мимо старого дома, я чувствовала угрызения совести: как мы, наверно, тогда мучили Артура Рэдли — какому же затворнику приятно, когда дети заглядывают к нему в окна, забрасывают удочкой письма и по ночам бродят в его капусте?

И несмотря на всё это — два пенни с головами индейцев, жевательная резинка, куколки из мыла, медаль, сломанные часы на цепочке. Джим, наверно, где-нибудь всё это припрятал. Один раз я приостановилась и посмотрела на то дерево: ствол вокруг цементной пломбы стал толще. А сама пломба пожелтела.

Но каждый раз, когда я проходила мимо, я надеялась его увидеть. Может, когда-нибудь мы его всё-таки увидим. Интересно, как это будет: вот я иду мимо, а он сидит на качелях.

— Здравствуйте, мистер Артур, — скажу я, будто всю жизнь с ним здороваюсь.

— Добрый вечер, Джин Луиза, — скажет он, будто всю жизнь здороваюсь со мной. — Просто прелесть что за погода, правда?

— Да, сэр, просто прелесть, — скажу я и пойду своей дорогой.

Но это всё только мечты. Никогда мы его не увидим. Он, наверно, и правда выходит из дому, когда зайдёт луна, и заглядывает в окно к мисс Стивени Кроуфорд. Я бы уж лучше смотрела на кого-нибудь другого, но это его дело. А на нас он и не поглядит никогда.

— Уж не взялась ли ты опять за старое? — спросил Аттикус однажды вечером, когда я вдруг заявила, что надо же мне, пока жива, хоть раз поглядеть на Страшилу Рэдли. — Если так, я тебе сразу скажу: прекрати

это. Я слишком стар, чтобы гонять тебя с их двора. К тому же лазить там опасно. Тебя могут застрелить. Ты ведь знаешь, мистер Натан стреляет в каждую тень, даже в босоногую, которая оставляет следы тридцатого размера. Тебе повезло, что ты осталась жива.

Я тут же прикусила язык. И подумала: какой Аттикус замечательный. Ведь за всё время он первый раз показал нам, что знает кое о чём куда больше, чем мы думали. А ведь всё это было сто лет назад. Нет, только летом... нет, прошлым летом, когда... Что-то у меня всё спуталось. Надо спросить Джима.

Столько всего с нами случилось с тех пор, и оказывается, Страшила Рэдди — не самое страшное. Аттикус сказал — он не думает, что ещё что-нибудь случится, жизнь всегда быстро входит в колено. Пройдёт время — и забудут, что жил когда-то на свете Том Робинсон, из-за которого было столько разговоров.

Может, Аттикус и прав, но от того, что случилось этим летом, мы не могли вздохнуть свободно — будто в комнате, где душно и накурено. Мейкомбские жители никогда не говорили со мной и с Джимом о доле Тома; наверно, они говорили об этом со своими детьми и смотрели они на это, видимо, так: мы не виноваты, что Аттикус наш отец, и поэтому, несмотря на Аттикуса, пускай дети будут к нам снисходительны. Сами дети нипочём бы до этого не додумались. Если б наших одноклассников не сбивали с толку, каждый из нас раз-другой подрался бы, и на том бы всё и кончилось. А так нам приходилось высоко держать голову и вести себя, как полагается джентльмену и леди. Это немножко напоминало эпоху миссис Генри Лафайет Дюбоз, только никто на нас не орал. Но вот что чудно и непонятно: хоть Аттикус, по мнению Мейкомба, и плохой отец, а в законодательное собрание штата его всё равно опять выбрали единогласно. Нет, видно, все люди какие-то странные, и я стала держаться от них подальше и не думала про них, пока можно было.

Но однажды в школе мне волей-неволей пришлось о них подумать. Раз в неделю у нас бывал час текущих событий. Каждый должен был вырезать из газеты статью, внимательно прочитать и пересказать в классе. Предполагалось, будто это убережёт ребят от многих бед: ученику придётся стоять у всех на виду, и он постарается принять красивую позу и приобретёт хорошую осанку; ему придётся коротко пересказать прочитанное, и он научится выбирать слова; ему придётся запомнить текущие события, а это укрепит его память; ему придётся стоять одному, а это усилит его желание оказаться опять вместе со всеми.

Весьма глубокий замысел, но, как обычно, в Мейкомбе из него не

вышло ничего путного. Во-первых, дети фермеров газет почти никогда и не видали, так что текущие события обременяли одних городских ребят, и это окончательно убеждало загородных, что учителя заняты только городскими. Те же из загородных, кому попадались газеты, обычно выбирали статьи из «Радикального листка», который наша учительница мисс Гейтс и за газету-то не считала. Не знаю, почему она хмурилась, когда кто-нибудь пересказывал статью из «Радикального листка», но, кажется, в её глазах это было всё равно, что бить баклуши, есть на завтрак сдобные булочки, вертеться перед зеркалом, распевать «Сладко пение осла» — в общем, делать всё то, от чего учителя должны нас отучать, за это им и деньги платят.

Но всё равно мало кто из нас понимал, что такое текущие события. Коротышка, великий знаток коров и коровьих привычек, подошёл уже к середине рассказа про дядюшку Нэтчела, но тут мисс Гейтс остановила его:

— Это не текущие события, Чарлз. Это реклама.

А вот Сесил Джейкобс знал, что такое текущие события. Когда настал его черёд отвечать, он вышел к доске и начал:

— Старик Гитлер...

— Адольф Гитлер, Сесил, — поправила мисс Гейтс. — Когда о ком-нибудь говоришь, не надо называть его «стариком».

— Да, мэм, — сказал Сесил. — Старик Адольф Гитлер расследует евреев...

— Преследует, Сесил...

— Нет, мэм, мисс Гейтс, тут так написано... Ну и вот, старик Адольф Гитлер гоняет евреев, сажает их в тюрьмы, отнимает всё ихнее имущество и ни одного не выпускает за границу, и он стирает всех слабоумных.

— Стирает слабоумных? Стирает с лица земли?

— Да нет же, мэм, мисс Гейтс, ведь у них-то ума не хватает постирать да помыться; полоумный-то разве может содержать себя в чистоте? Ну и вот, теперь Гитлер затеял прижать всех полуевреев и не спустит их с глаз, боится, как бы они ему чего не напортили, и, по-моему, это дело плохое, такое моё текущее событие.

— Молодец, Сесил, — сказала мисс Гейтс.

И Сесил, гордый, пошёл на своё место.

На задней парте кто-то поднял руку.

— Как это он так может?

— Кто может и что именно? — терпеливо спросила мисс Гейтс.

— Ну, как Гитлер может взять да и засадить столько народу за решётку, а где же правительство, что ж его не остановят?

— Гитлер сам правительство, — сказала мисс Гейтс и сразу воспользовалась случаем превратить обучение в активный процесс: она подошла к доске и большими печатными буквами написала: ДЕМОКРАТИЯ.

— Демократия, — прочла она. — Кто знает, что это такое?

Я вспомнила лозунг, который мне один раз во время выборов объяснял Аттикус, и подняла руку.

— Так что же это, по-твоему, Джим Луиза?

— Равные права для всех, ни для кого никаких привилегий, — процитировала я.

— Молодец, Джин Луиза, молодец, — мисс Гейтс улыбнулась. Перед словом «демократия» она такими же большими печатными буквами приписала: У НАС. — А теперь скажем все вместе: у нас демократия.

Мы сказали.

— Вот в чём разница между Америкой и Германией, — сказала мисс Гейтс. — У нас демократия, а в Германии диктатура. Дик-та-ту-ра. Мы в нашей стране никого не преследуем. Преследуют других люди, заражённые предрассудками. Пред-рас-су-док, — произнесла она по слогам. — Евреи — прекрасный народ, и я просто понять не могу, почему Гитлер думает иначе.

Кто-то любознательный в среднем ряду спросил:

— А как по-вашему, мисс Гейтс, почему евреев не любят?

— Право, не знаю, Генри. Они полезные члены общества в любой стране, более того, это народ глубоко религиозный. Гитлер хочет уничтожить религию, может быть, поэтому он их и не любит.

— Я, конечно, не знаю, — громко сказал Сесил, — но они вроде меняют деньги или ещё чего-то, только всё равно, что ж их за это преследовать! Ведь они белые, верно?

— Вот пойдёшь в седьмой класс, Сесил, — сказала мисс Гейтс, — тогда узнаешь, что евреев преследуют с незапамятных времён, их даже изгнали из их собственной страны. Это одна из самых прискорбных страниц в истории человечества... А теперь займёмся арифметикой, дети.

Я никогда не любила арифметику и просто стала смотреть в окно. Только один-единственный раз я видела Аттикуса по-настоящему сердитым — когда Элмер Дейвис по радио рассказывал про Гитлера. Аттикус рывком выключил приёмник и сказал «Ф-фу!» Как-то я его спросила, почему он так сердит на Гитлера, и Аттикус сказал:

— Потому, что он сбесился.

Нет, так не годится, раздумывала я, пока весь класс решал столбики.

Один бешеный, а немцев миллионы. По-моему, они бы сами могли засадить его за решётку, а не давать, чтоб он их сажал. Что-то ещё здесь не так... Надо спросить Аттикуса.

Я спросила, и он ответил: не может он ничего сказать, сам не понимает, в чём тут дело.

— Но это хорошо — ненавидеть Гитлера?

— Ничего нет хорошего, когда приходится кого-то ненавидеть.

— Аттикус, — сказала я, — всё-таки я не понимаю. Мисс Гейтс говорит, это ужас, что Гитлер делает, она даже стала вся красная...

— Другого я от неё и не ждал.

— Но тогда...

— Что тогда?

— Ничего, сэр.

И я ушла, я не знала, как объяснить Аттикусу, что у меня на уме, как выразить словами то, что я смутно чувствовала. Может, Джим мне растолкует. В школьных делах Джим разбирается лучше Аттикуса.

Джим весь день таскал воду и совсем выбился из сил. На полу около его постели стояла пустая бутылка из-под молока и валялась кожура от десятка бананов, не меньше.

— Что это ты сколько всего уплёл? — спросила я.

— Тренер говорит, если я через год наберу двадцать пять фунтов, я смогу играть, — сказал он. — А так быстрее всего поправишься.

— Если только тебя не стошнит, — сказала я. — Джим, мне надо у тебя кое-что спросить.

— Давай выкладывай. — Он отложил книгу и вытянул ноги.

— Мисс Гейтс хорошая, правда?

— Хорошая. Мы у неё учились, она ничего.

— Она знаешь как ненавидит Гитлера...

— Ну и что?

— Понимаешь, сегодня она говорила, как нехорошо, что он так скверно обращается с евреями. Джим, а ведь преследовать никого нельзя, это несправедливо, правда? Даже думать про кого-нибудь по-подлому нельзя, правда?

— Да, конечно, Глазастик, нельзя. Но какая тебя муха укусила?

— Понимаешь, мы когда в тот раз выходили из суда, мисс Гейтс... она шла по лестнице перед нами... ты, наверно, её не видел... она разговаривала с мисс Стивени Кроуфорд. И вот она сказала — пора их проучить, они совсем от рук отбились, скоро, пожалуй, захотят брать нас в жёны. Как же так, Джим, сама ненавидит Гитлера, а сама так противно

говорит про наших здешних...

Джим вдруг рассвирепел. Он соскочил с кровати, схватил меня за шиворот да как тряхнёт!

— Не хочу больше слышать про этот суд, не хочу, слышишь, не хочу! Поняла? Чтоб я больше не слышал от тебя про это, поняла? А теперь убирайся!

Я так удивилась — даже не заплакала. На цыпочках вышла из комнаты и как можно тише притворила за собой дверь, а то ещё Джим услышит стук и опять разозлится. Я вдруг очень устала и захотела к Аттикусу. Он был в гостинной, я подошла и хотела взобраться к нему на колени.

Аттикус улыбнулся.

— Ты уже такая большая, что не умецаешься у меня на коленях. — Он прижал меня покрепче и сказал тихонько: — Ты не расстраивайся из-за Джима, Глазастик. У него сейчас трудное время. Я слышал, как он на тебя накричал.

Аттикус сказал — Джим очень старается что-то забыть, но забыть он не сможет, он может только до поры до времени об этом не думать. А немного погодя он опять сможет об этом думать — и тогда во всём сам разберётся. И тогда он опять станет самим собой.

Как и говорил Аттикус, понемногу всё уладилось. До середины октября всё в Мейкомбе шло, как обычно, только с двумя горожанами случилось два незначительных происшествия. Нет, три, и прямо они нас, Финчей, не касались, но немножко всё-таки касались.

Первое: мистер Боб Юэл получил и почти сразу потерял работу, в тридцатые годы это был единственный случай, я никогда не слыхала, чтобы ещё кого-нибудь, кроме него, уволили с общественных работ за лень. Короткая вспышка славы породила ещё более короткую вспышку усердия, но его работа длилась не дольше его известности: очень скоро о нём забыли так же, как и о Томе Робинсоне. Тогда он опять стал аккуратно каждую неделю являться за пособием и, получая чек, угрюмо ворчал что-то насчёт разных ублюдков, которые воображают, будто управляют городом, а честному человеку не дают заработать на жизнь. Рут Джоунз, которая выдавала пособие, рассказывала: мистер Юэл прямо говорил, будто Аттикус отнял у него работу. Она совсем расстроилась, даже пошла к Аттикусу в контору и всё ему рассказала. Аттикус сказал — пускай мисс Рут не волнуется, если Боб Юэл желает обсудить это с ним, дорога в контору ему известна.

Второе происшествие случилось с судьёй Тейлором. Судья Тейлор не посещал воскресную вечернюю службу, а миссис Тейлор посещала. Воскресные вечера судья Тейлор с наслаждением проводил один в своём большом доме, он уютно устраивался в кабинете и читал записки Боба Тейлора (с которым он хоть и не состоял в родстве, но очень был бы рад состоять). В один из таких вечеров судья упивался витиеватым стилем и цветистыми метафорами и вдруг услышал какое-то противное царапанье.

— Пшла вон, — приказал судья своей разжиревшей дворняге по имени Энн Тейлор.

Но никакой собаки в комнате не было, царапанье доносилось откуда-то со стороны кухни. Судья Тейлор, тяжело ступая, пошёл к чёрному ходу, чтобы выпустить Энн, и оказалось — дверь веранды качается, будто её только что распахнули. Какая-то тень мелькнула за углом, но кто это — судья не разобрал. Когда миссис Тейлор вернулась из церкви, муж сидел в кресле, погружённый в записки Боба Тейлора, а на коленях у него лежал дробовик.

Третье происшествие случилось с Элен Робинсон, вдовой Тома. Если

мистера Юэла забыли, как Тома Робинсона, то и Тома Робинсона забыли, как когда-то Страшилу Рэдди. Но мистер Линк Диз, у которого работал Том, не забыл его. Мистер Линк Диз взял на работу Элен. Она ему была даже не нужна, но он сказал, у него на душе уж очень тяжело — скверно всё получилось. Я так и не поняла, кто же присматривает за детьми Элен, пока её нет дома. Кэлпурния говорила, Элен тяжело, ей каждый день приходится делать крюк, лишнюю милю, чтобы обойти Юэлов; в первый раз она пошла мимо их дома, а они стали швырять в неё чем попало. Мистер Линк Диз заметил, что она каждое утро приходит не с той стороны, и в конце концов попытался у неё почему.

— Это ничего, сэр, мистер Линк, вы, пожалуйста, не беспокойтесь, — просила его Элен.

— Чёрта с два, — сказал мистер Линк.

Он велел ей после работы прийти к нему в магазин. Она пришла, и мистер Линк запер магазин, нахлобучил шляпу и пошёл её провожать. Он повёл Элен короткой дорогой, мимо Юэлов. На обратном пути он остановился у их развалившихся ворот.

— Юэл, — крикнул он. — Эй, Юэл!

Из окон всегда глазели бесчисленные Юэлы-младшие, но сейчас не видно было ни души.

— Знаю я вас, все попрятались, лежите на полу. Так вот, имей в виду, Боб Юэл: если я ещё хоть раз услышу, что ты не даёшь моей Элен ходить этой дорогой, ты у меня мигом попадёшь за решётку, так и знай! — Мистер Линк сплюнул и пошёл домой.

На следующее утро Элен пошла на работу короткой дорогой. Никто в неё ничем не швырял, но, когда она миновала дом Юэлов, она обернулась и увидела, что мистер Юэл идёт за ней. Она пошла дальше, а он всё не отставал и дошёл за ней до самого дома мистера Линка Диза. И всю дорогу он вполголоса ругался всякими словами.

Она совсем перепугалась и позвонила мистеру Линку Дизу в магазин, который был неподалёку от дома. Мистер Линк вышел из магазина и видит — мистер Юэл облокотился на его забор.

— Чего вытаращился на меня, Линк Диз, будто я свинья какая? Я не лезу к тебе в...

— Во-первых, не висни на моём заборе, ты, вонючее отродье! Мне не по карману красить его заново. Во-вторых, держись подальше от моей кухарки, не то пойдёшь под суд за посягательство на женскую честь.

— Я её пальцем не тронул, Линк Диз, охота была связываться с черномазой!

— А для этого и трогать не надо, хватит того, что ты её напугал, а если за словесное оскорбление под замок не сажают, я тебя притяну по закону об оскорблении женщины, так что убирайся с глаз долой! Лучше ты её не трогай, со мной шутки плохи!

Мистер Юэл, видно, понял, что это не шутки: Элен больше на него не жаловалась.

— Не нравится мне это, Аттикус, очень не нравится, — отозвалась об этих событиях тётя Александра. — Этот Юэл, видно, затаил злобу на всех, кто связан с тем делом. Такие люди ужасно мстительны, я только не понимаю, почему он не успокоился после суда... Он же своего добился?

— А я, кажется, понимаю, — сказал Аттикус. — В глубине души он, наверно, сознаёт, что мало кто в Мейкомбе поверил их с Мэйеллой рассказам. Он-то думал оказаться героем, а что получилось?... Ладно, негра мы осудим, а ты, голубчик, убирайся-ка обратно на свалку. Но теперь он как будто свёл счёты со всеми, так что должен бы быть доволен. Вот погода переменится, и он тоже успокоится.

— Но зачем он забрался к Джону Тейлору? Он, видно, не знал, что Джон дома, а то бы не полез... По воскресеньям вечерами у Джона свет горит только в кабинете и на парадном крыльце...

— Мы ведь не знаем наверняка, что это Боб Юэл забрался к Тейлору, — сказал Аттикус. — Хотя я догадываюсь, в чём дело. Я обличил его во лжи, а Джон выставил его дураком. Всё время, пока Юэл давал показания, я боялся взглянуть на Джона, боялся, что не удержусь от смеха. Джон смотрел на него такими глазами, словно увидел цыплёнка о трёх ногах или квадратное яйцо. Так что ты меня не уверяй, будто судьи не пытаются влиять на присяжных. — Аттикус усмехнулся.

К концу октября наша жизнь вошла в привычную колею — школа, игры, уроки.

Джиму, видно, удалось выкинуть из головы то, что он хотел забыть, а наши одноклассники милостиво позволили нам забыть о странностях нашего отца. Сесил Джейкобс один раз спросил меня — может, Аттикус радикал? Я спросила Аттикуса, и это его так насмешило, я даже обиделась, но он сказал — это он не надо мной смеётся.

— Скажи Сесилу, что я такой же радикал, как дядюшка Римус.

Тётя Александра процветала. Мисс Моды, видно, одним махом заткнула рот всему миссионерскому обществу, и тётя опять там всем заправляла. Угощения её стали ещё восхитительнее. Из рассказов миссис Мерриуэзер я ещё больше узнала про жизнь несчастных мрунов: они совсем не знают семейных уз, всё племя — одна большая семья. У ребёнка

столько отцов, сколько в селении мужчин, и столько матерей, сколько женщин. Граймс Эверетт прямо из сил выбивается, хочет научить их умному, и ему никак не обойтись без наших молитв.

Мейкомб опять стал самим собой. Он теперь совсем такой же, как в прошлом году и в позапрошлом, если не считать двух небольших перемен. Во-первых, из витрин и с окон автомашин исчезли плакатики Национальной администрации возрождения промышленности — «Мы вносим свою лепту». Я спросила Аттикуса, почему их сняли, и он сказал — НАВП скончалась. Я спросила, кто её убил, и он сказал — девять старцев^[7].

Вторая перемена в Мейкомбе не имела государственного значения. Прежде канун Дня всех святых в Мейкомбе праздновали как придётся. Ребята развлекались кто как умел, а если одному вздумается куда-нибудь что-нибудь взгромоздить, ну, например, лёгкую коляску на крышу платной городской конюшни, в помощниках недостатка не было. Но родители решили, что в прошлом году, когда нарушен был покой мисс Тутти и мисс Фрутти, дело зашло уж слишком далеко.

Сёстры Барбер мисс Тутти и мисс Фрутти были старые девы, и жили они в единственном на весь Мейкомб доме с подвалом. Про них говорили, будто они из республиканцев, ведь они переселились к нам из Клентона, штат Алабама, в 1911 году. Их привычки всех нас удивляли, и никто не понимал, зачем им понадобился подвал, но он им понадобился и был вырыт, и остаток жизни они только и делали, что гоняли оттуда всё новые поколения юных мейкомбцев.

Мало того, что по своим привычкам мисс Тутти и мисс Фрутти (на самом деле их звали Сара и Фрэнсис) были янки — они были ещё и глухие. Мисс Тутти не признавалась в этом и жила в мире безмолвия, но мисс Фрутти была очень любопытная и завела себе слуховую трубку, такую большую, что Джим сказал — это граммофонная труба.

Ребята всё это знали и помнили. День всех святых был уже на носу, и вот несколько озорников дождались, пока обе мисс Барбер уснули крепким сном, пробрались к ним в гостиную (во всём городе на ночь запирались одни только Рэдди) и потихоньку перетаскали оттуда в подвал всю мебель. (Своё участие в этой вылазке я решительно отрицаю.)

— Я их слышала! — Этот вопль разбудил ни свет ни заря соседей мисс Тутти и мисс Фрутти. — Грузовик подъехал к самым дверям! Они топали, как лошади. Теперь они, наверно, уже в Новом Орлеане!

Мисс Тутти была уверена, что их мебель похитили бродячие торговцы, которые два дня назад проезжали через Мейкомб.

— Они такие чё-ор-ные, — говорила она. — Сирийцы.

Был вызван мистер Гек Тейт. Он осмотрел место происшествия и сказал — это работали свои, мейкомбские. Мисс Тутти сказала — мейкомбских она всегда поговору узнает, а ночью у них в гостиной разговаривали не по-мейкомбски.

Мисс Тутти требовала ищеек, на меньшее она не согласна, и мистеру Тейту пришлось отшагать за ними десять миль. Мистер Тейт пустил собак по следу, а они от парадного крыльца сразу же кинулись вокруг дома и стали лаять на дверь, ведущую в подвал. Три раза мистер Тейт подводил их к парадному крыльцу и отпускал, и все три раза они бежали к подвалу. Тогда он, наконец, догадался. К полудню никто из ребят уже не появлялся на улице босиком и никто не снимал башмаков, пока собак не увели.

И вот мейкомбские леди решили — в этом году всё будет по-другому. Школьный зал будет открыт, взрослым покажут живые картины, а для детей будут разные забавы — лови яблоко, помадка на верёвочке, поймай осла за хвост. Кроме того, за лучший самодельный костюм для маскарада будет выдан приз — двадцать пять центов.

Мы с Джимом взвыли. Не то чтобы мы собирались что-нибудь такое учинить, дело в принципе. Джим считал — он всё равно уже слишком взрослый для Дня всех святых; он сказал, его в этот вечер в школу не заманишь. Ну и ладно, решила я, меня проводит Аттикус.

Но скоро я узнала, что в этот вечер буду представлять на сцене. Миссис Грейс Мерриуэзер придумала удивительно оригинальную живую картину под названием «Округ Мейкомб — ad astra per aspera»^[8], и я буду представлять окорок. Она решила — это будет восхитительно, если дети в костюмах изобразят сельскохозяйственную продукцию нашего округа: Сесила Джейкобса нарядят коровой; из Эгнес Бун выйдет прелестная восковая фасоль; ещё кто-нибудь будет земляным орехом, и ещё много-много всего — пока не иссякнут воображение миссис Мерриуэзер и запас детей.

Как я поняла на двух репетициях, от нас только и требовалось: выйти слева из-за сцены, едва миссис Мерриуэзер нас назовёт (она была не только автор, но и ведущая). Вот она выкрикнет «Окорок!» — значит, мне выходить. А под конец мы все торжественно споём: «Мейкомб, Мейкомб, тебе верны навеки», — и миссис Мерриуэзер развернёт флаг нашего штата.

Мой костюм нетрудно было придумать. У миссис Креншо, городской портнихи, было ничуть не меньше воображения, чем у миссис Мерриуэзер. Миссис Креншо взяла проволочную сетку и согнула её в форме копчёного окорока. Обтянула сетку коричневой материей и раскрасила, как окорок. Я

присяду, и кто-нибудь на меня сверху эту штуковину нахлобучит. Она доходила мне почти до колен. Миссис Креншо заботливо прорезала для меня два глазка. Она очень хорошо всё сделала, Джим сказал — я настоящий окорок с ногами. Правда, были тут и кое-какие неудобства: в костюме было жарко, тесно, и нос не почешешь, и никак не вылезешь без посторонней помощи.

Я думала, когда наступит День всех святых, вся наша семья придёт смотреть, как я представляю, но меня ждало разочарование. Аттикус очень старался меня не обидеть и всё-таки сказал — он сегодня очень устал и ему не под силу смотреть живые картины. Он целую неделю провёл в Монтгомери и вернулся только под вечер. Но если я попрошу Джима, надо полагать, Джим меня проводит.

Тётя Александра сказала — ей просто необходимо пораньше лечь, она весь день украшала сцену и совсем измучилась... И вдруг она замолчала на полуслове. Опять открыла рот, хотела что-то сказать, но так и не сказала.

— Тётя, что с вами? — спросила я.

— Нет, нет, ничего, — сказала она. — Что-то у меня мороз по коже.

Уж не знаю, что это вдруг на неё нашло, но она сразу встряхнулась и предложила мне устроить в гостиной домашний просмотр. Джим втиснул меня в костюм, стал в дверях гостиной, выкрикнул: «О-окорок!» — точь-в-точь миссис Мерриуэзер, и я прошествовала в гостиную. Аттикус и тётя Александра были в восторге.

Потом я пошла в кухню и покрасовалась перед Кэлпурнией, и она сказала — на меня любо поглядеть. Я хотела сбегать показаться мисс Моды, но Джим сказал — она, наверно, всё равно будет на представлении.

Теперь уже неважно, пойдут они или нет. И Джим сказал — он меня проводит. Так началось наше с ним самое долгое путешествие.

Никогда ещё последний день октября не был такой тёплый. Мы даже не надели куртки. Поднялся ветер, и Джим сказал — на обратном пути мы, пожалуй, попадём под дождь. Луны не было.

Уличный фонарь на углу отбрасывал чёрные тени на дом Рэдли. Джим тихонько засмеялся.

— Спорим, сегодня их никто не потревожит, — сказал он.

Джим нёс мой костюм, держать его было довольно неловко. Какой Джим всё-таки у нас воспитанный.

— А всё равно здесь жутко, правда? — сказала я. — Страшила, конечно, никому не хочет зла, а всё равно я рада, что ты пошёл со мной.

— Да разве Аттикус тебя отпустил бы одну? — сказал Джим.

— А почему нет? Тут всего-то завернуть за угол да через двор.

— Школьный двор слишком большой, маленьким девочкам не годится ходить по нему в темноте, — поддразнил Джим. — Или, может, ты не боишься привидений?

Мы захохотали. Мы давно уже взрослые. Привидения, жар-пар, колдовство, тайные знаки — всё растаяло, как туман на восходе солнца.

— Какое это у нас тогда было заклинание? — сказал Джим. — Жив, не помер, свет души, пропусти, не задуши.

— Замолчи, — сказала я. Мы как раз шли мимо дома Рэдли.

Джим сказал:

— Наверно, Страшилы нет дома. Слушай.

Высоко над нами в темноте одинокий пересмешник распевал подряд все свои песенки, он даже не подозревал, на чьём дереве сидит, он то посвистывал синицей, то трещал, точно рассерженная сойка, то горько жаловался, будто козодой.

Мы повернули за угол, и я споткнулась о корень. Джим хотел меня поддержать, но только уронил в пыль мой костюм. Я всё-таки не упала, и мы пошли дальше.

Потом мы свернули в школьный двор. Там было темно, хоть глаз выколи.

— Джим, а почему ты знаешь, куда идти? — спросила я через несколько шагов.

— Сейчас мы под большим дубом — чувствуешь, тут прохладнее? Смотри, осторожней, не споткнись опять.

Теперь мы шли медленно, чуть не ощупью, чтобы не налететь на дерево. Этот дуб был одинокий и старый-престарый. Нам вдвоём нипочём бы его не обхватить. Он стоял далеко от учителей, от ябедников и любопытных соседей — правда, рядом были Рэдли, но Рэдли не суют нос в чужие дела. И в его тени столько бывало драк и запретных сражений в кости, что земля тут была твёрдая как камень.

Впереди сверкали окна школьного зала, но они нас только слепили.

— Не смотри вперёд, Глазастик, — сказал Джим. — Смотри под ноги, тогда не упадёшь.

— Зря ты не взял фонарик, Джим, — сказала я.

— Я не знал, что такая темень. Думал, ещё будет видно. Это всё из-за туч. Их, наверно, не скоро разгонит.

И тут на нас кто-то прыгнул. Джим как заорёт!

В лицо нам ударил свет, это Сесил Джейкобс светил на нас фонариком и так и плясал от восторга.

— Ага, попались! — вопил он. — Так и знал, что вы пойдёте этой дорогой!

— Что ты тут один делаешь? Ты разве не боишься Страшилы Рэдли?

Родители благополучно доставили Сесила в школу, он увидел, что нас нет, и отправился к дубу — он знал наверняка, что мы придём этой дорогой. Только думал, нас проводит Аттикус.

— Вот ещё! Нам всего-то ходу — за угол завернуть, — сказал Джим. — Чего ж тут бояться?

А всё-таки здорово это у Сесила получилось. Он нас и правда напугал и теперь имел право раззвонить об этом по всей школе.

— Слушай, — сказала я, — ты же сегодня корова. Где же твой костюм?

— Там, за сценой, — сказал он. — Миссис Мерриуэзер говорит, живая картина ещё не скоро. Клади свой костюм за сценой рядом с моим, Глазастик, и пошли к ребятам.

Джим обрадовался. Чего лучше — я буду не одна. А значит, ему можно побыть с людьми своего возраста.

Когда мы пришли в зал, там был уже весь Мейкомб, не было только Аттикуса, дам, которые сбились с ног, пока украшали школу, да наших отщепенцев и затворников. Тут, кажется, собрался весь округ: вестибюль был битком набит принарядившимися окрестными жителями. На первом этаже, по обе стороны широкого коридора, были устроены всякие развлечения, и всюду толпился народ.

— Ой, Джим, я забыла деньги!

— Зато Аттикус не забыл, — сказал Джим. — Вот, держи тридцать центов, это на шесть жетончиков. Ну, пока!

— Ладно, — сказала я, очень довольная, что у меня есть тридцать центов и Сесил.

Мы с Сесилом прошли через боковую дверь в зал, а потом за кулисы. Я отделалась от своего костюма и поскорей убежала, пока меня не заметила миссис Мерриуэзер — она стояла у столика перед первым рядом и второпях что-то чёркала и исправляла в своей шпаргалке.

— У тебя сколько денег? — спросила я Сесила.

У него тоже оказалось тридцать центов, значит мы равны. Первым делом мы потратили по пять центов на комнату ужасов, но она нас ни капельки не ужаснула: мы вошли в тёмный седьмой класс, и поселившийся здесь на время вампир повёл нас вдоль стен и велел трогать разные непонятные предметы и уверял, что это разные куски разрезанного человека.

— Вот глаза, — сказал вампир, и мы нащупали на блюде две виноградины без кожицы.

— Вот сердце, — на ощупь оно напоминало сырую печёнку.

— А вот его кишки, — и вампир ткнул наши руки в тарелку холодных макарон.

Мы обошли ещё несколько развлечений. Купили по мешочку восхитительно вкусного печенья, которым прославилась миссис Тейлор. Я хотела попытаться счастья — поймать ртом яблоко, плавающее в сиропе, но Сесил сказал: это не-ги-ги-енично. Его мама сказала, так можно подхватить какую-нибудь заразу — ведь я не первая пробую.

— У нас в Мейкомбе сейчас нет никакой заразы, — заспорила я.

Но Сесил сказал — его мама говорит, есть после чужих не-ги-ги-енично. Я потом спросила тётю Александру, и она сказала — так рассуждают только выскочки.

Мы хотели купить помадки, но тут прибежали гонцы миссис Мерриуэзер и сказали, чтоб мы шли за кулисы — скоро нам представлять. Зал заполнялся народом; перед сценой, внизу, уже занял свои места мейкомбский школьный оркестр; зажглись огни рампы, и красный бархатный занавес волновался и ходил ходуном, такая за ним поднялась суматоха.

За кулисами мы с Сесилом попали в узкий коридор, битком набитый взрослыми в самодельных треуголках, в шапках армии конфедератов и времён войны с испанцами, в касках времён мировой войны. Ребята в костюмах, которые должны были изображать всевозможные дары сельского

хозяйства, теснились у маленького окошка.

— Кто-то смял мой костюм! — жалобно закричала я.

Галопом примчалась миссис Мерриуэзер, расправила сетку и втиснула меня внутрь.

— Жива, Глазастик? — спросил Сесил. — У тебя голос прямо как из подземелья.

— И у тебя тоже, — сказала я.

Оркестр заиграл гимн, и слышно было, что все встали. Потом забил турецкий барабан. Миссис Мерриуэзер объявила из-за столика:

— Округ Мейкомб — *ad astra per aspera*.

Опять ударил турецкий барабан.

— Это значит, — перевела миссис Мерриуэзер для невежд, — из грязи — к звёздам. — И добавила неизвестно зачем: — Живая картина.

— А то они без неё не поймут, — прошептал Сесил, но на него сразу же шикнули.

— Весь город это знает, — еле слышно прошептала я.

— А загородные? — сказал Сесил.

— Потихе там! — прикрикнул мужской голос, и мы замолчали.

Опять пробил турецкий барабан. И миссис Мерриуэзер похоронным голосом стала рассказывать про округ Мейкомб. Он самый старый во всём штате, когда-то он был частью территорий Миссисипи и Алабамы; первым из белых людей в эти девственные леса вступил пятиродный прадедушка нашего судьи по наследственным делам — и пропал без вести. Потом сюда пришёл бесстрашный полковник Мейкомб, в честь которого и назван наш округ.

Генерал Эндрю Джексон облёк его властью, но неуместная самонадеянность полковника Мейкомба и неумение ориентироваться навлекли несчастье на всех, кто участвовал вместе с ним в сражениях с индейцами племени Ручья. Полковник Мейкомб во что бы то ни стало хотел отвоевать этот край для демократии, но его первый поход стал для него последним. Через гонца — индейца из дружественного племени ему был передан приказ: двигаться на юг. Чтобы узнать, где юг, полковник сверился с лишайником на деревьях, а подчинённым, которые хотели было указать ему на ошибку, не дал рта раскрыть и отправился в поход с твёрдым намерением разгромить врага, но вместо этого завёл свои войска на северо-запад, в первобытные дебри, и лишь много позже их вывели оттуда поселенцы, передвигавшиеся в глубь страны.

Миссис Мерриуэзер рассказывала про подвиги полковника Мейкомба целых полчаса, а тем временем я сделала открытие: если согнуть колени,

ноги умецаются под костюмом, и тогда можно кое-как посидеть. Я сидела, слушала жужжание миссис Мерриуэзер попеременно с грохотом барабана и незаметно уснула крепким сном.

После мне рассказали, что было дальше: миссис Мерриуэзер подошла к грандиозному финалу: «О-ко-рок», — проворковала она спокойно и уверенно, ибо и сосны и восковая фасоль являлись мгновенно. Подождала чуть-чуть, потом позвала погромче: «Око-рок!» Но ничто не явилось, и тогда она крикнула во весь голос: «Окорок!!!»

Наверно, сквозь сон я её услышала, а может быть, меня разбудил оркестр — он заиграл гимн южных штатов, но я выбрала для своего появления ту самую минуту, когда миссис Мерриуэзер торжественно развернула на сцене флаг штата. Не то что выбрала, просто мне захотелось быть вместе со всеми.

Мне потом рассказали, судья Тейлор выскочил из зала и так хохотал и хлопал себя по коленкам — миссис Тейлор даже принесла ему воды и какую-то пилюлю.

Миссис Мерриуэзер не зря старалась, успех был огромный, все кричали и хлопали, но всё равно она поймала меня за кулисами и сказала: я погубила её живую картину. Я готова была сквозь землю провалиться, но тут за мной пришёл Джим, и он мне посочувствовал. Он сказал, с того места, где он сидел, меня и видно-то не было. Не пойму, как он догадался, какая я несчастная, я ведь ещё не вылезла из костюма, но он сказал — я всё делала как надо, просто немножко опоздала, вот и всё. Когда всё совсем плохо, Джим теперь умеет утешить почти как Аттикус. Но Джим не уговорил меня показаться на люди и согласился ждать за кулисами, пока все не уйдут из зала.

— Хочешь снять эту штуку, Глазастик? — спросил он.

— Не хочу, — сказала я. — Так и пойду.

Пускай никто не видит, как мне плохо.

— Подвезти вас домой? — спросил кто-то.

— Нет, сэр, спасибо, — сказал Джим. — Нам совсем близко.

— Берегитесь привидений, — посоветовал тот же голос. — А вернее сказать, пускай привидения берегутся Глазастика.

— Ну вот, уже почти никого нет, — сказал Джим. — Пошли.

Мы через зал прошли в коридор и спустились по лестнице. На улице по-прежнему было темным-темно. Несколько машин ещё не отъехали, но они стояли по другую сторону школы, и от их фар нам было мало толку.

— Если кто-нибудь поедет в нашу сторону, нам будет виднее, — сказал Джим. — Слушай, Глазастик, давай я буду держать тебя за косточку. А то

как бы ты не потеряла равновесие.

— Мне всё видно.

— Ну, да, но вдруг ты потеряешь равновесие.

Что-то легонько надавило мне на макушку, наверно, Джим ухватился за ножку окорока.

— Чувствуешь?

— Угу...

Мы пошли тёмным школьным двором, и я всё время глядела под ноги, но ничего не было видно.

— Джим, — сказала я, — я забыла туфли, они там, за сценой.

— Ладно, пошли назад. — Но только мы повернули, свет в окнах погас. — Завтра возьмёшь, — сказал Джим.

— Так ведь завтра воскресенье, — возразила я, когда Джим повернул меня к дому.

— Попросишь сторожа, он тебя впустит... Глазастик...

— А?

— Нет, ничего.

Джим долго молчал. Интересно, про что он думает. Сам скажет, когда захочет, — наверно, когда придём домой. Его рука надавила мне на макушку, по-моему, уж слишком сильно. Я мотнула головой.

— Джим, ну чего ты?...

— Помолчи минуту, Глазастик, — сказал он и сильнее сжал ножку окорока.

Дальше мы шли молча.

— Минута уже прошла, — сказала я. — Про что ты всё время думаешь? — я повернулась к Джиму, но было так темно, лица совсем не видать.

— Мне что-то послышалось, — сказал он. — Постой-ка.

Мы остановились.

— Слышишь что-нибудь? — спросил Джим.

— Нет.

Через пять шагов он снова меня остановил.

— Джим, ты что, хочешь меня напугать? Я уже не маленькая, я...

— Тише, — сказал Джим, и я поняла: он меня не разыгрывает.

Вечер был совсем тихий. Я даже слышала дыхание Джима. Изредка по моим босым ногам пробежал ветерок, а ведь когда мы шли в школу, он задувал вовсю. Сейчас всё стихло, как перед бурей. Мы прислушивались.

— Собака залаяла, — сказала я.

— Нет, не то, — сказал Джим. — Это слышно, когда мы идём, а

остановимся — и не слышно.

— Это мой костюм шуршит. А, знаю, просто ты меня разыгрываешь, потому что сегодня такой день.

Это я доказывала не Джиму, а себе, потому что, как только мы пошли, я поняла, про что он. Мой костюм тут был ни при чём.

— Это всё Сесил, — немного погодя сказал Джим. — Ну, теперь он нас не проведёт. Пойдём потише, пускай не думает, что мы трусим.

Теперь мы ползли, как черепахи. Я спросила, как это Сесил идёт за нами в такой темнотище и почему же он на нас не наткнулся.

— А я тебя вижу, Глазастик, — сказал Джим.

— Как же так? А мне тебя не видно.

— У тебя полоски сала светятся. Миссис Креншо намазала их светящейся краской, чтоб они блестели. Я тебя очень хорошо вижу, и Сесилу, наверно, тебя видно, вот он за нами и идёт. Ладно же, пускай не думает, что провёл нас.

Я вдруг обернулась и закричала во всё горло:

— Сесил Джейкобс — мокрая ку-урица!

Мы остановились. Но Сесил не отозвался, только где-то у школы откликнулось эхо: «Ку-урица!»

— Вот я его, — сказал Джим. — Э-эй!!

«Эй-эй-эй-эй», — откликнулась школа.

Что-то не похоже на Сесила — так долго терпеть: раз уж ему удался какой-нибудь фокус, он его сорок раз повторит. Сесил бы уже давно на нас прыгнул.

Джим опять меня остановил. Потом сказал очень тихо:

— Глазастик, ты можешь снять с себя эту штуку?

— Могу, но ведь на мне почти ничего нет.

— Твоё платье у меня.

— В темноте мне его не надеть.

— Ладно, — сказал он. — Ничего.

— Джим, ты боишься?

— Нет. Мы, наверно, уже около дуба. А там уже и дорога в двух шагах.

И уличный фонарь видно.

Джим нарочно говорил медленно, очень ровным голосом. Интересно, долго ещё он будет рассказывать мне сказки про Сесила?

— Давай запоём, а, Джим?

— Не надо. Тише, Глазастик, не шуми.

Мы шли всё так же медленно. Ведь если пойти быстрее, непременно ушибёшь палец или споткнёшься о камень. Джим знает это не хуже меня, и

он помнит, что я босиком. Может, это ветер шумит в деревьях. Да, но ветра никакого нет, и деревьев тут нет, один только старый дуб.

Наш спутник шаркал и волочил ноги, будто у него тяжёлые башмаки. И на нём холщовые штаны, я думала, это шелестят листья, а это его штаны шуршат и шуршат на каждом шагу.

Песок у меня под ногами стал холодный — значит, мы у самого дуба. Джим надавил мне на макушку. Мы остановились и прислушались.

На этот раз шарканье продолжалось. Холщовые штаны всё шуршали и шуршали. Потом всё стихло. Потом он побежал, он бежал прямо на нас, тяжело, неуклюже — мальчишки так не бегают.

— Беги, Глазастик! Беги! — закричал Джим.

Я сделала один огромный шаг и чуть не упала: руки у меня были всё равно что связаны, кругом тьма — разве тут удержишь равновесие.

— Джим, помоги! Джим!

Что-то смяло на мне проволочную сетку. Железо чиркнуло о железо, я упала на землю и откатилась подальше. Я изо всех сил барахталась и извивалась, стараясь вырваться из своей клетки. Где-то совсем рядом дрались, топали, тяжело возили ногами и всем телом по земле, по корням. Кто-то подкатился ко мне — Джим! Он мигом вскочил и потащил меня за собой, но я совсем запуталась в проволоке, я успела высвободить только голову и плечи, и мы недалеко ушли.

Мы были уже у самой дороги, как вдруг Джим отдёргнул руку и опрокинулся на землю. Опять послышался шум драки, что-то хрустнуло, и Джим пронзительно крикнул.

Я кинулась на крик и налетела на чей-то живот. Человек охнул и хотел схватить меня за руки, но они были под костюмом. Живот у него был мягкий, но руки как железо. Он сдавил меня так, что я не могла вдохнуть. И пошевелиться не могла. Вдруг его рвануло в сторону, он опрокинулся на землю и чуть не повалил меня тоже. Наверно, это Джим подоспел.

Иногда соображаешь очень медленно. Меня совсем оглушило, и я стояла столбом. Шум драки затихал; кто-то захрипел, и опять стало очень тихо.

Тихо, только кто-то дышит тяжело-тяжело и спотыкается. Кажется, он подошёл к дубу и прислонился к нему. И страшно закашлялся, со всхлипом, его всего так и колотило.

— Джим?

Никакого ответа, только тяжёлое дыхание совсем близко.

— Джим?

Джим не отвечал.

Тот человек отошёл от дуба, начал шарить в темноте — наверно, что-то искал. Потом он протяжно, со стоном вздохнул и потащил по земле что-то тяжёлое. И тут я начала понимать, что под дубом нас уже четверо.

— Аттикус?...

Кто-то тяжёлыми, неуверенными шагами уходил к дороге.

Я пошла к тому месту, где, как мне казалось, он только что стоял, и принялась торопливо шарить ногами по земле. Скоро я на кого-то наткнулась.

— Джим?

Босой ногой я нащупала штаны, пряжку пояса, пуговицы, потом что-то непонятное, потом воротник и лицо. На лице колючая щетина — нет, это не Джим. Запахло винным перегаром.

Я побрела туда, где, я думала, проходит дорога. Я не знала, верно ли иду — ведь меня столько раз поворачивали в разные стороны. Но я всё-таки вышла на дорогу и увидела уличный фонарь. Под фонарём шёл человек. Шёл неровными шагами, будто нёс что-то очень тяжёлое. Он повернул за угол. Он нёс Джима. Рука у Джима свисала перед ним и как-то нелепо болталась.

Когда я дошла до угла, человек уже шёл по нашему двору. Открылась дверь, из неё упал свет, на секунду я увидела Аттикуса — он сбежал с крыльца, вдвоём они внесли Джима в дом.

Я дошла до двери, а они уже шли по коридору. Навстречу мне бежала тётя Александра.

— Позвони доктору Рейнолдсу! — крикнул из комнаты Джима Аттикус. — Где Глазастик?

— Она здесь! — И тётя Александра потащила меня к телефону. Она очень торопилась, и я не поспевала за ней.

— Я сама дойду, тётя, — сказала я. — Вы лучше звоните.

Она схватила трубку.

— Дайте мне доктора Рейнолдса, Юла Мэй, скорее! Отец дома, Эгнес? О господи, где же он? Пожалуйста, как только он вернётся, скажите, чтобы шёл к нам. Пожалуйста, это очень срочно!

Тёте Александре незачем было называть себя, в Мейкомбе все знают друг друга по голосу.

Из комнаты Джима вышел Аттикус. Не успела тётя Александра дать отбой, Аттикус выхватил у неё трубку. Постучал по рычагу, потом сказал:

— Пожалуйста, соедините меня с шерифом, Юла Мэй. Гек? Это Аттикус Финч. Кто-то напал на моих детей. Джим ранен. Между нашим домом и школой. Я не могу отойти от мальчика. Пожалуйста, съездите туда

за меня, посмотрите, может быть, он ещё недалеко ушёл. Вряд ли вы его сейчас найдёте, но, если найдёте, я хотел бы на него взглянуть. А теперь мне надо идти. Спасибо, Гек.

— Аттикус, Джим умер?

— Нет, Глазастик. Займись ею, сестра! — крикнул он уже из коридора.

Трясущимися пальцами тётя Александра стала распутывать на мне смятый, изорванный костюм на проволочной сетке. Не сразу ей удалось меня освободить.

— Ты цела, детка? — опять и опять спрашивала она.

Какое это было облегчение — вылезти наружу! Руки у меня уже затекли, и на них отпечатались красные шестиугольники. Я стала их растирать, и они немного отошли.

— Тётя, Джим умер?

— Нет... нет, детка, он без сознания. Вот придёт доктор Рейнолдс, тогда мы узнаем, насколько серьёзно он ранен. Что с вами случилось, Джин Луиза?

— Не знаю.

Больше она не спрашивала. Она пошла и принесла мне одеться; если бы мне тогда это пришло в голову, я бы уж не дала ей про это забыть: тётя была так расстроена, что принесла мне комбинезон!

— На, оденься, детка, — сказала она и подала мне ту самую одежду, которую всегда терпеть не могла.

Она побежала к Джиму, потом опять вышла ко мне в прихожую. Рассеянно погладила меня и опять ушла к Джиму.

К дому подъехала машина. Шаги доктора Рейнолдса я знала не хуже, чем шаги Аттикуса. Он помог нам с Джимом появиться на свет и пройти через все детские болезни, какие только существуют; он лечил Джима, когда Джим вывалился из нашего домика на платане; и мы с ним всегда оставались друзьями. Доктор Рейнолдс говорил, а будь мы не такие отходчивые, было бы по-другому, но мы ему не поверили.

Он стал на пороге и сказал:

— Боже милостивый! — и пошёл было ко мне, потом сказал: — Ну, ты по крайней мере на ногах. — И повернул прочь. Он знал в нашем доме каждый закоулок. И знал: если мне плохо пришлось, значит и Джиму не лучше.

Прошло десять тысячелетий, и доктор Рейнолдс вернулся.

— Джим умер? — спросила я.

— Ничего подобного, — сказал доктор и присел передо мной на корточки. — У него шишка на лбу, точь-в-точь как у тебя, и сломана рука.

Посмотри-ка сюда, Глазастик... Нет, головой не верти, только скоси глаза. А теперь вон в ту сторону. Перелом у него скверный, насколько могу сейчас судить, — в локте. Похоже, что кто-то старался открутить ему руку напрочь... Теперь посмотри на меня.

— Значит, он не умер?

— Да нет же! — Доктор Рейнолдс поднялся. — Сегодня мы мало что можем сделать, только устроить его поудобнее. Надо будет сделать рентгеновский снимок... вероятно, придётся на время положить руку в гипс. Но ты не беспокойся, он будет у нас как новенький. У мальчишек всё заживает в два счёта.

Доктор Рейнолдс говорил, а сам всё разглядывал меня и осторожно ощупывал шишку, которая вздувалась у меня на лбу.

— А у тебя нигде ничего не сломано, как тебе кажется? — пошутил он. Я невольно улыбнулась.

— Значит, по-вашему, он не умер, нет?

Доктор Рейнолдс надел шляпу.

— Ну, понятно, я могу и ошибаться, но, по-моему, он даже очень живой. Все симптомы налицо. Поди взгляни на него, а когда я вернусь, мы с тобой решим окончательно.

У доктора Рейнолдса походка молодая и лёгкая. Мистер Гек Тейт ходит по-другому. Под его тяжёлыми башмаками веранда так и застонала, и дверь он отворил неуклюже, но на пороге он ахнул, совсем как доктор Рейнолдс. Потом спросил:

— Ты цела, Глазастик?

— Да, сэр, я пойду к Джиму. Аттикус и все тоже там.

— Я с тобой, — сказал мистер Тейт.

Тётя Александра заслонила лампу в изголовье Джима полотенцем, и в комнате было полутемно. Джим лежал на спине. Одна щека у него была разбита. Левая рука торчала вбок и согнулась в локте, только не в ту сторону, в какую надо. Джим хмурил брови.

— Джим?...

— Он тебя не слышит, Глазастик, — сказал Аттикус, — он выключен, знаешь, как радио выключают. Он уже приходил в себя, но доктор Рейнолдс его усыпил.

— Да, сэр.

Я отошла к стене. Комната Джима большая, квадратная. В качалке у камина сидит тётя Александра. В углу стоит тот человек, который принёс Джима, он прислонился к стене. Какой-то незнакомый — видно, из загородных. Наверно, смотрел наше представление, а потом оказался

поблизости, когда всё это случилось. Услыхал, наверно, наши крики и прибежал на выручку.

Аттикус стоял у постели Джима.

Мистер Гек Тейт остановился на пороге. Шляпу он держал в руке, карман штанов оттопыривался — видно было, что там фонарик. Мистер Тейт был в своей охотничьей куртке, бриджах и высоких сапогах.

— Входите, Гек, — сказал Аттикус. — Нашли что-нибудь? Не представляю, какой негодяй способен на такое, но, надеюсь, вы его найдёте.

Мистер Тейт посопел носом. Пронзительно посмотрел на человека в углу, кивнул ему, потом обвёл взглядом комнату — посмотрел на Джима, на тётю Александру, потом на Аттикуса.

— Присядьте, мистер Финч, — предложил он.

— Давайте все сядем, — сказал Аттикус. — Вот вам стул, Гек. Я принесу другой из гостиной.

Мистер Тейт подсел к письменному столу Джима. Подождал Аттикуса — он вернулся и тоже сел. Почему-то он не принёс стула для человека в углу; но ведь Аттикус знает привычки фермеров лучше, чем я. Иногда придет к нему кто-нибудь из глуши за советом, привяжет своего мула во дворе под платаном, и Аттикус так и беседует с ним на заднем крыльце. Этому, наверно, тоже уютнее там, в углу.

— Мистер Финч, — сказал шериф, — сейчас я вам скажу, что я там нашёл. Нашёл платье какой-то девочки — оно у меня в машине. Это твоё, Глазастик?

— Да, сэр, если розовое и со сборками.

Мистер Тейт вёл себя так, будто давал показания в суде. Он любит рассказывать всё по-своему, чтоб ни прокурор, ни защитник ему не мешали, и иногда это получается довольно длинно.

— Ещё я нашёл какие-то клочки бурой материи...

— Это мой костюм, мистер Тейт.

Мистер Тейт погладил свои колени. Потёр левую руку и стал рассматривать каминную полку, потом его, кажется, очень заинтересовал сам камин. Потом он стал ощупывать пальцами нос.

— В чём дело, Гек? — сказал Аттикус.

Мистер Тейт поднял руку и потёр себе сзади шею.

— Там на школьном дворе под дубом лежит Боб Юэл, и между рёбер у него торчит кухонный нож. Он мёртв, мистер Финч.

Тётя Александра встала и ухватила за каминную полку. Мистер Тейт поднялся и хотел ей помочь, но она только покачала головой. Аттикусу первый раз в жизни изменила его всегдашняя учтивость, он так и остался сидеть.

Мне почему-то всё вспоминалось, как мистер Боб Юэл тогда сказал — дай только срок, он с Аттикусом расправится. Он чуть не расправился с Аттикусом, и на этом ему пришёл конец.

— Вы уверены? — каким-то тусклым голосом спросил Аттикус.

— Как есть мёртвый, — подтвердил мистер Тейт. — Окончательно и бесповоротно. Больше он вашим детишкам ничего плохого не сделает.

— Я не о том...

Аттикус говорил как во сне. Стало видно, какой он старый, — только по этому всегда и можно узнать, что у него нехорошо на душе: упрямый подбородок обмяк, морщины вдоль щёк сделались глубже, и уже не так заметно, что волосы у него чёрные как смоль, зато сразу замечаешь, что виски седые.

— Может быть, перейдём в гостиную? — сказала, наконец, тётя Александра.

— С вашего позволения, я бы предпочёл остаться здесь, если только это Джиму не вредно, — сказал мистер Тейт. — Я бы хотел взглянуть на его ранения, а Глазастик нам пока что расскажет... как всё это было.

— Вы разрешите мне уйти? — спросила тётя Александра. — Сейчас я тут не нужна. Аттикус, если я понадобится, я буду у себя. — Тётя Александра пошла к двери, но вдруг остановилась и обернулась. — У меня сегодня было предчувствие, Аттикус, — начала она. — Я... это всё моя вина. Мне надо было...

Мистер Тейт поднял руку.

— Идите отдыхать, мисс Александра. Я понимаю, вы переволновались. Только вы себя не мучайте... ведь это если на всякое предчувствие обращать внимание, так и с места не сойдёшь — знаете, вроде кошки, которая ловит себя за хвост. Мисс Глазастик, попробуй-ка нам рассказать, как было дело, покуда не забыла. Ладно? Вы видели, что он за вами идёт?

Я подошла к Аттикусу, и он меня обнял. Я уткнулась головой ему в колени.

— Мы пошли домой. Я сказала — Джим, я забыла туфли. Мы хотели вернуться, а тут в школе погас свет. Джим сказал — возьмишь туфли завтра...

— Подними голову, Глазастик, а то мистериу Тейту ничего не слышно, — сказал Аттикус.

Я забралась к нему на колени.

— Потом Джим сказал — помолчи минуту. Я думала, это он про что-нибудь думает, он не любит, когда ему мешают думать... а потом он сказал — ему что-то послышалось. Мы думали, это Сесил.

— Какой Сесил?

— Сесил Джейкобс. Он нас сегодня один раз напугал, мы и подумали, это опять он. Он сегодня был корова. За лучший костюм давали приз — четвертак. Только я не знаю, кто его получил.

— Где вы с Джимом были, когда подумали, что это Сесил?

— Совсем близко от школы. Я ему покричала...

— Что покричала?

— Сесил Джейкобс — жирная курица, что ли. Он ничего не ответил... Тогда Джим заорал ему «эй» или ещё что-то, да громко, во всё горло...

— погоди минуту, Глазастик, — сказал мистер Тейт. — Вы слышали, как они кричали, мистер Финч?

Аттикус сказал — нет. У него было включено радио. И у тётки Александры в спальне тоже. Он это помнит, потому что она попросила, чтоб он у себя немножко приглушил, а то ей ничего не слышно. Аттикус улыбнулся:

— Я всегда включаю радио на всю катушку.

— Интересно, а соседи что-нибудь слышали? — сказал мистер Тейт.

— Вряд ли, Гек. Почти все вечером тоже слушают радио или ложатся с петухами. Может быть, Модии Эткинсон ещё не спала, да и то вряд ли.

— Рассказывай, Глазастик, — сказал мистер Тейт.

— Ну, Джим покричал, и мы пошли дальше. Мистер Тейт, у меня голова в этом костюме была закутанная, но тогда я уже и сама слышала. Шаги слышала. Мы идём — и за нами кто-то идёт, мы остановимся — и он остановится. Джим сказал — ему меня видно, потому что миссис Креншо намазала мой костюм светящейся краской. Я была окорок.

— Как так? — удивился мистер Тейт.

Аттикус объяснил ему, что я представляла и как был устроен мой костюм.

— Вы бы её видели, когда она пришла домой, — сказал он. — Вся эта конструкция превратилась в кашу.

Мистер Тейт потёр подбородок.

— А я не мог понять, откуда на нём эти знаки. Рукава у него все в мелких дырочках. И в нескольких местах под этими дырочками руки чем-то проколоты. Дайте-ка мне взглянуть на эту штуку, сэр.

Аттикус принёс жалкие остатки моего наряда. Мистер Тейт поворочал их и так и сяк и расправил, чтобы понять, как было раньше.

— Похоже, что эта штука спасла ей жизнь, — сказал он. — Посмотрите.

Длинным пальцем он ткнул в мой костюм. На тусклой проволочной сетке ярко блестела царапина.

— Боб Юэл знал, чего хочет, — пробормотал мистер Тейт.

— Он был не в своём уме, — сказал Аттикус.

— Уж извините, мистер Финч, только вы сильно ошибаетесь. Никакой он был не сумасшедший, просто подлец подлецом. Гад ползучий, расхрабрился спьяну убивать детишек. С вами-то сойтись лицом к лицу храбрости не хватило.

Аттикус покачал головой.

— Не могу себе представить, чтобы человек был способен...

— Есть такая порода людей, мистер Финч, их надо приканчивать без разговоров, да и то обидно пулю тратить. Вот и Юэл был такой.

— Я думал, в тот день, когда он грозился меня убить, он отвёл душу — и дело с концом. А уж если ему этого мало, он со мной и расправится.

— Ну, нет! Пакостить несчастной негритянке — вот это пожалуйста, и судье Тейлору — тоже, когда он думал, что судьи дома нет. Но неужели, по-вашему, он посмел бы с вами повстречаться лицом к лицу среди бела дня? — Мистер Тейт вздохнул. — Рассказывай, дальше, Глазастик. Значит, ты услышала, что он идёт за вами...

— Да, сэр. Когда мы дошли до старого дуба...

— А откуда ты в такой темноте узнала, что вы дошли до старого дуба?

— Я шла босиком, а Джим говорит, под деревом земля всегда холоднее.

— Придётся сделать его помощником шерифа. Давай дальше.

— Тогда меня вдруг что-то схватило и смяло мой костюм... Кажется, я присела и вывернулась... Слышу, под дубом вроде дерутся... как будто они всё налетали на него и стучались. Джим меня нашёл и потащил к дороге. Кто-то... мистер Юэл, наверно, дёрнул его и повалил. Они ещё подрались, потом как-то странно захрустело... Джим как закричит...

Я запнулась. Так вот что это было — у Джима сломалась рука.

— Ну вот, Джим как закричит, и больше я его не слышала, а потом...

мистер Юэл, наверно, хотел задавить меня до смерти... потом кто-то его дёрнул и повалил. Я думала, это Джим подроспел. Больше я ничего не знаю...

— А дальше что было? — Мистер Тейт так и уставился на меня.

— Кто-то там ходил, и спотыкался, и всё пыхтел, и кашлял... прямо разрывался. Сперва я думала, это Джим, только по голосу было не похоже, и я стала искать Джима на земле. Я думала, это Аттикус пришёл нас выручать и очень устал...

— Кто же это был?

— Да вот он, мистер Тейт, пускай он вам сам скажет, как его зовут.

И я чуть было не ткнула пальцем в того человека в углу, но поскорей опустила руку, пока Аттикус не рассердился. Ведь показывать пальцем невежливо.

Тот человек всё стоял у стены. Он всё время так стоял, с тех пор как я вошла в комнату, — прислонился к стене и руки скрестил на груди. Когда я стала на него показывать, он опустил руки и дотронулся до стены. Руки у него были совсем белые, будто он никогда не бывал на солнце; в комнате у Джима было довольно темно, а стена кремовая, и даже удивительно, как на ней выделялись эти белые-белые руки.

После рук я посмотрела на его штаны хаки, они были все в песке, а грубая бумажная рубашка разорвана. Он был очень худой, лицо тоже совсем белое, как руки, только подбородок немножко темнее. Худые щёки ввалились; рот большой; виски впалые, как будто в них ямки; а серые глаза светлые-светлые, мне даже показалось — он слепой. И на макушке редкие бесцветные волосы, прямо как пух.

Когда я стала показывать на него пальцем, руки у него съехали по стене, и на ней остались пятна, потому что ладони вспотели, и он взял и зацепился большими пальцами за пояс. Его как-то передёрнуло, будто ножом царапнули по стеклу, а я всё смотрела на него разинув рот, и под конец лицо у него сделалось не такое деревянное. Он тихонько улыбнулся, и тогда у меня на глазах почему-то выступили слёзы, и лицо нашего соседа вдруг расплылось.

— Привет, Страшила! — сказала я.

— Мистер Артур, дружок, — мягко поправил меня Аттикус. — Джин Луиза, это мистер Артур Рэдли. Думаю, что ты ему уже знакома.

Уж если Аттикус мог в такой час по всем правилам представить меня Страшиле Рэдли... ну, на то он и Аттикус.

Я невольно кинулась к постели Джима. Страшила посмотрел на меня и опять тихо, робко улыбнулся. Мне от стыда стало жарко, и я сделала вид, будто хотела только поправить на Джиме одеяло.

— Нет, нет, не трогай его! — сказал Аттикус.

Мистер Гек Тейт через свои роговые очки в упор смотрел на Страшилу. Он уже хотел что-то сказать, но тут в прихожей послышались шаги доктора Рейнолдса.

— Вы все здесь, — сказал он с порога. — Добрый вечер, Артур, в первый раз я вас не заметил.

Удивительное дело, голос у него был такой же бодрый и непринуждённый, как походка, будто он вот так здоровался со Страшилой каждый день всю свою жизнь. Эхо было, пожалуй, ещё удивительней, чем то, что Страшила тут, у нас в комнате... хотя... ну да, ведь и Страшила Рэдли тоже, наверно, иногда болеет. А может быть, и нет.

Доктор Рейнолдс принёс с собой что-то большое, завёрнутое в газету. Он положил этот свёрток на письменный стол Джима и снял пиджак.

— Ну, теперь ты сама видишь, что он живой? — сказал мне доктор Рейнолдс. — Сейчас я тебе скажу, как я это узнал. Когда я начал его осматривать, он меня здорово лягнул. Пришлось его прочно усыпить, а то он не давал до себя дотронуться. Ну, брысь отсюда!

— Э-э... — начал Аттикус и покосился на Страшилу. — Пойдёмте на веранду, Гек. Стульев там сколько угодно, и ещё не так прохладно.

Почему это Аттикус приглашает нас не в гостиную, а на веранду? А, понятно: в гостиной очень яркий свет.

Мы гуськом пошли из комнаты за мистером Тейтом — Аттикус ждал его у двери и хотел было пойти первым, но передумал и пропустил его вперёд.

Странная у людей привычка — при самых удивительных обстоятельствах они ведут себя как ни в чём не бывало. И я, оказывается, тоже.

— Идёмте, мистер Артур, — вдруг сказала я. — А то как бы вам у нас

тут не запутаться. Вы ведь не очень хорошо знаете дорогу. Сейчас я вас провожу на веранду, сэр.

Он посмотрел на меня сверху вниз и кивнул.

Я вывела его через прихожую, мимо гостиной, на веранду.

— Может быть, присядете, мистер Артур? Эта качалка очень удобная.

Когда-то мне почти так и представлялось: он сидит на веранде... просто прелесть что за погода, правда, мистер Артур?

Да, погода просто прелесть. Как во сне, я отвела его к той качалке, которая была подальше от Аттикуса и мистера Тейта. Она стояла в самой тени. В темноте Страшиле будет уютнее.

Аттикус сел на качели, мистер Тейт — в кресло рядом. На них падал яркий свет из окон гостиной. Я села возле Страшилы.

— Так вот, Гек, — заговорил Аттикус, — мне кажется, прежде всего нужно... о господи, никак не соберусь с мыслями... — Аттикус сдвинул очки на лоб и прижал пальцы к глазам. — Джиму ещё нет тринадцати... или уже исполнилось... никак не вспомню. Как бы то ни было, этим займётся окружной суд...

— Чем займётся, мистер Финч? — Мистер Тейт подался вперёд в своём кресле.

— Разумеется, это чистейшая самозащита, но мне надо пойти в контору и перечитать статью...

— Мистер Финч, вы что? По-вашему, Боба Юэла убил Джим? Так, что ли?

— Вы же слышали, что говорит Глазастик, тут нет никаких сомнений. Она говорит — Джим подрос и оторвал от неё Юэла... вероятно, в темноте он как-то перехватил у Юэла нож... завтра мы это выясним.

— Стоп, мистер Финч, — сказал мистер Тейт. — Джим вовсе не ударил Боба Юэла ножом.

Минуту Аттикус молчал. Он так посмотрел на мистера Тейта, будто взвешивал его слова. А потом покачал головой.

— Это очень великодушно с вашей стороны, Гек, и я понимаю, в вас говорит ваше доброе сердце, но не вздумайте ничего такого затевать.

Мистер Тейт поднялся и подошёл к перилам. Сплюнул в кусты, потом сунул руки в карманы штанов и повернулся к Аттикусу.

— Чего не затевать? — спросил он.

— Извините мою резкость, — просто сказал Аттикус, — но я не допущу, чтобы эту историю замяли. Для меня это невозможно.

— Никто и не собирается ничего замять, мистер Финч.

Мистер Тейт говорил спокойно, но так упрямо расставил ноги, будто

врос в пол. Между моим отцом и шерифом шёл какой-то непонятный поединок.

Настал черёд Аттикуса подняться и подойти к перилам. «Э-кхм!» — сказал он и тоже сплюнул во двор. Сунул руки в карманы и повернулся к мистеру Тейту.

— Вы не сказали этого вслух, Гек, но я знаю, о чём вы думаете. Спасибо вам за это. Джин Луиза... — Он обернулся ко мне. — Ты говоришь, Джим оттащил от тебя мистера Юэла?

— Да, сэр, тогда я так подумала... я...

— Вот видите, Гек? Огромное вам спасибо, но я не желаю, чтобы мой сын вступал в жизнь с таким грузом на совести. Самое лучшее — сделать всё в открытую. Пускай люди знают всё, как есть, пускай будет суд. Я не желаю, чтобы у него за спиной всю жизнь шептались, чтобы кто-то мог о нём сказать: «А, Джим Финч... Пришлось его папаше раскошелиться, чтоб выволить его из той скверной истории». Чем скорее мы с этим покончим, тем лучше.

— Мистер Финч, — невозмутимо сказал мистер Тейт, — Боб Юэл напоролся на собственный нож. Он сам себя заколол.

Аттикус отошёл в угол веранды. И уставился на ветку глицинии. До чего они оба упрямые, каждый на свой лад! Интересно, кто первый уступит. У Аттикуса упрямство тихое, его почти никогда и не заметишь, а всё равно иногда он ужасно неподатливый, не хуже Канингеймов. Мистер Тейт не такой сдержанный, он так и рубит плеча, но он такой же упорный, как мой отец.

— Гек, — сказал Аттикус, всё ещё стоя к нам спиной, — замять это дело — значит просто-напросто закрыть для Джима дорогу, к которой я старался его подготовить. Иногда мне кажется, что я никуда не годный отец, но, кроме меня, у них никого нет. Прежде чем посмотреть на кого бы то ни было, Джим смотрит на меня, и я стараюсь жить так, чтобы всегда иметь право в ответ смотреть ему прямо в глаза... А если я пойду на такое попустительство, я уже не смогу спокойно встретить его взгляд, и с этой минуты он для меня потерян. Я не хочу терять его и Глазастика, кроме них, у меня ничего нет.

— Мистер Финч, — мистер Тейт всё ещё стоял, расставив ноги, будто врос в пол, — Боб Юэл упал и напоролся на собственный нож. Я могу это доказать.

Аттикус круто обернулся. Глубже засунул руки в карманы.

— Гек, неужели вы не можете меня понять? У вас тоже есть дети, но я старше вас. Когда мои дети станут взрослыми, я буду уже стариком, если

вообще до этого доживу, но сейчас я... если они перестанут верить мне, они вообще никому не будут верить. Джим и Глазастик знают, как всё это было на самом деле. Если они услышат, что я всем говорю, будто это случилось как-то по-другому... они для меня потеряны, Гек. Я не могу дома быть одним человеком, а на людях другим.

Мистер Тейт приподнялся на носках, опять опустился на пятки и терпеливо сказал:

— Он швырнул Джима наземь, споткнулся о корень дуба и — вот смотрите, я покажу.

Мистер Тейт вытащил из бокового кармана длинный складной нож. И тут на веранду вышел доктор Рейнолдс.

— Этот сукин... покойник там под дубом, доктор, сразу, как войдёте в школьный двор, — сказал ему мистер Тейт. — Есть у вас фонарь? Вот возьмите лучше мой.

— Я могу въехать во двор и зажечь фары, — сказал доктор Рейнолдс, но всё-таки взял у мистера Тейта фонарик. — Джим в порядке. До утра, думаю, не проснётся, так что вы не беспокойтесь. Это и есть нож, которым его убили, Гек?

— Нет, сэр, тот торчит в нём. Судя по рукоятке, обыкновенный кухонный нож. Кен со своими догами, верно, уже там, доктор, так что до свиданья.

Мистер Тейт неожиданно раскрыл нож.

— Вот как это было, — сказал он и сделал вид, что споткнулся: он наклонился, и левая рука с ножом дёрнулась вперёд и вниз. — Вот так, видите? Он его сам себе воткнул между рёбер. А потом повалился на него всей тяжестью и вогнал по рукоятку.

Мистер Тейт сложил нож и сунул в карман.

— Глазастик у восьми лет, — сказал он. — Она сильно испугалась и не могла толком понять, что происходит.

— Вы её ещё не знаете, — хмуро сказал Аттикус.

— Я не говорю, что она всё это сочинила, я говорю — она сильно испугалась и не могла толком понять, что происходит. Тьма была такая, хоть глаз выколи. Тут в свидетели годится только человек, привычный к темноте, такой, что видит не хуже кошки...

— Я на это не пойду, — тихо сказал Аттикус.

— О, чёрт подери, да я не о Джиме забочусь!

Мистер Тейт так топнул ногой, что в спальне мисс Моды зажёгся свет. И у мисс Стивени Кроуфорд зажёгся свет. Аттикус и мистер Тейт поглядели через дорогу, потом друг на друга. Помолчали.

Потом мистер Тейт заговорил тихо-тихо:

— Мистер Финч, мне очень неприятно с вами спорить, когда вы в таком состоянии. Не дай бог никому пережить такое, как вам нынче вечером. Не знаю, как вы ещё на ногах держитесь. Но одно я знаю — такой уж вышел случай, что вы, видно, не в силах понять самые простые вещи, а нам надо нынче же во всём разобраться, завтра будет уже поздно. *Боб Юэл напоролся на свой нож.*

И мистер Тейт стал говорить — зря Аттикус уверяет, будто у мальчишки такого роста и сложения, как Джим, да ещё со сломанной рукой, могло хватить пороху, чтобы в этакой темнотище сладить со взрослым мужчиной и убить его.

— Гек, — вдруг прервал его Аттикус, — а что это у вас за складной нож? Откуда вы его взяли?

— У одного пьяного, — хладнокровно ответил мистер Тейт.

Я изо всех сил старалась вспомнить. Мистер Юэл набросился на меня... потом упал... наверно, это Джим подрос. По крайней мере так я тогда подумала...

— Гек?

— Я же сказал — я отобрал этот нож сегодня в городе у одного пьяного. А тот кухонный нож Юэл, наверно, отыскал где-нибудь на свалке. Наточил его и ждал удобного случая... вот именно, ждал удобного случая.

Аттикус медленно вернулся к качелям и сел. Руки бессильно свесились между колен. Он опустил голову и смотрел в пол. Вот так медленно он двигался в ту ночь у тюрьмы, когда мне показалось — он целую вечность складывал газету.

Мистер Тейт неуклюже, но тихо бродил по веранде.

— Это не вам решать, мистер Финч, а мне. Я решаю, я и отвечаю. Такой уж вышел случай, хоть вы со мной и не согласны, а ничего вы тут не поделаете. А если и попробуете, я вам в лицо скажу, что это враньё, — и всё тут. Ваш Джим и не думал ударить ножом Боба Юэла, просто даже ничего похожего не было, так и знайте. Он хотел только живым добраться с сестрёнкой до дому.

Тут мистер Тейт перестал ходить взад-вперёд. Он остановился перед Аттикусом, спиной к нам.

— Не такой уж я хороший человек, сэр, но я шериф округа Мейкомб. Живу в этом городе весь век, а мне уже скоро сорок три. Я наперечёт знаю всё, что тут случилось за мою жизнь и ещё даже до моего рожденья. У нас тут умер чёрный, погиб ни за что ни про что, и тот, кто за это в ответе, тоже помер. И пускай на этот раз мёртвые хоронят своих мертвецов, мистер

Финч. Пускай мёртвые хоронят своих мертвецов.

Мистер Тейт шагнул к качелям и подобрал свою шляпу. Она лежала возле Аттикуса. Мистер Тейт откинул волосы со лба и надел шляпу.

— Я никогда ещё не слышал, чтоб это было против закона — сделать всё, что только в силах человека, лишь бы не совершилось преступление, а он именно так и поступил. Может, вы скажете, что мой долг — не молчать про это, а рассказать всему городу? А знаете, что тогда будет? Все наши милые леди, сколько их есть в Мейкомбе, и моя жена в том числе, станут ломиться к нему в дом и завалят его своими распрекрасными пирогами и тортами. Я так понимаю, мистер Финч, человек сослужил и вам и всему городу великую службу, и взять его, вот такого скромного и пугливого, и вытащить всем напоказ — по-моему, это просто грех. Это грех, и не хочу я, чтоб он был у меня на совести. Будь это кто угодно, кроме него, — дело другое. А с этим человеком так нельзя, мистер Финч.

Мистер Тейт усиленно старался провертеть каблуком дырку в полу. Подёргал себя за нос.

— Может, мне и не велика цена, мистер Финч, но я пока что шериф округа Мейкомб, и Боб Юэл упал и напоролся на свой нож. Доброй ночи, сэр!

Мистер Тейт протопал по веранде и зашагал со двора. Хлопнула дверца автомобиля, и он уехал.

Аттикус ещё долго сидел и смотрел себе под ноги. Наконец он поднял голову.

— Глазастик, — сказал он, — мистер Юэл упал на свой нож. Ты это понимаешь?

У Аттикуса было такое лицо — надо было его подбодрить. Я подбежала к нему и обняла и поцеловала изо всей силы.

— Ну, конечно, понимаю, — успокоила я его. — Мистер Тейт всё правильно говорил.

Аттикус высвободился и посмотрел на меня.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ну это было бы вроде как убить пересмешника, ведь правда?

Аттикус потёрся щекой о мою голову. Потом встал и пошёл через всю веранду в тень, и походка у него опять стала молодая и лёгкая. Он хотел уже войти в дом, но остановился перед Страшилой Рэдди.

— Спасибо вам за моих детей, Артур, — сказал он.

Страшила Рэдли зашаркал ногами и медленно поднялся, свет из гостиной заблестел у него на лбу. Он двигался так неуверенно, будто боялся, что не попадёт рукой или ногой туда, куда надо. Он опять страшно, хрипло закашлялся — ему даже пришлось сесть. Нащупал карман и вытащил носовой платок. Кашлянул в платок, потом утёр лоб.

Я так привыкла, что его нигде нет, а тут он всё время сидел рядом — даже не верится! И ни разу не шелохнулся.

И вот он опять поднялся на ноги. Повернулся ко мне и кивнул на дверь.

— Вы хотите попрощаться с Джимом, да, мистер Артур? Пойдёмте.

Я повела его через прихожую. У постели Джима сидела тётя Александра.

— Войдите, Артур, — сказала она. — Он ещё спит. Доктор Рейнолдс дал ему очень сильное снотворное. Отец в гостиной, Джин Луиза?

— Да, мэм, наверно.

— Пойду скажу ему два слова. Доктор Рейнолдс оставил кое-какие... — её голос затих в коридоре.

Страшила побрёл в угол, остановился там, вытянул шею и издали старался разглядеть Джима. Я взяла его за руку, странно — такая белая рука, а совсем тёплая. Я тихонько потянула его, он не стал упираться, и я подвела его к кровати.

Доктор Рейнолдс устроил над рукой Джима что-то вроде навеса, наверно, чтобы её не касалось одеяло; Страшила наклонился и заглянул поверх навеса. Лицо у него было такое испуганное и любопытное, как будто он сроду не видал живого мальчишки. Он даже рот приоткрыл и разглядывал Джима с головы до ног. Поднял руку и сразу опустил.

— Вы можете его погладить, мистер Артур, он спит. Вот если бы не спал, ни за что бы не дался, — сама не зная почему, объяснила я Страшילה. — Да вы не бойтесь!

Его рука нерешительно замерла над головой Джима.

— Ничего, сэр, не бойтесь, он спит.

Страшила тихонько погладил Джима по голове.

Я уже начинала понимать его без всяких слов. Другой рукой он крепче сжал мою руку и кивнул — значит, хочет уйти. Я вывела его на веранду, он ступал неуверенно, а тут и вовсе остановился. Он всё ещё не выпускал

моей руки.

— Ты отведёшь меня домой?

Он говорил тихо, почти шептал, совсем как малыш, который боится темноты.

Я начала было спускаться с крыльца, но на первой же ступеньке остановилась. По нашему дому я сколько угодно могла водить его за руку, но по улице — нет уж!

— Мистер Артур, согните-ка руку, вот так. Вот хорошо, сэр.

Я взяла его под руку.

Ему пришлось немного наклониться, чтобы мне было удобнее, но если мисс Стивени Кроуфорд смотрит из окна, пускай видит — Артур Рэдли ведёт меня по дорожке, как полагается джентльмену.

Мы дошли до уличного фонаря на углу. Сколько раз Дилл стоял тут в обнимку с фонарным столбом, и сторожил, и ждал, и надеялся. Сколько раз мы с Джимом ходили этой дорогой, но во двор к Рэдли я попала с улицы второй раз в своей жизни. Мы со Страшилой поднялись по ступеням веранды. Он нащупал ручку двери. Тихо отпустил мою руку, открыл дверь, вошёл в дом и затворил за собой дверь. Больше я его никогда не видела.

Если у вас кто-нибудь умер, соседи приносят вам поесть, если кто-нибудь болен — приносят цветы, и так просто иной раз что-нибудь подарят. Страшила был наш сосед. Он подарил нам две куколки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пенни на счастье — и ещё он подарил нам жизнь. Но соседям отвечаешь на подарок подарком. А мы только брали из дупла и ни разу ничего туда не положили, мы ничего не подарили ему, и это очень грустно.

Я повернулась и хотела идти домой. Наша улица тянулась далеко к центру города, и вдоль неё мерцали фонари. В первый раз я увидела наш квартал с этой стороны. Вот дом мисс Моды, вот — мисс Стивени, а вот и наш, вот и качели на нашей веранде, а за ними хорошо видно дом мисс Рейчел. Я даже разглядела его.

Я оглянулась. Слева от двери было окно с закрытыми ставнями. Я подошла, стала перед ним и огляделась. Днём из него, наверно, виден угол почты.

Днём... Мне представилось — кругом светло. День на дворе, и все соседи заняты своими делами. Мисс Стивени спешит через дорогу поделиться с мисс Рейчел самой последней новостью. Мисс Моды наклонилась над своими азалиями. Лето, и двое детей вприпрыжку бегут по тротуару, а вдалеке им навстречу идёт человек. Он машет рукой, и дети наперегонки мчатся к нему.

Всё ещё лето, и двое детей подходят ближе. Мальчик понуро плетётся по тротуару и волочит за собой удилице. А отец подбоченился и ждёт. Лето, и дети играют с приятелем в палисаднике, сами сочиняют и представляют какую-то непонятную пьеску.

Осень, и двое детей дерутся на тротуаре перед домом миссис Дюбоз. Мальчик помогает сестре подняться, и они идут домой. Осень, и двое детей торопятся в школу, скрываются за углом, потом возвращаются домой, и по их лицам видно, радостный у них был день или печальный. Они останавливаются перед виргинским дубом, и на лицах — восторг, изумление, испуг.

Зима, и его дети дрожат от холода у калитки — чёрные тени на фоне пылающего дома. Зима, и человек выходит на улицу, роняет очки и стреляет в собаку.

Лето, и он видит — у его детей разрывается сердце. Снова осень, и детям Страшилы нужна его помощь.

Аттикус прав. Однажды он сказал — человека по-настоящему узнаёшь только тогда, когда влезешь в его шкуру и походишь в ней. Я только постояла под окном у Рэдли, но и это не так уж мало.

Мелкий-мелкий дождик, огни уличных фонарей расплылись и затуманились. Я иду домой и чувствую, что я очень старая, а потом я скашиваю глаза и гляжу на кончик своего носа — на нём сидят мелкие капельки дождя, а потом у меня начинает кружиться голова, и я поскорей перестаю косить. Я иду домой и думаю: есть что рассказать Джиму. Ох, и разозлится же он, что всё прозевал, наверно, целую неделю и разговаривать со мной не будет. Я иду домой и думаю: мы с Джимом будем ещё расти, но нам мало чему осталось учиться, разве что алгебре.

Я взбежала на крыльцо и вошла в дом. Тётя Александра уже легла, и у Аттикуса тоже темно. Может быть, Джим уже приходит в себя? У постели Джима сидел Аттикус. Он читал какую-то книгу.

— А Джим ещё не проснулся?

— Спит крепким сном. Он не проснётся до утра.

— А-а. И ты будешь сидеть возле него?

— Посижу часок. Иди ложись, Глазастик. У тебя был трудный день.

— Я немножко посижу с тобой.

— Сделай одолжение, — сказал Аттикус.

Было, наверно, уже за полночь, удивительно, как это он легко согласился. Впрочем, он был догадливей меня: как только я села на пол, у меня начали слипаться глаза.

— Ты что читаешь? — спросила я.

Аттикус заглянул на обложку.

— Это книга Джима. «Серое привидение».

Сон мигом соскочил с меня.

— А почему ты её взял?

— Сам не знаю, дружок. Просто подвернулась под руку. Мне как-то не приходилось ничего такого читать, — обстоятельно ответил Аттикус.

— Почитай, пожалуйста, вслух. Она очень страшная.

— Незачем, — сказал Аттикус. — Пока что хватит с тебя страхов. Это слишком...

— Аттикус, так ведь я не испугалась.

Он поднял брови.

— Ну да, я испугалась, только когда стала про всё рассказывать мистеру Тейту. И Джим не испугался. Спроси его, он сам тебе скажет. И потом, настоящее страшное бывает только в книгах.

Аттикус хотел что-то сказать, открыл рот и опять закрыл. Вернулся к первой странице. Я придвинулась поближе и положила голову ему на колени.

— Э-гм, — сказал Аттикус. — Секейтери Хоукинс. «Серое привидение». Глава первая...

Я не велела себе спать, но дождь за окном шептал так мирно, а в комнате было так тепло, а голос Аттикуса гудел так тихо, и коленка у него была такая удобная, и я уснула.

Кажется, прошла одна минута, не больше, и он носком башмака легонько подтолкнул меня в бок. Поднял меня, поставил на ноги и повёл в мою комнату.

— Я всё-всё слышала, — пробормотала я. — И совсем не спала... Это про корабль, и про Трёхпалого Фреда, и про этого мальчишку Стоунера...

Аттикус отстегнул лямки моего комбинезона, прислонил меня к себе и стащил с меня комбинезон. Одной рукой он придерживал меня, другой потянулся за моей пижамой.

— Да-а, и они все думали, что это он переворачивает всё вверх дном у них в клубе, и разливает чернила, и...

Он подвёл меня к кровати и усадил. Поднял мои ноги и сунул под одеяло.

— И они хотели его поймать и никак не могли, потому что не знали, какой он, и знаешь, Аттикус, в конце концов они всё поняли, и оказывается, он ничего этого не делал... Аттикус, а на самом деле он хороший...

Он укрыл меня до самого подбородка и подоткнул одеяло со всех сторон.

— Почти все люди хорошие, Глазастик, когда их в конце концов поймёшь.

Он погасил свет и пошёл к Джиму. Он будет сидеть там всю ночь, и он будет там утром, когда Джим проснётся.

notes

Примечания

1

В 1066 году при Гастингсе войска англосаксонского короля Гарольда потерпели поражение, после чего нормандский герцог Вильгельм I быстро завоевал страну и стал королём Англии; предки Финчей не участвовали в этой битве, следовательно, не принадлежали к старинной английской аристократии

2

Из речи президента Франклина Делано Рузвельта (1882-1945)

3

Вежливый оборот, означающий «бьёт баклуши»

4

Когда 11 января 1861 года штат Алабама откололся от Соединённых Штатов, округ Уинстон откололся от Алабамы — в округе Мейкомб это знает каждый младенец.

5

Миссурийский компромисс — соглашение 1820 года между членами конгресса США, представляющими рабовладельческий Юг, с одной стороны, и Север, стремившийся ограничить распространение рабства, — с другой; компромисс этот на деле оказался уступкой со стороны Севера

6

Мистер Джингл — известный персонаж романа Ч.Диккенса «Записки Пиквикского клуба», речь его бессвязна и отрывочна.

Национальная администрация возрождения промышленности — одно из управлений, созданных президентом Рузвельтом после кризиса 1929-1930гг. Против мер, проводимых Рузвельтом, выступали наиболее реакционные круги, в частности Верховный суд, состоящий из девяти членов, выбираемых пожизненно.

8

Миссис Мерриуэзер путает и далее неточно переводит известное латинское изречение.

Table of Contents

Харпер Ли УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Примечания

1
2
3
4
5
6
7
8